



НОВИНКИ·СОВРЕМЕННОКА·

---

Юрий Федоров

Державы  
для...

Роман

«Современник»  
Москва  
1983

Художник *Леонид Непомнящий*

**Федоров Ю. И.**

Ф33      **Державы для...: Роман/Худож. Л. Непомнящий.—**  
**М.: Современник, 1983.— 304 с., с ил.**

В новой книге Юрий Федоров обращается к судьбам людей, имена которых вошли в историю нашей Родины как имена первооткрывателей. В центре повествования — образ видного географического исследователя второй половины XVIII века, основателя русских поселений на островах Тихого океана и Аляске, Григория Шелихова, а также его сподвижников по укреплению дальневосточных границ Российского государства.

Ф 4702010200—232 119—83  
М106(03)—83

**ББК84Р7**  
**Р2**

## Глава первая

### I

Из сеней фортины в приотворенную дверь виден был край стола и сидящий за ним человек. Длиннополая поддевка из тонкого сукна выдавала купца, но бритое лицо его свидетельствовало скорее о том, что человек этот служивый, царский. Вдруг он вперед качнулся и кулаком по столу стукнул, как это делают, сильно изумившись:

— Ишь ты, курица тебя ешь! А нам-то, дуракам, и не ведомо...

В сенях зашлепали лаптешки. И двое половых — лица в сторону воротя, чтобы паром не обдало, — дверь в залу толкнули и вперли блюдо с пельменями. Блюдо — цветное, в петухах алых, — как доброе корыто. Пельмени на нем — белым сугробом.

В зале более сотни мужиков. С бородами лопатами, что и не разгребешь, и так — клинышком, только что отпущенными. В матерых бородах солью проскакивала седина. Бороды клинышком — как шелковые. Волос блестит от молодого задора.

Лица, лица, глаза бойкие. Армяки, кафтаны становые, опашни с узкими рукавами, ферязи. Людно, но ни суеты, ни шуму, гвалту или крику непотребного не слышно. Народ в фортине, видать, серьезный собрался.

Половые — бойкие, мордастые — начали обносить стол пельменями.

Ближе к человеку бритому — степенно, в чистых армяках — сидели крепкие парни с волосами, подвязанными ремешками. С ложками не торопились, говорили негромко, на «о» сильно нажимая:

— Соль-то подай. Вона солоница-то...

Длиннолицые парни с льяными головами. Вид и говор их сказывали без сомнения — это кровные устюжане. Известно — люди из города этого славного по корабельному мастерству доки великие, а дело это тонкое, чистое и степенности требует.

Устин — старший из устюжан — сидел смирно, как и парни его. Волосы, смазанные маслицем льяным, лицо

спокойное. Весь вид его говорил: этот всегда помнит, что рубль с копейки разменивать начинают, а человек убывает со словом, не к месту сказанным.

Напротив устюжан иные мужики сидели. Таежные проходцы. Народ в плечах пошире, поприземистее. У многих в бородах поблескивали пеньки зубов, изъеденных цингой. Такой, зная, по речкам путаным, по тропам звериным, по болотам топким походил немало. Всякого повидал, да со всячинкой. И коли пугнешь такого, не испугается, а как бы еще и самому не сконфузиться. Мужики из тех, что в случае опасном не дают спуска.

Среди таежников особенно один выделялся: детина саженный и в плечах не узкий. Лоб тряпицей черной перевязан. И не надо было гадать — под тряпицей клеймо, катом припечатанное.

Дальше, за столом, все тоже осколки — по виду — не сосуда божественного, миром душистым наполненного, сидели. Людишки без жирку под кожей, солнцем и морозом каленные. Глаза блестящие.

Битый народ, тертый, клятый, мятый да валянный. Да и какому бы здесь народу быть? Фортина-то стояла над причалом города Охотска. Городок же этот — известно — далекомко заброшен, к морю крайнему, Ламским называемому. По доброй воле сюда мало кто приходил. Поди попробуй, доберись, не одни лапти изобьешь. Да что лапти? Ежели зимой добираться, зверь лесной заломает. В студеную пору он лют. Летом гнус сожрет или в трясине болотной утонешь. Тоже не сладко. А реки, ручьи таежные быстрые, мари? Попробуй счастья — перепрыгни.

Ямины эти тундровые — мари — сверху травкой зарастают. Травка хороша, зелена, сочна. Ну, прямо райский лужок. Иди — страха нет. Но до середины доберешься, и земля под тобой разверзнется. А под ней стын, льдистая каша. Побарахтается, побарахтается в ямине мужичок и успокоится. Да оно можно и не барахтаться, без пользы себя надрывать. Колом на дно иди. Из мари почитай никто не выбирался.

Людишек на окаянную землю эту чаще солдаты царские пригоняли. Да в кандалах, да с ошейником кованым, железным, со спицами, торчащими на четыре стороны. Так-то, считали, вернее дотопают, сердешные. Не сорвутся. А ошейник еще морозом прихватит, инеем изукрасит. Железо шею жжет. Ноги не удержишь, поспешишь. А солдаты — что ж? У солдата служба. Прикажут — он ружье на плечо — и:

— Ать, два!

Давно ведомо — служивый и из топора щи наваристы и густы сварганит. Что уж ему земли дальние, морозы трескучие, хляби бездонные? По приказу солдат дойдет куда хочешь.

О городке Охотске даже в просвещенном Петербурхе ежели у чиновника какого спросить, то он глазами круглыми глянет, ресничками белесыми поморгает и, лицо прикрыв меховым воротником, шмыгнет в улицу, на службу поспешая. Только и увидишь его.

Можно у франта, какие по Невскому завсегда фланируют, спросить об Охотске. Франт этот с легкостью необыкновенной выскажет мнение и о том, где что случилось и как это произошло. Но об Охотске и франт ни гугу. А ежели и скажет, то лишь из чистого своего всезнайства: «А... Городишко этот... Там где-то», — и махнет рукой вяло не то на восток, не то на север, а то и вовсе на юг или запад.

Да что чиновник, испуганный начальством, что франт? У президента Коммерц-коллегии графа Александра Романовича Воронцова спросите, и он навряд ли многое скажет. А ему-то по чину положено знать больше, чем другим может быть известно.

У Александра Романовича кони хороши. Ах, кони! Воронье, как смоль. У коренника грудь — стена крепостная, глаз ал. Глянет — зверь, да и только. У пристяжных — шеи лебединые. А ход, ход какой! По улице летят — только и слышно:

— Пади! Пади!

За возком снег игольчатый вихрем.

Дворец у Александра Романовича роскошен, на острове Березовом, построенный бессмертным Варфоломеем Растерлли. Величественный портал, колонны, как свечи литые ярого воска. Еще и хозяина не увидев, невольно голову склонишь, в груди трепет всепокорнейший почувствовав перед властью предержащими. Мастера старые знали, как дворцы строить: только глянешь, и в ум войдет — и подл, мол, ты, и мелок-де, да и вообще куда прешь, сукин сын? Сдай, подобру, назад.

Но слишком много верст пролегло между дворцом петербургским и городом дальним Охотском. Так много, что и с крыльца высокого не разглядеть. И кони хоть и бойки у графа Воронцова, а не доскачешь.

Сидит у камина Александр Романович в кресле темном — у кресла того ножки точеные, как лапы сказочной

птицы грифона; пальцы у вельможи холеные, в тяжелых перстнях, в кольцах,—на лоб белый положены. Пламя в камине то вспыхивает ярко, то опадает, и отсветы играют на многотуманном лице. Забот, забот государственных у Александра Романовича — не счесть.

Но все же Петербурх об Охотске помнит, как о землях и камчатских, и колымских, и чукотских. Здесь, на берегах Невы, было великим ученым Михайлом Ломоносовым, умевшим смотреть так далеко, как другим не дадено, сказано: «Российское могущество будет прирастать Сибирью и Северным океаном».

Мглист Петербурх, и не вдруг здесь дела делаются. Но положил он руку и на Урал-камень, и в Сибирь заглянул, и утвердился и Иркутском крепким, и Якутском сторожевым, и многими другими городками и крепостями. И дальше смотрит. Не тороплива поступь петербургская, но тверда. И Охотск — хоть и дальняя земля, а у Петербурха под рукой.

...Пельмени в фортине над причалом охотским встретили возгласами:

— Сыпь, пока горячие!

— Цепляй по два, глотай по три!

Пельмени и вправду были хороши. Не то чтобы мелкие, но и не крупнее дозволенного. Леплены из теста не столь тонкого, чтобы начинка из них мясная, пахучая вывалилась, но так катанного, чтоб пельмешек этот — кругленький, толстенный — непременно в целостности дошел до рта и, уж только на зуб попав, лопнул, подлец, обдав разом весь рот крепким наваром. От сладости необыкновенной человек чтоб руками разводил:

— Так-то вот, наверное, отцы наши едали...

А стол и без пельменей ломился от жареного и вареного, печеного и моченого, пресного, соленого и на пару сделанного.

Здесь и грузди в блюдах деревянных, черемша, голубица сизая, как морозом схваченная, брусника цвета пунцового, морошка багряная моченая. На блюдах отдельных, жирком облитая, рыба соленая краснела. Брюшки — ремешками, спинки — полешками ровными, бочка — плиточками. В ушатах маслено икра парная золотилась. Да не какая-то там мелкая да неказистая от горбуши кривоzubой осенней, а крупная, ядреная, как горох, от саженных лососек, что первыми в май, месяц весенний, из океана идут в реки. Ложкой черпнешь, в рот положишь, а она тает. Посередине стола, на блюде особом, высокой горкой

шаньги поджаристые с олепной да медом... дились. И тут же кулебяки с начинкой в десять ярусов, где положены между блинцами поджаристыми и печенка оленья, и балычок тертый, и ягода кисленькая, и ножки птичьи, и многое, многое другое, что ведомо было только хозяину фортины, так как гость, отведа? блюда этого, начинки уже не разбирал, впадая в ялное восхищение. Но водочных штофов, бутылок или полубутылок среди блюд видно не было. Стол накрывали для людей веры старой, не охмеляющих себя напитком поганым и табаком не балующихся. А так что уж? Стол пышен. Свадьба не свадьба, а пир — горой.

Пир этот давал человек бритый, с глазами веселыми — Шелихов Григорий Иванович. Ватага его в поход дальний, морской, за край света уходила, и по обычаю давнему мужики перед дорогой многотрудной собрались за столом. В море идти — не к девкам на посиделки. Как там еще дело сложится — никому не ведомо. На морских дорогах все бывает. Так что посидеть вместе да попить — был резон.

— А песни где же? — крикнул Григорий Иванович.

За столом подхватили:

— Песню! Песню давай!

Для русского человека песня в застольный час лучше стопки: и слаще, и бодрит больше.

Все, ложки оставив, оборотились к детине со лбом, перевязанным тряпицей.

— Степан, тебе начинать.

Степан губы ладонью вытер и, положив руки на стол, замолчал. И все замолчали. Понимали: песня дело великое и серьезности, как молитва, требует.

Старший из устюжан голову склонил. За ним и другие лицами насторожились. Ждали песню.

Низко-низко, голосом глубоким Степан повел:

Как далече, далече,  
На синем моречке,  
Не ясны соколы собирались —  
Солетались, соезжались  
Добры молодцы...

Голос у Степана был не бархатный, барский, что звучит в комнатах чистых и теплых, а с хрипотцой, трещинкой, но такой, в котором сразу же слышатся и ветер жестокий, и треск костра, и топот молодецких коней. И гиканье слышно было. И море — с шумом и грохотом прибоя — угадывалось.

лось, как ежели бы человек ушел далеко-далеко, к молодцам, собиравшимся за синим морем. Но вот все сильнее и сильнее зазвучал голос, и лицо Степана, казалось, приблизилось к слушавшим. Голос набрал еще большую силу, и когда слова песни сказали, что вылетели вперед на бешеных конях удалые люди,— лицо вдруг вспыхнуло жарко, и глаза, распахнувшиеся, озарили его живым огнем.

Но на певца никто не глядел. Все сидели, потупившись, как это и бывает у людей, слушающих настоящую песню, когда сам певец, беря инструмент в руки, угнет голову над струнами, и лица его не разглядишь, однако веришь — и боль души, и сердца размах умелец этот покажет.

Песня старинная была, невесть кем и когда сочиненная. Пелась она неторопливо, раздумчиво, протяжно и мелодией и словами брала за самые что ни есть тайные струны души.

Последние слова Степан растянул богатырски и как бы разом обнял и соединил всех за столом своим голосом. Сто глоток последний уроненный им звук подхватили:

Они думали-гадали  
Думу крепкую:  
Что кому из нас, ребятушки,  
Атаманом быть...

Голоса смолкли, и Степан вновь низко повел. И опять никто не смел взглянуть на суровое, обветренное до черноты лицо, но ждали только последней ноты, чтобы подхватить ее разом и понести всем вместе дальше.

У каждого народа есть свои песни. Веселые, грустные, задорные. Но эта старая песня прежде всего силу выдавала. Все в ней было: и раздолье земли российской, которой и шире нет, и удаль людей ее, удержу одинаково не знающих ни в веселье, ни в сечи злой, и доброта была, что от веку единая творит жизнь. Песня звучала так ладно, так мощно, что сомнения не было — народу, сочинившему ее, принадлежит будущее великое.

Григорий Иванович, поднятый песней из-за стола, шагнул к окну и сильной рукой толкнул створки. Оконце раскрылось, и в комнату плеснуло синью океана.

Купец был высок, ладен и темен бровью. Сила в нем чувствовалась и воля недюжинная. Напротив оконца, близ причала на банках стояли галиоты «Симеон и Анна», «Три святителя», «Святой Михаил».

Корабли ветром раскачивало, то вздымая чуть ли не в небо иглы бушпритов, то окуная их в пенные верхушки



волн. Черной смолой лесняк на корабельные крутые борты. Путь галиотам этим предстоял дальний: через Ламское море к островам Курильским и далее через Великий океан. Григорий Иванович вглядывался в играющих над мачтами кораблей чаек и угадать хотел: будут ли те дороги удачливыми? Но угадать это никому не дано. Вот уж правду говорят: не гадай, в море идя, попусту только душу тревожить будешь.

За спиной у Шелихова крепили в песне голоса.

Шел года 1783-го месяца августа пятнадцатый день.

Играла всеми красками радуги волна, о берег охотский разбиваясь, и даль, продутая ветром, была ясна и звала к себе.

## 2

Как и сейчас, играла всеми красками радуги волна, о берег разбиваясь, и даль, продутая ветром, была ясна и к себе звала Гришатку Шелихова много лет назад. Не здесь, на берегу Великого океана, а на тихом Сейме, что дугой опоясывал старый Рыльск, дремавший на его берегу под ветлами на курской, спасаемой богом земле.

В Рыльске тишину любили и больше других ценили иконы старого письма, привозимые с севера. Краски на иконах этих — из камня да глины цветной, тертые на деревянном масле, — не броски, но не блекнут, не стареют и в душу человеческую навсегда входят. Лампады любили медные, кованные мастерами архангельскими. Рассказывали, что мастера эти, прежде чем за работу взяться, постились годами и к делу приступали, лишь святой трепет обрета.

Иконостасы в Рыльске сооружали подолгу, почитая это наипервейшим делом. Неколебимое пламя лампад у икон светило ровно. Едва губы размыкая, люди шептали у святых ликов:

— Спаси, господи, и помилуй...

Кланялись низко, плотно прижимаясь лбами к доскам. Лики со стен смотрели строго.

Гришатка, по младости лет, пугался мученических глаз иконных и часто убегал из дому. Что мальчонке до молитвы? Молитва темна, страшна и смысл у нее тайный.

По лопухам пыльным, по мягкой травке, называемой гусиными лапками, бежал Гришатка к Сейму.

Здесь все было ясно, чисто. Играла волна. Стрижи над рекой кричали. По брюхо в воде — смирные лошади, и с

гуо их капли прозрачные срывались. В зените стоящее солнце светило ярко.

За Сеймом до горизонта уходили луга.

Гришатка прятался в густые тальники. Боялся: придет мать или отец и отведут домой класть поклоны. Но тихо было вокруг. Только кузнечики пилили звонкие полешки, запасая на зиму дрова, да стрижи гонялись друг за другом, свистя крыльями. Подолгу, до ломоты в глазах, Гришатка смотрел в луга. За рекой ветер качал высокий камыш. За ним блестело под солнцем напоенное щедро сеймской водой, изумрудно-зеленое, сочное разнотравье.

«А что дальше, за лугами?» — думал Гришатка. И однажды забрался на старую высокую ветлу, стоящую на берегу.

С ветлы увидел он в солнечном мареве, колышущемся над лугами, за разнотравьем, узкую дорогу, а на дороге людей в необычных одеждах, лошадей множество и чудные об осьми колесах телеги. И даже послышалось ему, как скрипят колеса, трещат оси и ржут кони. А голоса у них совсем иные, чем у смирных лошадок, что в воде тихой стояли. Голоса — тревожные.

От неожиданности и великого изумления Гришатка чуть с ветлы не свалился, таким все это странным показалось. Обомлел парнишка.

Слез все же Гришатка с дерева целым и дал слово непременно на городскую колокольню пробраться и оттуда дорогу эту разглядеть до тонкостей.

В ту же ночь ему приснились кони из-за Сейма.

Летят, пластаются над дорогой, над разнотравьем изумрудным, и цвет у коней червлёный. Гривы по ветру вьются, хвосты шелковые, пышные стелются, и копыта, сверкающие как драгоценные лалы, стучат звонко. Шей у коней сильные, животы подбористы, бабки тонки и высокие. И вдруг летящий табун развернулся, и Гришатка увидел жеребца, ведущего сказочных коней. Жеребец голову вскинул и, затрепетав жаркими от бега ноздрями, заржал трубно.

Весь дрожа, Гришатка проснулся. Лежал долго не двигаясь. В ушах звучало странное ржание. И еще раз сказал он себе:

— На колокольню обязательно заберусь.

Забраться на колокольню, однако, было небесстрашно. Колокольня за церковью торчала, а у церкви народ всегда толпился. Нищие в пыли ползали, гнусавили, копейки выпрашивая, трясли лохмотьями. Но страшнее и народа

толпящегося, и нищих был звонарь, от церкви не отлучавшийся и на минуту. Один глаз у звонаря крив, но оставшимся оком он все зрел. Есть такие людишки: и одним глазом как четырьмя смотрят: народ-де вор, и за ним всегда пригляд нужен. Этим, четырехглазым, своего всегда мало. Им чужое знать хочется.

Но Гришатка хоть и мал был, а упорен. Это уж ежели есть в человеке, то с молодых зубов, а ежели нет — руками разведи — не прибудет. Обошел-таки Гришатка звонаря и, во двор церковный нырнув, пробрался к колокольне. Тихо-тихо дверь приотворил и по ступенькам ветхим пошел вверх.

В колокольне ветер шумел. Старая колокольня. Кое-где из стен от великой ветхости кирпичи повыпадали, и в дыры ветер задувал шибко. Ступеньки подгнили, и подниматься по ним не больно-то было способно. У Гришатки сердце, как шегол в силках, колотилось. Тарасил он вокруг глаза, прижав кулачки к груди. Жутко... Но все же до верху добрался. На карачках на площадку под колокола выполз и глянул за перильца каменные.

День был ясный, светлый, и солнце стояло высоко. Гришатке в глаза ударило яркостью необыкновенной распахнувшегося перед ним мира. Он глаза закрыл, но тут же растопырил их еще более, жадно вглядываясь в невиданное.

Золотой лентой опоясывал город Сейм. За ним лежали уже знакомые луга, а дальше, дальше...

Ладошкой от солнца прикрывшись, сощурился Гришатка и вправду разглядел дорогу. Но не было на ней странных об осьми колесах телег и не видно людей в одеждах необыкновенных. Однако дорога эта неожиданно указала себя по-другому. Желтая песчаная полоса, уходившая к горизонту, все сужалась, сужалась в тончайшую паутинку блестящую, и паутинка эта вдруг Гришатку изумленного потянула за собой неведомой силой. Он приподнялся и ближе к перильцам посунулся. Руки и ноги у него заглодели.

Так однажды, купаясь на Сейме, попал он в ямину, где течение ходит кругом. Всплеснул руками, грудью на струи текущие лег, ногами забил, а течение тянет, тянет вниз, и сил нет из него вырваться. «А-а-а,— открыл он в крике рот,— а-а-а-а...» Но темная волна его захлестнула. Мужики Гришатку из реки выхватили, а то бы засосала ямина. Вот так и дорога за Сеймом Гришатку вдруг потянула. И на

этот раз рот он открыл, но не крикнул, а выдохнул поразенно:

—А-а-а...

Немного еще люди знают о том — кому и что на роду написано. Как не знают и того, для кого и когда время приспееет дела, до конца выказывающие человека, сотворить. Известно одно — люди не для напраслины рождаются.

Сколько просидел он на колокольне, неведомо. Ладони в перильца каменные, белены, уперты, голова льняная, и на лице распахнутые изумленные глаза.

Через час ли, два Гришатка порточкой подпернул и на пузе по ступенькам с колокольни слез. Выглянул во двор церковный. И тут-то его за ухо схватил звонарь:

— Кто таков? Как? Пошто здесь вертишься?

Пронзил оком. Гришатка на пятки сел. Что-то больно много на него навалилось разом, а он молод был. Как есть малец.

Звонарь в лицо Гришатке дыхнул вонюче, забулькал горлом. Не мог понять: как пострел этот мимо проскочил? Трясло звонаря от зла, руки ходуном ходили.

— Ах, щенок, — булькал, — ах, щенок...

И глазом единственным впивался в Гришатку, буровил, пронзить хотел до затылка. Глаз с прожилками красными, с желтизной, со слезливой мутной влагой, дрожащей на ресницах. И посреди черной точкой зрачок, как отточенное шило.

Звонарь потащил Гришатку к попу. И быть бы мальцу поротым нещадно, не случись тут лекаря.

Поп Афанасий от неудержимого обжорства и лежания безмерного на мягких лавках до того дурной кровью наливался, что вот-вот должна была она ему в голову ударить и свалить совсем. Лекарь его пользовал пиявками, выставляя до двадцати штук на широкую поповскую зашеину. Афанасию зело легчало.

Лекарь Гришатку признал — соседом купец Шелихов был — и от звонаря отбил.

— Пошто мальчонку терзаешь? — крикнул с серьезным лицом. — Оставь! — Строгий был, и его побаивались. — Ишь, дубина! Лапищи распустил...

Звонарь отступился. Видать, прикинул: «Зачем связываться. Еще отцу Афанасию чего ни есть наклепает». Лицо ладонью огладил, глазом окаянными сверкнул, но отошел в сторонку.

Лекарь парнишку домой повел. Спросил, однако:

— Зачем на колокольню лазил?

Гришатка и бухнул с перепугу

— Дорогу посмотреть хотел, что за лугами. С ветлы видел я на ней людей в одеждах чудных и необычные телеги.

Лекарь взглянул на него искоса и дальше пошел молча. Молча же по дороге трижды в нос добрую понюшку табаку запускал. Чихал громко и из-за платка на Гришатку со значением взглядывал. Лоб морщил. Лекарь — медлительный, со взглядом благодостным. Одет в парусиновый опашень, легкий, по погоде сухой и теплой. Воротник опашня, шитый гарусом, распахнут вольно.

У ворот своих лекарь остановился, еще раз на Гришатку взглянул раздумчиво и толкнул калитку. Буркнул:

— Проходи.

Гришатка не без страха решил: «Высечет».

В дом войдя, лекарь долго на полках у стены рылся, но достал все же претолстенную книгу в телячьей доброй коже с медными застежками.

— Вот, — сказал, — список «Софийской летописи» дьяка ученого Момырева. Есть в ней глава «Хождение», с описанием пути в Индию и возвращения обратного купца русского Никитина Афанасия. Многие земли и обычаи иноплеменных людей в «Хождении» описаны. Тебе, выюноша, читать это будет зело полезно, так как любопытство живет в тебе к далям.

Гришатка глазами впился в строчки. Буквы бежали по листам затейливые, с росчерками витиеватыми московской скорописи. В заставках тонким и искусным пером начертаны забавные и загадочные травы, ветви невиданных растений, птицы необычные, кони, почти такие же, что Гришатке во сне привиделись.

С того дня в листах старых, желтых, хрупких утонул мальчонка из Рыльска...

И год после этого прошел, и пять, и десять, а Гришатка Шелихов, которого называли уже и Григорием, и почти-точно Григорием Ивановичем, о чудесной дороге за Сеймом, о страницах прельстительных «Софийской летописи» помнил. И жили эти воспоминания в душе его вольной станицей, отдельной от городища, которое жизнь громоzdила вокруг.

Так бывает у людей, мечтой сильной пораженных. Тучи над головой виснут — одна другой тяжелей и мрачней. Небо закрывают. Тяжко, ох тяжело! Пригибают тучи голову к земле, долу клонят. А все же есть у человека, увлеченного мечтой, и на одетом мглой небе голубой клочок. Ибо не-

даром говорят — нет смерти для тех, кто не хочет умирать. Как говорят и то, что человек все может, если он умеет хотеть.

А жизнь круто распоряжалась.

Тих, тих Рыльск, у икон колени клонит, звоны колокольные слушает, но под звон этот сладостный купец купца брал за горло: «Хе, хе,— купчишка лукавый под мышками скреб ногтями крепкими,— хе, хе... Посмотрим, кто кого обскачет...»

На осеннем торге, что всю округу собирал,— крик на площади великий — отец Гришатки обмишулился. Товар ему негожий подсунули. Гниль. Но обману он не распознал, а когда понял — поздно было. Обмер. К одному кинулся, тот рот разинул:

— Г-ы-ы-ы... Что ж ты раньше-то глядел? У купца, милоч, глаз должен быть остр...— Лик в сторону отворотил, руки за кушак засунул.

К другому добежал отец. И тот в ответ:

— Купец не обманет — не расторгнется... Сам знаешь, Иван... Себя вини...— Зубы желтые показал и тоже бочком, бочком и в тень.

Осталось только на площадь выбежать, рубаху на груди разорвать, в пыль брякнуться:

— Карр-р-а-ул, люди! Грабят!— и распластаться расхристанному в колеях, колесами тележными наезженных.— Помогите!

А кто будет помогать-то? Да и толку-то что в крике этом? Будочник разве подойдет, сонным глазом поглядит, в бок сапожищем пнет. Скажет:

— Не озоруй.

И все. Да, может, нищие на паперти церковной из лохмотьев вонючих глянут, осклабятся:

— Купец, к нам ступай. Здесь теплее. Погрейся...

Старушка сердобольная грош бросит. Ртом беззубым прошамкает:

— Богу молись.

Пойдет дальше, стуча клюкой.

Люди перед сильным голову клонят. Слабый для них — тьфу! Битого на Руси не любят. Опасливо так глаз скосят — и дальше. Битый — он как зачумленный. Прикоснешься, а зараза к тебе перейдет. «Лучше мимо пройти,— говорят,— да побыстрей». Проси не проси, а ничего не выпросишь.

Зубы сцепил Иван Шелихов, кое-как гнильем расторговался и, завязав копейки в тряпочку туго, нанял новую лавку — щель тараканью. Низка, тесна лавка, окошко

слепое на улицу пыльную выглядывает, но что делать? В лавку Гришатку взял — чем сможет, помочь. И Гришатка среди черной бакалеи завертелся: крупа, мука, деготь, ложки деревянные, корыта, веревки... Труха...

Отец часами сидел у прилавка захудалого, опустив голову на руки. Тосковал.

А сынок оказался боек. Товар ли разложить, подмести ли, добежать ли в соседнюю лавку или пуд муки домой покупателю какому отнести — все умел. И все бегом, лѐтом, с шуткой, с прибауткой, с присказочкой. Дело у него в руках горело.

Знакомцы отцу говорили:

— Ну, сынок у тебя... Ухарь! Бог доброго помощника послал. Воздал, видать, за потерю.

Поглядывали с завистью:

— Этот далеко пойдёт. Здесь ему тесно будет.

А Григорию и вправду в лавке стало тесно. И свой кло-чок неба голубого на заплесневелом потолке видел он.

Вечером отец выручку считал.

Бряк, бряк — уныло на столе копейки звякали. Огонек свечи сальной мотался, тени по стенам прыгали. Отец нагар со свечи пальцами снимал и опять — бряк, бряк — звенел монетами. Бедность в звуке том была. Нищета.

Лавку запирали. Замок пудовый вешали и через площадь, утопая в грязи по шиколотку, топали домой.

Уныло по грязи топать. Как жеребчик молоденький, не взбрыкнешь. Ноги вязнут.

На площади ни души. Над колокольной воронье орало тоскливо, укладываясь на ночлег. Да и орало не бойко, а так — порядка для. Ворон-то, говорят, триста лет живет, а триста лет сердце, хоть и птичье, обломают. Живое при живом живет. Где жизнь колесом вертится, там и у ворона глаз быстр, из-под брови выпрыгивает. А здесь, что уж... Т-и-х-о-о-о... Скулы ломало от зевоты. Вон, глянь, баба на скамейке под забором семечки лушит. Мастерница. Что с птицы-то спрашивать?..

Шли отец с сыном, о шевики спотыкаясь. Какая уж там дорога в лугах изумрудных, заливных, за Сеймом? Какие люди необычные в одеждах странных? Какие пути дальние Афанасия Никитина? В вороньих жалобах одно слышалось: «Голову неси ниже, человек, так-то оно лучше...»

Но все бы ничего. Понемногу из нужды выколупываться стали, а вот сынок пугал иной раз Ивана Шелихова. Нет-

нет а и уставится на свечу невидящими глазами и смотрит, смотрит.

— Ты что, Гриша?— спросит отец.— Аль задумался о чем?

А сын не слышит, смотрит на огонек и молчит.

Толкнут его в бок, он вскинется:

— Да, да,— и побежит по делам.

— Ничего,— говорила мать,— в возраст войдет, остепенится.

А все каждому свое написано в жизни.

Еще раз дорога властно позвала Григория Шелихова. Но махнула ему рукой судьба не из-за Сейма, а из далекой Сибири.

В Рыльск человек приехал из Иркутска и письмо привез Ивану Шелихову от дальнего родственника — Ивана Ларионовича Голикова, сибирского купца. Письмо это как гром среди ясного неба было: и неожиданно, и тревожно.

Ивана Ларионовича в Рыльске давно не видели, но ведомо было, что ворочает тот в Сибири капиталами огромными, на откуп торговлю винную взял, корабли за моря гоняет и дерзает со Строгановыми тягаться, что Урал держали в цепких руках.

Иван Ларионович Шелихову-старшему писал, что-де помощник ему надежный надобен и лучше бы из людей близких по крови. Такой, на которого положиться можно и в удаче и в беде. Прямо не прямо, но намекал, что сын Шелихова вот тут-то бы и подошел.

Когда письмо читал Иван Шелихов, бумага в пальцах дрожала. Буквы прыгали. Он и в другой, и в третий раз письмо перечел и спрятал за иконы.

Закавыкой немалой стало письмо для отца, но сыну о нем он сказал. Григорий загорелся. Отца брало сомнение. Глаза прятал. Сядет на крыльцо, на Сейм уставится. Молчит. Через лоб крутые морщины. Слово из него не вытянешь. Щепочку крошит зубами да лоб залысый гладит. Осторожный был человек. С решениями не торопился. Жизнь потеряла. Ох, как потеряла. Но Григорий одно в ответ:

— Поеду и поеду...

Отец глянет на него исподлобья, тот голову склонит, а все твердит:

— Отпусти, батя. Отпусти.

Почернел даже. В лавку ходил — словно бы на цепи вели. Возьмет товар, а вещь валится из рук.



Отец в молельне на коленях простоял ночь. У бога совета спрашивал. Что ответил тот или не ответил вовсе — неведомо. Но отец на отъезд Григория дал согласие.

Мать ахнула. Села на лавку и лицо руками закрыла. Отец сказал только:

— Не реви.

И ушел в молельню.

...Дорога распахнула версты перед Григорием.

Как из Рыльска выехали, велел сани остановить. Мужичонка вожжи натянул. Обмерзшей сивой бородашкой повернулся:

— Чево там?

— Постой,— сказал Григорий и вылез из саней.

Отошел к заметенной снегом обочине, остановился. Ворона с придорожного дерева, голову скосив, взглянула глазиком круглым. Каркнула мрачно.

— Кыш, проклятая,— мужичонка с облучка на нее зарорал. Голицей бросил.

Рыльск виделся в синих дымах, поднимавшихся столбом из труб. Хозяйки печи топили жарко. В церквах утреннюю службу стояли, и ветер доносил отдаленные колокольные звоны. Сады обмерзшие разглядел Григорий, знакомую колокольную, площадь — на которой лавка отцова. Белый, тихий город, морозом скованный. И еще разглядел Григорий улицу, по которой на Сейм бегал мальчишкой белоголовым. Ветлу, раскрывшую даль перед ним...

Рукавицы сняв, поясным поклоном низким поклонился он городу родному и стоял, согнувшись, долго.

Мужичонка, сидевший в передке саней, носом шморгнул, голицей вытерся. Тоже русский был человек. Да и знал — седок его в дорогу не ближнюю собрался.

Григорий неловко в сани влез, сказал севшим голосом:

— Трогай.

Мужичонка подобрал вожжи. Кони с хрустом оторвали примерзшие к насту полозья, и сани пошли все шибче и шибче.

Григорий Шелихов в дороге приглядывался: каков он, сибирский край, о котором сказы сказывали чудные?

Русского человека широтой земли не удивить. Курские просторы, на которых возрос Гришатка Шелихов, тоже не

тесны. Пойди окинь взглядом поля и перелески, опушки да земли пойменные, рощи, лужи, выгоны. Широко. Дух захватывает. Ястреб высоко в небе плывет — и то землю эту взглядом не охватит. А края сибирские — все же широтой удивили Григория. Да Сибирь и кого хочешь удивит. Спору нет — велики, неоглядны раздолья среднерусские, а все же в сравнение с сибирскими не идут.

Как на Урал-камень взошли, Григорий глянул и растерялся даже.

Ясность необыкновенная стояла в морозном воздухе, и в ясности этой увидел он леса такие дальние, что показалось — они из-за края света выглядывают. А еще и дальше земли угадывались, и еще дальше, и еще...

Ямщик из местных, крепенький — чувствовалось, надежной кости, — видя удивление проезжего человека, сказал:

— Не то еще будет. У земли этой конца нет.

Уверенно сказал, дело разумея.

И еще сказал, насунув брови на глаза:

— Богата земля, богата, но... страшна.

Григорий оборотился к нему удивленно:

— Страшна?

Ямщик хмыкнул:

— Поблазнит она мужика рухлядишкой меховой, которой и цены нет, заведет вдаль и погубит. По тайге мужичьих костей много разбросано... Земля такая, что на тысячи верст одного человека встретишь — скажи, повезло... Пойди, поборись с ней...

Ямщик странно скосоротился.

Но Григорий, по младости, слов этих не воспринял. Его другое к размышлениям приводило.

До Урала добирались — вокруг нищета одна. Голь. Избы в деревнях с крышами просевшими, хлева завалившиеся, скотина некормленная орет. Да и одно слово, что скотина. Шкура шелудивая да кости, торчащие как стропила на худой крыше. Мальчишки сопливые, золотушные, в коросте за санями бегут, тянут за сердце:

— Дядя, неделю не жрамши, дай хлеба кусочек!

У баб лица исплаканные. Глаза болью налитые. Горем. Даже дым над деревнями горький, голодный, в горле комом застревает. Мужики встречные одно тянули:

— Разор... Помещик заел. Уж и не знаем, как быть.

И глаза у мужиков собачьи. Забит и зол до крайности был мужик.

А за Урал перевалили, навстречу обоз за обозом. И сани

все грузенные с верхом. Безли всякое, но больше обозы шли со шкурами соболей, бобров, горностаев, лисиц, песцов, с салом, рыбой, зерном добрым, маслом коровьим, да таким, какого Григорий и не знавал. На что курское маслице вкусно — скот на лугах заливных нагуливал молочко густое, — а такого не было. Желтое масло, душистое. Пахты почитай в нем и нет.

Шелихову говорили:

— Купцы сибирские деньги большие, чем с рухлядишки меховой, с масла этого берут. Травы здесь богатые.

Обозы шли и шли. Кони в парю. Знать, торопились. Рядом с санями шагали мужички в тулупах тяжелых, кушаками подвязанных. Веселые мужички. И мороз хоть был свиреп, этим, казалось, все нипочем.

А версты немереные разворачивались и разворачивались, и казалось, впрямь конца земле этой нет.

В Иркутск въезжали, едва разгорался день.

На Куршине таких зорь не видывали: в полнеба пожар красный до нестерпимости, дымы синие и розовый снег. И тишина, тишина такая, что, будто схваченный морозом, воздух застыл глыбой льда — необыкновенной прозрачности. Слышен только полозьев санных скрип пронзительный да звон подков, бьющих в голосистый, что медь колокольная, дорожный наст.

Зима была снежная, но улицы в Иркутске наезжены хорошо: ни тебе завалов или переметов каких. И хотя час ранний, людно было в улицах. Кричали сбитенщики, товар свой горячий выхваляя, сновали пирожники с лотками, артелями шли мужики с пилами и топорами — знать, дроворубы. В санях, на чистом рядне, постеленном на солому желтую, везли кругами замороженное молоко, рыбу байкальскую, омуля. Люди смуглолицые, широкоскулые, узкоглазые — буряты, сказали Григорию, — гнали скот. Мохноногий, пестрый, мелкий, но не тощий.

Сами же улицы дивными показались Шелихову. Коротами обледенелыми представились они ему. По дну людской поток тек, а поверху громоздились дома. Причем на улицу выходили все больше амбары, лабазы, сарай, хлева. Крепкие, надолго строенные из леса могучего. Сами же дома стояли в глубине усадеб, сзади хозяйственных построек. Дома больше об одном, но были и о двух, и о трех светах, с крышами, крытыми тесом добрым. Заплоты высокие окружали усадьбы с воротами надежными. За таким заплотом и от разбойного люда при нужде отсидеться мож-

но. Да ежели еще с ружьишком хозяин сидит, то и боем усадьбу такую не возьмешь.

Ямщик, зная, что седок его к Голикову едет, дороги не спрашивал — за один угол завернул, проулком проехал и прямо к дому купца вывез.

Дом в два света. Ворота из широких плах, крепостным под стать. Лабазов же, лабазов — не счесть.

У ворот стоял длиннющий обоз. У лошадей, от мороза в иней одетых, торбы подвязаны. Видать, давненько стояли. Возницы тут же на снегу прыгали, руками себя по бокам обстукивая. Но, попрыгивая, не скучая, зубы скалили.

Шелихов из саней вылез, огляделся и в ворота своими ногами пошел. Вспомнил сказанное отцом: забижать себя не давай, но и в глаза излишней бойкостью не лезь.

Шел через улицу — плечи гнул. Жидковат еще был в кости по младости лет, но чувствовалось — мужик будет не из махоньких. Как из саней вылез, возница на него взглянул с уважением. Понял — этот заматереет, и его не обидишь. У мамы молочко, знать, крепкое было.

Во дворе голиковском голоса, людно. Мужики в дохах собачьих, в длиннополых шубах с малахаями, шитых из меха неведомого. Рыженького, но, видать, мягкого, густого и теплого. Эти, в шубах, нерусского покроя, лопотали неразборчиво.

На Григория во дворе покосились. Видать, здесь друг друга людишки знали. А этот — чужой.

Григорий спросил:

— Хозяина где найти?

— Хозяина? — протянул мужичонка с красным от мороза носом и глазами в снежной опушке, — а вон, в лабазе том. Иди, но ежели он тебя не звал, мотри, паря, пугнет — о порог споткнешься.

Засмеялся.

Григорий постоял, на воробьев глядя, и взялся за обмерзшую скобу лабазных дверей. Дверь, видно, забухла. Рванул с силой, но едва оторвал от косяка. Шагнул через порог.

В лабазе, напротив дверей, за столиком шатким, перед свечой сидел плохонький мужичонка в шапке драной, в тулупчике бедном, заячем. В плечиках — узковат, лицо лисье. Тут же, рядом, двое молодцов раскладывали рухлядишку меховую на холщовой полсти. Темновато было в лабазе и сильно пованивало кожами.

Мужичонка глаза на Шелихова поднял, голосом недобрым спросил:

— Кто таков?

— Мне бы хозяйина, — ответил Григорий, — Ивана Ларионовича Голикова.

Осторожно сказал. Имя и отчество уважительно выговорил.

Мужичонка в кулачок махонький кашлянул.

— А я и есть хозяин.

Григорий от неожиданности шагнул назад. Думал мужика могучего увидеть: косая сажень в плечах, голос громоподобный, а увидел человечешку, что соплей перешибить можно. Но, робость победив, вперед выступил, поклон глубокий махнул, из-за отворота шубы письмо достал.

Тот письмо принял. Развернул, начал читать, но нет-нет а из-за бумаги на Григория поглядывал. По глазам видно было, что он и без письма — камешек-то битый — многое понял.

Есть такие мужичонки, что вроде и квел, и ростом не вышел, да и ликом далеко не красавец, глаза блеклые, но иному молодцу — и статному, и ладному, и пригожему — ни в каком деле с этим захудалым не выстоять. Такой вот — сухарик обкусанный — тихо, тихо, а глядишь, обскакал. Прыткий это народец.

Иван Ларионович, только раз глянув на Григория Шелихова, решил: «Парень хорош — как и говорили о нем люди сведущие. Еще не обломался, правда, ну да оно, может, и к лучшему».

Пока Иван Ларионович письмо читал, Григорий по лабазу глазами водил. Рядами висели меха. Соболь царский, лисьи шкурки огненные и темные с серебром, песцы дымчатые, белка желтая, выдра золотая и отдельно — шкуры котов морских. Этого меха Шелихов не знал, но по густоте и пышности его понял — чудо. Позавидовал, аж сердце сжалось: «Эко богатства-то здесь. Вот уж правду сказать — клад».

Письмо на стол с видимым бережением положив, Иван Ларионович шагнул к Григорию. Обнял:

— С приездом благополучным. Сейчас в баньку да пельменей наших, сибирских. — Глаза хитро сощурил, губами пошлепал. — Но... Дела, дела давят... Вот как! — Иван Ларионович засуетился, затоптался вокруг столика, по шее себя ладонью рубанул. — Уехать я должен ненадолго. Ты в самую пору подоспел. Прими товар, разберись с мужиками, а я мигом. Туда и назад.

Голиков недаром на самую гору торговую взошел в Иркутске. В любом деле он быка за рога ухватит. И сей-

час решил: «Перепутает товар родственничек — убытку на сотню, другую. Пустяшная потеря, а ежели сразу дельным человеком себя выкажет — барыш куда больший».

Чего ему было рублями рисковать: он на тысячи счет вел.

За локотки Григория взял Иван Ларионович, в глаза заглянул ласково, посадил на стульчик. И уж таким сирым да обиженным предстал, хоть плачь:

— Выручи по-родственному.— Книги учетные подвинул.— Сюда, сюда все заноси. Грамоте-то разумеешь, я чай думаю?

И вьюном вынырнул из лабаза. Дверью хлопнул.

Молодцы, что ему помогали товар принимать, даже присвистнули. Повидали за хозяином многое, но и то удивились шибко.

Григорий посмотрел на них, посмотрел да и сказал:

— Давайте товар.

На хозяйском стульчике уселся накрепко. Молодцы завертелись: «Родственничек-то не прост».

Голиков в лабаз вернулся, когда день клонился к вечеру. Вошел весело:

— Ну, как, купец молодой? Я-то подзадержался. Сказывай, что успел?— В голосе медок с дегтем. Пошел по лабазу, разглядывая товар. Осматривал дотошно. Без улыбки и лишних слов.— Это что? А это как?— спрашивал. Строго покашливал. Но все было так сделано, будто Иван Ларионович сам командовал. Безмерно поражен был купец и рад безмерно, но о том промолчал. Только головой покивал: — Хорош, хорош... Вижу, не зря приехал...

В словах этих Григорий почувствовал одобрение и приободрился. А то все волновался: как, мол, да что?

Иван Ларионович к работникам повернулся. Те стояли молча, ждали хозяйского слова.

— Ну, как,— спросил он,— молодой?

Один из работников утерся рукавом, сказал:

— Чего уж... Дело знает.

— Во-во,— засмеялся Иван Ларионович дробно,— корень чувствуешь? Корень наш, рыльский.— Хлопнул Шелихова по спине.— Теперь и пельмешков поесть можно.— И в другой раз по спине хлопнул.— А ты здоров, здоров,— сказал с завистью,— ишь какой вымахал!

Григорий потупился. Заробел все же.

С того дня в торговом деле Голикова Ивана Ларионовича закрутился Шелихов Григорий Иванович. Через месяц уже в Кяхту поехал китайский товар закупать. Потом

на Ононе, Орхоне у мунгалов объявился. На Амур ходил. На Чукотку к чукчам за мехами поехал. На Камчатку к ительменам добрался. В Охотске побывал. И уже кораблики стал сооружать на побережье и в море посылать.

В один день женился в Охотске. Но как ни быстро с этим управился, а жену славную выбрал. Таковую, что и сто лет искать будешь, да не найдешь.

К морскому промыслу горячо пристрастился. И помог ему в том дед молодой жены его Натальи Алексеевны — Никифор Акинфьевич Трапезников. Человек в морском деле бывалый, ходивший и на Курильские острова, и на Алеутские, и до самой матерой земли Америки.

Шелихов смело кораблики выводил в море. Добирались уже его ватаги до японских земель, но все это была только присказка, а Григорий Иванович думал уже о сказке.

К одному все складывалось — к дороге памятной за Сеймом. И тесно Шелихову стало в лабазах голиковских больших, как и в лавке рыльской темной. И сам он коней своих ретивых гнал. Сам кнут поднимал.

Так, да и не так все было. Коней гнала Россия. Новое рвалось во все щели старого дома империи.

Черня небо клубами дыма, брызгая слепящими искрами, руду плавили и металл гнали медеплавильные доменные и железоделательные уральские заводы. Шутка сказать: Россия выплавляла больше пяти миллионов пудов железа, и — недавно еще заносчивые и спесивые — купцы французские, голландские, прусские на европейских рынках и рта открыть не смели. Вперед вышел купец российский. Чугун, медь, железо шли и в Англию, и во Францию, и в Голландию, и в Австрию...

Суконные, полотняные, шелковые, стекольные мануфактуры в стране считали на сотни.

В балтийских портах тесно было от судов под иностранными флагами. Навешивая на государственные свитки тяжелую державную печать, Россия заключала торговые договоры с Данией и Австрией, Францией и Португалией. В столицах западных даже банковские евреи, ничёму не верящие и все подвергающие сомнению, русский рубль на зуб не пробовали, но торопились поскорее припрятать в свои кассы.

Но главные усилия русское купечество направляло на восток. Караваны шли в Турцию и Иран, в Хиву и Бухару. А из российского дома уже дальше смотрели.

Ветер, ветер гулял над Россией.

Это было неудержимое движение вперед русской нации. Поток этот мощный, кипя и вздымаясь, в новое время мчал, все сокрушая на своем пути. И тысячи Шелиховых, увлеченные им и сами ускоряя его движение, шли на подымавшейся его волне.

3

В Охотске пушка ударила, извещая об утреннем часе шестом. Звук, пружиня и вибрируя, далеко прокатился по воде. Стих. С моря туманом потянуло. Но туман не густ. «Перья,— как мужики говорили.— Ветерок дунет, солнышко пригреет — они и разлетятся».

Солдат, стоящий на часах у дома портового командира полковника Козлова-Угренина, на туман поглядывал, соображая: «Это моряку не помеха». Знал: сей день в море большая — о трех галиотах — флотилия уходит. Событие немалое.

Над головой часового Российской империи флаг лениво плескался. Солдат, с ноги на ногу вольно переминаясь, скучал. Четвертый час стоял при всей выкладке. Заскучаешь.

По двору полковничьему драные собаки бродили. Зубы желтые скалили. От щедрот Козлова-Угренина тощие до невозможности и злые. Собак этих не только чужие, а и свои боялись. Черт их знает, что удумают? А то еще и бросятся. Клыки-то вон какие. Такая собачка по горлу полоснет почище волка. Лучше двор этот обойти.

Солдат на часах все скучал. А нос у него картошкой и в рябинах. Веселый. С таким носом на часах-то и впрямь тоска.

В доме портового командира слышались тяжелые шаги:

«Бум, бум...»

Как металлом по камню. Часовой в струнку вытянулся, лицом зачугунел.

Собаки вскочили, сунулись к крыльцу.

Дверь широко распахнулась, и из дому полковник Козлов-Угренин вышел. На пороге остановился, глядя на солнце, встающее над морем.

Солдат на караул взял. Стоял, будто бы застыв. Но полковник ни на него, ни на собак и не взглянул.

Крупный мужчина полковник. Лицо скуластое, в желваках, глаза желты. И видно было — выпить не дурак. Стакан не уронит.



Часовой осторожноенько косился на полковника. Знал — от этого ждать можно всего. Подойдет и в зубы даст. А ты терпи. Служба — не теща с блинами. До бога высоко, до Петербурха далеко, а Козлов-Угренин в Охотске — и бог, и судья, и начальник.

Редкий человек выдерживает испытание властью. Власть не вино, а в голову ударяет. Глядишь, вчерашний теленок на второй день быком смотрит, глаза налив кровью. И от него одно слышно:

«М-у-у...»

Да рык утробный.

Недаром говорят: человек узнается, когда к власти пробьется.

Руки к тому же у такого, как в начальники выдерется, странное изменение претерпевают: начинают гнуться только к себе. Иной вроде бы и упирается, а смотришь — нет. Все под себя, под себя гребет. Порой упор этот даже и различить можно. Больше того — он и в глаза сразу бросается. Ноги в землю до рытвин встемлены, спина назад ушла, голова опущена на грудь. Точно скажешь — мужик уперся и ни в какую его не сдвинуть. А приглядишься — опять же нет. И этот под себя гребет... До удивления странен человек на месте должностном.

Полковник же Козлов-Угренин даже и не упирался. И руки у него знали только хватательное движение. За годы долгие заостенели. Хочешь не хочешь, а рука сама тянется и — хап! Схватила. И другая — хап! Тоже схватила.

Хватал он, не разбирая даже, что хватает. Важно, чтобы работу ту руки исправно исполняли.

Сегодня, знал он, купцы именитые кораблики за море посылают, и непременно при этом хапнуть можно будет. Соображал: оно лучше, конечно, когда кораблики с товаром возвращаются, тогда-то хапнуть способнее, но и этот случай упускать не следовало.

Полковник велел закладывать карету.

А пока, для поддержания страха в дворовых людях, прогулку предпринял вокруг дома. Понимал: пост высокий требует постоянного бдения относительно трепетных чувств, которые бы испытывал каждый, едва только увидя лицо должностное.

Сюда взгляд закинул полковник, туда взглянул, здесь присмотрел. И все это не торопясь, со значением и звуками начальственными. Как-то:

«М-у-у...»

И конечно же:

«Р-ы-ы...»

Тут еще подоспел один начальничек. Тоже из «совестливых». Коллежский ассессор Кох, Готлиб Иванович.

От полковника Готлиб Иванович одним отличался: ежели Козлов-Угренин волком всегда наседа, то коллежский ассессор — лисой больше вился. По части же хапанья они вперегонки запускались, и кто успевал больше, сказать порой было нелегко. Да это и не важно. Важно другое: и волк, и лиса любят мясо. А мясо-то с костей драть надо. И драли. А то и не драли. А так с косточками: хруп, хруп, хруп... Оно и слаще даже.

В карету забравшись, милостивцы эти покатили, поглядывая вокруг соколами.

На берегу, у причалов, народу собралось к тому часу немало. Топтались на гальке. Переговаривались, сдерживая голоса. Бабы пошумливали. Иная, глядишь, в платок сморкалась. Мужики-то уходили далеконочко. Когда еще свидеться придется? А известно: бабе без мужика — куда ни кинь — не сахар. Глаза у баб были красные, — знать, поплакали. Ну да без слез какие проводы, когда на Руси и в праздник плачут.

Бабы бабами, а к причалам уже и самостоятельный народ подошел. Здесь и Иван Ларионович Голиков стоял, в станом кафтане добром. И Иван Андреевич Лебедев-Ласточкин — купчина дородный, толстосум. Оба они были главными пайщиками компании, снарядившей кораблики. Григорий Иванович в компании той только третий, и пай его мал. Но в дело закладывал он свою голову — идя с судами в поход дальний. И хотя человек так устроен, что не каждому чужая беда ложится на душу, но пай сей — головой — главным все же почитать можно было.

Иван Ларионович с обычной своей усмешечкой вокруг поглядывал, царапая глазками остренькими по лицам. И ничто-то в нем вроде бы не говорило, и ничем-то он вроде не выказывал, что Голиков Иван Ларионович — лицо здесь главное. И на его денежки кораблики за море поплывут. И барыш от похода этого самый большой он снимет. Хитер был. Ах, хитер... Все умел: и зубы показать, и губки сложить бантиком. А губки что ж — известно — тоненькие у него были, бледненькие, но оттеночков в том, как он складывал их, много. Улыбался Иван Ларионович. На сей раз — улыбался.

Иван Андреевич Лебедев-Ласточкин, напротив, стоял насупившись, солидно ладонью бороду утюжа. Лицо над-

менное. Понимал, что он второй, и, достоинства не роняя, держал себя соответственно. Оба в Охотск приехали из Иркутска досмотреть, что и как.

Тут же Наталья Алексеевна, жена молодая Шелихова, ватажнику старшему — мужику в чистом армяке и лаптях новых — наказывала: то-де не забудь да это, за тем пригляди.

Григорий Иванович у байдар командовал. В байдары последние мешки с провиантом грузили. И он следил — не подмочили бы или еще как не испортили.

С бережением особым мужики под взглядом Шелихова понесли к байдарам мешки, обшитые кожей.

Иван Ларионович спросил Шелихова: что-де, мол, за мешки такие? Григорий Иванович, чуть замаявшись, ответил не то в шутку, не то всерьез:

— Сухари сладкие. Боюсь, не испортили бы.

Иван Ларионович улыбнулся понимающе в ответ, а сам еще раз на мешки взглянул с удивлением. Но подумал: «Эка, какое мне дело? Может, и верно, Гришка, баловства ради, сухарей сладких с собой набрал».

Григорий Иванович заторопился к байдарам. Там заминка случилась. И о сухарях сладких Голиков забыл.

Шелихов суетился у байдар. Замотался со сборами, устал до крайности. Но хотя дальняя дорога предстояла, да и нелегкая, глаза у него сияли. Понимал: его час пришел.

Особый тот час каждому выпадает, ежели человек упорство и настойчивость сможет проявить. Ибо много человеку от роду отмерено, но не всегда он выбирает из дара этого безмерного ценности подлинные. Чаше берет невесть что. Как ваятель скульптуру чудесную, так человек сам себя делает, — и нет у него врага злее, чем он же сам для себя.

Играючи носил к байдарам мешки с провиантом Степан с тряпичей черной на лбу.

— Эх! Эх! — покрикивал. — Поспешай, ребята!

«Ну, — подумал Иван Ларионович, глядя на него, — голь Гришка собрал. Самое что ни на есть отребье». И решил так зря. В ватаге Шелихова народ был отменный. Все больше — казаки яицкие, после пугачевского мятежа указом царицы в глухие места сосланные. Солдаты целиком сгоняли станицы с насиженных мест и со скарбом, скотом и птицей препровождали в земли необжитые. Скорбное было шествие. Видели — дело это лихое, но Петербурх, слово раз сказав, назад никогда его не берет. Мерли десятками

детишки, бабы с ума сходили, но солдаты все гнали и гнали дальше и дальше страшных царице людей.

Степан был из тех яицких казаков. Офицер один указал, что бился он под стенами Оренбурга в отрядах Пугача. Секли его в Симбирске на площади кнутом жестоко, спустив мясо до костей. Другой, как на кнутабоище приведут, кольцо с лалом с пальца сдернет и протянет кату. Нет кольца — отдаст крест с груди. Палачу лестно, и он не сечет, а мажет по спине. Кровь вроде и брызжет, но мясо цело. А человек под кнутом орет во все горло. И то тоже кату по сердцу. Степан под кнутом только зубами хрустел, а ни крика, ни стопа кнут не вырвал из него. И уж палач во всю силу ложился на кнут. А все — нет. Молчал Степан. Без памяти уже отняли его от столба и, припечатав каленым железом, угнали на восток.

Были в ватаге и устюжане, и архангельские мужики, что дело морское знают сызмальства, так как в море с незапамятнейших времен ходили еще и деды их и прадеды. Были и таежники коренные. И первых и вторых Григорий Иванович и на золото бы не променял, так как цены им не было в походе дальнем. Народ ухватистый, которому ни смекалки, ни отваги не занимать.

Степан все покрикивал:

— Живей, живей, ребята!

Мешки пушинкой летали с рук на руки.

Вокруг громоздился порт. Причалы на сваях, от водорослей черных, бухты канатов, сотни две байдар на гальке, горбыли гнилые горой; куски сетей, битые черепашки.

Плоховат порт для ворот империи на море восточном. Но море-то само широко. Не оглядеть. И ветер ядреный с воды шел. Волна о берег била, будто говоря: подождите — будут и корабли, и причалы крепкие, и люди, что все это сделают и за море пойдут. А может быть, волна говорила, что люди уже есть...

По гальке, скрипя колесами, карета портового командира подъехала. Полковник вылез на берег и рядом с купцами именитыми стал столбом. Готлиб Иванович из кареты выскочил и кругами вокруг заходил, юля глазами. Мундиришко на нем бедненький, изношенный, с кантом, молюю траченным. Да и спина согнута у Готлиба Ивановича, лопатки торчат. А все знали: богат, богат, наворовал столько, что весь Охотск с домишками трухлявыми, заборами дырявыми, собаками шелудивыми купит. Да еще и то, что у купчишек местных из рухлядишки меховой припрятано, да

золотишка тоже возьмет, не истратив и десятой части своих капиталов.

Славенький, словом, был человечиска. Руки купцам пожимал умильно. Вопросыки задавал заботливо:

— Как здоровьишко?

Голосок у него звенел по-соловьиному сладко.

Правда, осерчав, как-то сказал один купчина:

— Лучше бы ты каркал.

Ну да то в сердцах, сгоряча сказано было.

Полковник Козлов-Угренин к Шелихову подошел и себя выказал. Крякнул:

— Кхе, кхе...

Сказал трубно:

— Какой же презент портовому командиру купец приготовил?

Шелихов вскинул брови:

— Презент? Ваше благородие...— Руками развел: — В поход идем... До презентов ли?

— А как же,— прогудел полковник,— купчишки в море за рыбкой выходят, и то с презентом к нам, а тебе уж...

— Ну, так то купчишки,— ответил Шелихов, улыбаясь прилично,— а мы купцы. И они в море идут, а мы за море. Не обессудь, ваше благородие...

Голову склонил с нарочитым почтением.

Полковник с неудовольствием отступил.

Иван Ларионович улыбку в воротник спрятал. А Степан, с черной повязкой на лбу, кукиш из-за спины показал: ты, мол, наших не замай. На Шелихова взглянул с уважением — этот не из пугливых.

Погрузка была окончена, и байдары с провиантом ушли. Народ на берегу разом на две части распался: на тех, что в поход уходили, и тех, что оставались на матерой земле. Ватага ближе к морю отошла. Мужики сняли шапки. Между ватагой и провожавшими полоска, как рубеж, пролегла. И узкий этот промежуток, в два или в три шага шириной, строго определил: вот этим на земле твердой оставаться, а тем — волнам жизнь доверить.

И о другом поведала полоска на гальке. Как ни есть, а на земле твердой надежно, привычно, найдено, натоптано тысячами, и тропами теми идти можно уверенно. На море же тверди под тобой нет. Все зыбко... Полоска та на берегу, между людьми пролегшая, разделила их, как характеры: вот эти в жизни твердь выбрали, а те нехоже-

ной дорогой идут. Этим — привычное дай, а те — звезды хотят обломать с неба.

Григорий Иванович шагнул к Голикову. Тот обнял его и, поцеловав троекратно, перекрестил. Перекрестил его и Иван Андреевич Лебедев-Ласточкин, и Шелихов отошел к ватаге. Тут же, к изумлению людей, к ватаге Наталья Алексеевна шагнула.

Все ахнули:

— Куда ты, баба?

А она стояла среди армяков — высокая, стройная. И только крикнула:

— А у нас так, куда иголка, туда и нитка.

Засмеялась, показав зубы белые.

Народ заволновался.

— Чумовая...

— Скаженная...

— Ох ты, виданное ли дело, — запричитал кто-то в толпе по-дурному, — беде бы не случиться...

— Цыцте, — шикнули на голоса эти, — типун на язык. В минуту остатнюю кто о беде говорит...

Голоса смолкли.

Ватага стояла у самой волны. Ветер трепал бороды, волосы шевелил. Над головами чайки кричали. В лицах людей торжественное проглянуло. Но все молчали. Бабы и те рты платками позатыкали.

Вот так вот, молча, без слов пышных и похвальбы, человек на подвиг идет. А они шли на подвиг державы для, рубежи ее раздвинуть. И не эти — купцы-толстосумы, стоящие по сю сторону полоски образовавшейся, — не полковник Козлов-Угренин в мундире, зóлотом шитом, не Кох — ехидный, а те, что были напротив них — в армяках тощих, в лаптешках битых, подвиг тот должны были содеять. Как от веку совершали его не Голиковы и Лебедев-Ласточкины, не Козловы-Угренины и Кохи, а чаще бесфамильными остающиеся — Иваны и Архипы, Степаны и Афанасии.

Прошла минута. Мужики поклонились низко и в байдары пошли. Шли неторопко, но и не оглядываясь. Что уж оглядываться? У серьезных мужичков издавна положено: пошел — иди, а ежели спотыкаешься, то и в дорогу собираться не след.

Григорий Иванович, чуть в сторону ступив, оборотился к солдату, стоявшему у причала с ружьем.

— Вот кому, — сказал, — презент мы приготовили.

Сунул руку в карман и вытащил красную тряпицу. Раз-

вернул. На ладони у него светлым полированным бочком сверкнула трубочка.

— Тебе, служивый,— сказал Шелихов, протягивая солдату трубочку,— память о нас.— То был старый обычай мореходов: последнему, кто на берегу провожает, на счастье вещицу какую ни есть вручить. А кто как не солдат, охранявший причал, последним-то и был? — Бери, бери, служивый,— настаивал Шелихов и протянул трубочку солдату.

Служивый от неожиданности глазами заморгал и осторожно, будто стеклянную, в обе ладони принял трубочку.

Шелихов шагнул к байдарам. Весла ударили разом, и байдары отвалили.

Толпа на берегу качнулась. Бабы платками замахали, потому как моряку всегда лестно платок машущий с берега увидеть. И теплее в море ему, платок тот вспоминая.

Бабы носами захлюпали, запричитали. И опять кто-то крикнул властно:

«Цыте!» — так как понятно, без этого бабу не урезонишь. Да и что на дорогу-то выть? Сердце рвать, а делу от того толку нет.

В толпе засуетились:

— Забыли, забыли!

— Что забыли-то? — оглянулся беспокойно Иван Ларионович.

— Да вот,— мужичонка в драной шапке тряхнул связкой лаптей,— не бог весть что...— Захлопал глазами смущенно. Вперед посунулся. Лапти над головой поднял.— Вот, вот... Забыли...

Можно было бы байдару к галиотам погнать вслед, но Иван Ларионович подумал: «Не беда. Лапти мужики сплетут, коли понадобится».

Козлов-Угренин подал начальственный голос:

— Лапти ко мне в пакгауз снести. На государственное хранение.

Всех вокруг оглядел с достоинством.

Хапнул-таки, урвал кроху.

Чиновник — он всегда ловок и закон у него один. Мое — это мое, твое — тоже мое, только до времени у тебя остающееся, и бдить надо недремно — не приспел ли час время это прервать?

Кох сморщился: лаптей, ежели и по пятаку пара, то и на целковый не наберется. Но все же полковник его обскакал. Обидно. Губы поджал.

Поднявшись на борт «Трех святителей», Григорий Иванович сказал капитану Измайлову Герасиму Алексеевичу, одному из лучших штурманов на океане Великом:

— Якоря поднимать, паруса ставить! С богом!

И все, что оставил на берегу: Ивана Ларионовича хитрющего и Козлова-Угренина — дубину стоеросовую, Ивана Афанасьевича — из-под голиковской руки высматривающего, и Коха — от жадности высохшего, — как отрезал от себя. Словно краюху хлеба отвалил ножом и в сторону отодвинул. Впереди для него теперь было только море. Умел он вот так: разом отрубить, что в ногах путалось, мешало пойти дальше новой дорогой. Великое это благо для человека, ежели он умеет цепи разорвать, мешающие его делу. Иной тянет груз непосильный, стонет, но тянет. А ему бы шагать, шагать с силами удесятеренными без того груза. Но недостает сил разорвать канаты эти, порой и миру-то невидимые, но опутавшие так, что еще чуть-чуть, еще немного и надорвется человек. «Трудно, — говорит такой, — жалко, прошлое-то отбросить...» А почему ему трудно, кого он жалеет? Себя жалеет кулаком по сердцу ударить. А Шелихов не жалел. Мечта у него была. И он себя не щадил.

Вся команда на палубе собралась. Стояли молча, смотрели на берег. Домишки, домишки разбегались вдоль бухты Охотской, а чуть выше домов — сопки, в багульник цветущий одетые. Багульник горел сиреневым огнем, и яркими островами в багульнике цвели золотые жарки.

#### 4

В тот день, когда флотилия Шелихова в море вышла, в Иркутске из Петербурха приехал чиновник. Фамилия его — Рябов — говорила о происхождении низком, так как среди знатных на Руси фамилии такой не знавали. Но когда карета Федора Федоровича Рябова подкатила к дворцу иркутского и колыванского генерал-губернатора, на широком подъезде выросла фигура Ивана Варфоломеевича Якоби, всесильного сибирского сатрапа.

На сухом, желтом лице Ивана Варфоломеевича цвела улыбка. Чести такой — быть встреченным на подъезде генерал-губернатором — удостоивались не многие. И только по этому, не зная ни чинов, ни должностей Федора Федоровича, можно было без ошибки сказать: этот — сильный.

Федор Федорович, человек еще молодой, служил по Коммерц-коллегии, все усилия направлявшей на дела тор-





говые, но одновременно имел поручения ознакомиться с делами по изучению и освоению новых земель. Место Федора Федоровича Рябова в высшей чиновничьей иерархии империи было весьма значительным.

Иван Варфоломеевич, в зóлотом шитом мундире, в высокой треуголке с плюмажем, любезно шагнул навстречу гостю. Радужие было на его лице и радость, подобающие случаю. Глаза приятно шурились.

Федор Федорович, в скромном партикулярном платье, склонился перед губернатором с почтением, однако видно было, что человек он не из робких, и встреча, и любезное приветствие генерала его нисколько не смутили, а, напротив, были приняты как должное.

Гость и хозяин обменялись обычными в случае таком восклицаниями:

— Ваше превосходительство...

— Ваше превосходительство...

Щелкнули каблуки. Скрипнула кожа ботфорт губернатора.

Иван Варфоломеевич обратил внимание на то, что гость несколько бледноват после дальней дороги, и спросил — не утомлен ли он? Но Федор Федорович возразил. Сказал, что усталости не чувствует.

И вправду, лицо его, хотя и несколько поблекшее, выдавало человека энергичного и физически крепкого. А глаза так живо посматривали вокруг, что предположить усталость в нем было трудно.

Генерал-губернатор и чиновник из Петербурха проследовали во внутренние покои дворца.

В дверях гнулись ливрейные лакеи.

Федора Федоровича удивило во дворце обилие цветов. Зеленые ковры украшали стены, лестницы, оконные проемы. Листья растений были промыты, свежи и ярки необыкновенно. Пышно распустившиеся цветы поражали множеством красок. Пунцово горящие и блекло-лиловые, глубоко-синие и снежной белизны бутоны соревновались, казалось, изощренностью форм и выразительностью цветовых тонов.

Гость звучным голосом высказал восхищение.

На это Иван Варфоломеевич ответил, что долгая зима и морозы определяют любовь сибиряков к комнатным растениям и поощряют к заботливому их выращиванию.

— Глаз устаёт,— сказал он с улыбкой,— от белизны покровов снежных и успокоиться хочет на приятной ему зелени.

Губернатор подошел к роскошному цветку и заботливо поправил веточку.

— Китайские купцы привезли эту прелесть, — пояснил он, — через Кяхту. Я не устаю заботиться о его произрастании.

Гость почтительно склонил голову в видимом восторге от трудов генерал-губернатора.

Федору Федоровичу были отведены покои во дворце, но он, скрывшись в комнатах сих, дабы переменить дорожное платье и освежиться, уже через час вышел к генерал-губернатору, ожидавшему в столовой зале.

Войдя в залу, Федор Федорович с достоинством склонил голову в свеженапудренном парике, чуть поправил кружевную манжету и сел.

Стол был накрыт безупречно. За стульями застыли лакеи в перчатках снежной белизны. У буфета почтительно стоял дворецкий — высокий и стройный старик со значительным лицом и седыми бакенбардами.

Свечи в люстрах и в канделябрах на стенках были зажжены, и свет их, дробясь и многожды приумножаясь, сверкал в многочисленных зеркалах, развешанных и расставленных тут и там.

Начали подавать.

Иван Варфоломеевич, в ожидании Федора Федоровича, размышлял о госте и причинах его приезда. Губернатор знал, что чиновник этот — сын преуспевшего при Великом императоре Петре Первом московского мещанина. Не богат, но влиятелен и может быть очень полезен. Знал он и то, что гость долгое время жил при дворах английского и французского монархов, но обязанности, которые тот выполнял при столь славных и могучих лицах, были не совсем ясны. В одном уверился Иван Варфоломеевич — а генералу нельзя было отказать в достаточной прозорливости, — что Рябов не станет, как ярыжка, копаться в документах канцелярии губернатора. Но все же о цели приезда петербургского гостя догадаться не мог.

Гость ел, не поднимая глаз. В движениях его неторопливых, в том, как подносил он ко рту салфетку, слегка губ касаясь, угадывалась несомненная принадлежность к высшему свету.

В тишине залы негромко позвякивала посуда. Посуде генерал-губернатора мог бы позавидовать любой петербургский дом. Это был тончайший китайский фарфор. В Петербурхе все больше выставляли мейсон германский. Золоченый, крикливый, аляповатый. Но куда было мейсону

до китайских изделий. Все равно что подгулявшему пьяненькому московскому купчишке в смазных сапогах до аристократа утонченного, родом своим уходящего в глубокую древность. Ни одной яркой краской не бросался в глаза молочно-матовый китайский узор. Ни одним лишним завитком не раздражал глаз, но все в нем было так тонко, воздушно, легко и нежно, что казалось — это вовсе не творение рук человеческих, но чудный, хрупкий осенний цветок, неожиданно распустившийся на столе.

В продолжение обеда Федор Федорович сказал лишь несколько ничего не значащих слов. Эта молчаливость больше и больше настораживала генерал-губернатора. Но с лица его — тяжелого и малоподвижного — все же не сходила улыбка.

После обеда перешли в каминную.

Несмотря на летнюю пору, камин пылал жарко. И летом в Сибири климат суровый давал знать: на солнышке печет, а в тень войдешь — и в затылок вдруг струйка ветерка знобящего потянет так, что плечами передернешь.

Федор Федорович у камина цель приезда наконец-то раскрыл. Начал издалека. Расспросил Ивана Варфоломеевича о промысле зверя морского. Посетовал, что шкур драгоценных меньше и меньше получают из Сибири. Поинтересовался, какие купцы и где зверя добывают. Говорил он неторопливо, голосом мягким, но чувствовалось, что Федор Федорович знает — слушать его будут.

Федор Федорович заговорил о том, что взоры державы обращены сейчас на юг. К берегам Черного моря. Россия, одолев наконец Крымское ханство, обретет прямые торговые дороги в государства европейские, по которым широкой рекой пойдет хлеб южных богатых областей.

Высказался он и о торговых возможностях империи в Прибалтике. И лишь затем перешел к главной цели приезда, показав вдруг недюжинные знания открытий русскими мореходами островов, лежащих в океане Тихом. Назвал имена славные Федорова и Гвоздева, Чирикова и Беринга и многих других, нанесших на карту дотоле неизвестные земли. Поделился мнением об открытии островов Алеутских русскими мореходами и описаниях ими берегов самой матерой земли Северной Америки.

Ход мыслей его неожиданно изменился, и черты лица выдали раздражение, хотя и тщательно скрываемое. У глаз и у рта обозначились морщинки, которые добродушными назвать было никак нельзя

Федор Федорович ногой поиграл, чуть каблучком о пол пристукивая, и заговорил о внимании, кое проявляли и проявляют западные державы к открытиям русских мореходов.

— Лорд Гинфорд, бывший английский посол в Петербурхе, — сказал он, — в свое время не постеснялся организовать похищение копии журнала и карты плавания капитана Витуса Беринга. Документы эти бесценные, — заключил он, — весьма волновали британское адмиралтейство.

Иван Варфоломеевич выразил удивление:

— Столь достойный человек...

— Когда требуется, — возразил Федор Федорович, выпрямляясь в кресле, — британское адмиралтейство не считается с этикетом. — И рассказал, что Петербурх постоянно осаждается иностранными учеными лицами. — Цель их вояжей, конечно, наука, — улыбнулся он едко, — но странно, отчеты этих служителей муз Клио и Урании скорее напоминают инструкции британскому адмиралтейству к присоединению новых земель, чем трактаты ученые.

Федор Федорович назвал королевского историографа по Шотландии доктора Робертсона, побывавшего в Петербурхе.

— Сей муж ученый, — сказал он, раздраженно поправляя пышное жабо на груди, — составил описание экспедиций Креницына и Левашова к берегам Нового Света. Прочтя их, трудно поверить, что ученым сим лишь академические заботы двигали.

И здесь тон гостя явно его беспокойство подчеркнул. Больше того, Федор Федорович даже поднялся из кресла и энергичным шагом, дабы, вероятно, снять напряжение, прошелся по комнате.

Упомянул чиновник из Петербурха и о миссии в Россию Вильяма Кокса, члена королевского колледжа в Кембридже.

— Этот господин, нисколько не стесняясь в средствах, продолжил в Петербурхе дело лорда Гинфорда и вернулся домой, собрав все, что только можно было собрать о русских открытиях в океане Тихом. — Покивал головой с горечью. — Простодушие наше, российское простодушие...

В комнату вошел слуга, подложил поленья в камин. Огонь вспыхнул с новой силой. Когда слуга вышел, Федор Федорович, сев в кресло, продолжил:

— Уважаемый сэр Джеймс Кук по приказу адмиралтейства «открывал» многие новые земли в океане Великом, следуя по картам, составленным русскими мореплавателя-

ми. И минуты не сумняшеся, во владении британской короны вводил.— Живо оборотившись к генерал-губернатору, Федор Федорович спросил: — Вы понимаете мою мысль?

Иван Варфоломеевич с ответом не спешил. Как ни одичал он в иркутской медвежьей берлоге и ни ожирел от вина, как ни отупел его мозг за вечными картами, он все понял и даже предвидел, что скажет гость дальше. И не ошибся.

— Всеми силами мы обязаны, как верные сыны отечества, вспомоществовать усилиям наших мореплавателей в освоении новых земель.

Генерал-губернатора смущало в услышанном одно. Хотя и далеко сидел он от Петербурха, а знал, что Сибирь для столицы была богатым мешком, из которого черпали меха и золото для пополнения державной казны. Ведомо ему было также, что люди у трона делились на две группы. Одна, продолжая идеи Великого Петра, стремилась раздвинуть границы России не только на западе, но и на востоке. Вторая же, стоявшая ближе к царице, увязала в борьбе на западных рубежах. События, происходившие в Молдавии и Валахии, Польше и Прибалтике, были постоянным предметом забот, интриг, разговоров и пересудов.

— А восток империи... Ну, что ж — это подождет, это будущее,— говорила Екатерина.

«Птенцы гнезда Петрова» смотрели дальше. Но как сильны они были — вот вопрос, который стоял сейчас перед генерал-губернатором...

Гость внимательно смотрел на пламя камина. Наконец он отвел взгляд от огня. Вероятно, чиновник петербургский и сам почувствовал некую недоговоренность, возникшую в разговоре, и выразился более определенно:

— Петербург не станет чинить препятствий в развитии мореплавания на востоке. И вы можете сделать многое для будущего России, для славы и процветания империи.

Иван Варфоломеевич, безоговорочно причислив Федора Федоровича к когорте «птенцов гнезда Петрова», решал для себя все тот же вопрос: какая из двух партий большей силой возобладает? Глаза у генерал-губернатора были прозрачны и, казалось, не выражали ничего.

На этом разговор закончился.

Гость пригубил из бокала и в сопровождении хозяина прошел в отведенные ему апартаменты. Разговором он остался недоволен.

В последующие дни Федор Федорович интересовался делами торговыми в Кяхте, ознакомился с положением Мор-

ской школы в Охотске, встречался с чиновниками канцелярии.

Через неделю он отбыл в Петербург.

Иван Варфоломеевич провожал гостя, стоя у подъезда дворца с той же в точности улыбкой, с которой и встречал его семь дней назад.

Когда карета отъехала, генерал-губернатор прошел в свой кабинет и в глубокой задумчивости сел за стол.

## 5

Флотилия Шелихова с хорошим ветром шла полным фордевиндом. Любо-дорого смотреть было на кораблики поспешающие. Паруса белые распустив, они по морю, казалось и волн не касаясь, летели. Небо синее куполом над ними выгибалось, и на нем не было ни облачка. Так вот бы и весь путь. Куда как славно. Пена, брызги и ветер в лицо!

Галиот «Три святителя» на киле стоял ровно, шел ходко, на две пелены разваливая сверкающие волны. За кормой борозда рытая, и хоть зерно в нее не бросают, а урожай она дает — ибо каждая миля, по морю пройденная, в человеке крепость рождает и силу, цены которой нет.

Григорий Иванович с Измайловым, чуть поодаль от рулевого колеса стоя, говорили негромко. Шелихов зело рад был и попутному ветру, и небу необыкновенно ясному, и такому удачному началу похода. От самого Охотска, как с банок снялись, под полными парусами шли, и все говорили, что ветер не изменится.

Ночами, правда, Измайлов парусность велел уменьшать, так как плавающих льдов опасался. Море Ламское коварно, льды здесь и летом встречались. Но Григорий Иванович, сколько ни всматривался, опасности не заметил. Лишь волны до горизонта катили, одетые белыми барашками.

Измайлов все же говорил:

— Вода в море этом по кругу ходит. В проливы Курильские из океана вливается, как в бутылку, и на север прет. Оттуда сваливает вдоль восточных берегов, к югу тянет и с севера льды наносит. Иные льдины идут притопленные. Вот этих-то опаснее нет. Каверза истинная.

Хмурился.

Но Григорий Иванович, хоть и тревожные слова слышал, шурился довольный. Подставлял лицо солнцу.

Под напором ветра, надувшего паруса, мачты пели ровно и сильно:

«У-у-у-у...»

И звук этот был, как гудение тяжелого шмеля, на медовый цветок садящегося. А кто на лугу, на шмеля глядя, от улыбки воздержится? Что краше в жизни бывает: полуденное солнце, колышущиеся травы, и шмель поет...

— Я вот,— Измайлов говорил,— в Петропавловском аглицкий бриг видел, обшитый медью листовой по дереву. Тому все нипочем. Льды не льды, а он себе идет.

— Ничего,— сказал вдруг Григорий Иванович голосом особым,— и мы пройдем.— И, лицом посерьезнев, оборотился к Измайлову. Сказал неожиданно с необычной откровенностью. Друг, правда, был ему Измайлов, но такое и другу не всегда говорят. Море, видать, душу ему размягчило.— Я вот всего в жизни боялся. Вначале отца: думал, не так что сделаю — высечет. Потом покупателя в лавке: товар не возьмет — денежки уйдут, меня тоже по головке не погладят.— Лицом покивал капитану: мол-де понимаешь меня? Продолжил: — Позже купца боялся: не расторгуюсь прибыльно — выгонит. Сам купцом стал и опять боялся: прогорю с делом — по миру пойду. Страшно было. Все страшно...

Усмехнулся. Скривил губы. Лицо у Шелихова менялось все время: то тень на него ложилась, то солнечный луч его освещал, и опять тучи по лицу пробегали. И от того, казалось, то надеждой оно загоралось, то глаза, взор внутрь обращая, гасли. Наверное, в мыслях путь он свой долгий оглядывал. И радовался, и огорчался, и надеялся. И вдруг голову вскинул, плечи распрямил. И в лице у него появилось живое, веселое, лихое:

— А сейчас взглянул на мир этот неоглядный, на простор немереный, ветру хлебнул и — ничего не боюсь. Под небом этим всем место есть. Одно то, что мы видим его,— уже благо. Понял я — гордыни мы своей боимся. Я-де, мол, не хуже вас, а вот упал... Гордыни лишь одной... И она-то нам в жизни крепко стоять мешает... Во всем мешает.

Оглядел море с улыбкой.

— Эх,— словно выдохнул,— так-то легко здесь. Кричать хочется...

Измайлов молчал, удивившись такой откровенности. Искоса на Шелихова взглянул и оборотил глаза к морю. А был он — капитан — невысок, но крепок, и чувствовалась в нем та тяжелая сила, которую сразу же приметит в человеке каждый и, только раз глянув, скажет: «Эге, а этого просто так на землю не собьешь».



Помолчав минуту, Измайлов ответил неспешно:

— Ничего, еще испужаешься. Вот к Курилам подойдем, вода наперед нам жгутами попрет, кораблик, как кобылка уросливая, запляшет. Испужа-аешься.

Григорий Иванович рукой махнул:

— То другое. Не понял ты меня. Страх с меня сошел, как с ужа-выползня кожа сходит... Вот отсюда,— он посту-чал пальцами согнутыми в грудь,— кожа та слезла... А кораблик запляшет, может, и испужаюсь... Но то страх иной. Не понял ты...

Долго шел он к этому походу, но вот вырвался— и душа у него распахнулась. Русский был человек... В сечу кровавую, так уж давай в сечу! И врага не щади тогда, и себя не жалея. Свистит клинок над головой, смерть в глаза заглядывает, а ты ее, стерву, за волосы, за ребро: стой, стой, старая, еще не все сказано... В работу — так уж до жаркого пота, когда он глаза застит, жжет солью, но дело горит в руках, вертится колесом. А в груди звонкоголосые петухи поют, что от веку на земле солнца восход возвещали...

— Не понял ты,— повторил Шелихов, глядя на капитана.

— Понял, Григорий Иванович,— возразил Измайлов, хмыкнув,— все понял. Слукавил я... Но уж коли правду хочешь — так скажу: ежели бы я в душе у тебя страх видел — в поход не пошел. Нет, не пошел... Раньше-то ты меня звал, а я не давал согласия. Ты другим был. Суетился много. А теперь вот пошел с тобой. Уразумел? — Улыбнулся.— Что, разговору такого не ожидал?

Серьезный был человек Измайлов — капитан. Серьезный. Чаще молчал, а ежели говорил, то от души. А там уж как сам знаешь: хочешь — прожуй и проглоти, а нет — выплюнь.

— Любо, любо мне,— ответил весело Григорий Иванович,— слова эти слышать.

Вот как поговорили люди. А со стороны глядя, скажешь: стоят двое, ветерку радуются, болтают о пустом.

Пело в груди у Шелихова. Пело. Подступил к заветному. И хотя мыслей тайных своих о походе до конца еще никому не высказывал, но и не скрывал радости.

Подошел Михаил Голиков — племянш Ивана Ларионовича. Остановился, прислушиваясь к разговору.

Доверял, доверял Голиков-старший Григорию Ивановичу, а и проверить хотел. Большого ждал барыша от похода, и купец в нем говорил: золото-то, оно к рукам

липнет. Золото ведь, золото! И крупица цену имеет. Подумал, подумал Иван Ларионович и закатил по чиновникам иркутским. А чиновник, он, что в Иркутске, что в Петербурхе или каких иных городах российских, как пасхальные яички, один на другого похож. Расписаны только красками разными — сиречь мундиры кантиком или шовчиком отделаны в коллегиях многочисленных друг от друга отлично, а скорлупку облупить, посмотреть — желточек-то цвета единого. Да и как он, слуга царский, на свет производится? Кума там, сватья, тетушка важная, дядюшка, а то и просто пельмешков поели — глядишь, и чиновник новый на свет появился. Пельмешки-то, да еще за чужим столом, в рот пролетают не то что грешник в рай через игольное ушко. Нет, куда там... Намного проворнее: пташками веселыми. А тетушка важная опять словцо замолвила, дядюшка шепнул неразборчивое, и у чиновника уже крестик в петличке. Так он по лестничкам служебным, как мальчик по лужку на одной ножке, — прыг-скок, прыг-скок — и доверху допрыгает, даже и ступеньки минуя многие с легкостью. Ну а в головке-то все стрекозки крылышками трепещут, как перед мальчиком на том лужку благодатном... Вот у такого, с лужка, Иван Ларионович и попросил для племяша диплом капитана. Ну, а тому все едино: капитан там или не капитан. Стрекозки-то: ж-ж-ж, ж-ж-ж... Да к тому же по российским дорогам пока-то улита едет. И когда еще капитан тот до моря доберется, когда вернется, да и вернется ли? Времени много пройдет. За такой срок неизвестно — где чиновник будет, где капитан случится? А просьбу уважил. Кто-то скажет:

— Человек нужный.

А это одно в деле чиновничьем немаловажно.

Да и, конечно, попросил Иван Ларионович не за так. А в российской-то державе, известно, мзда и камень дробит. А здесь сердце слабое, чиновничье. Разве устоять ему? Вот и стал Михаил Голиков — капитаном. Мундир ему на плечики красивый надели, но мундир надеть куда как легче, чем добрую голову на те же плечики поставить. Ну и покрасовался, конечно, в Иркутске Михаил Голиков. Погулял гоголем.

— Эй, ямщик, гони вскачь! Капитана везешь империи Российской.

Побегали и кони, и люди. Но главное другое: соглада-тай рядом с Григорием Ивановичем теперь был, и согла-датай зоркий. В чем, в чем, а в этом Михаил Голиков

успевал. Капитан он был никудышный, и Шелихов, это распознав, на «Три святителя» его взял, дабы вреда великого или глупости какой по незнанию морского дела не мог совершить. Измайлов здесь приглядит, да и на свой глаз надеялся. Но понимал Григорий Иванович, что рано или поздно быть драке между ними. До времени, однако, молчал, понимая и то, что нет хуже, ежели на море, в ватаге, начнутся нелады.

Морская жизнь особая и великой в команде требует крепости. Иначе худо. Примеров тому множество было. И людишек и корабликов от раздоров в ватагах погибло немало. Об том строго еще Никифор Акинфиевич Трапезников наказывал — а его-то «морским богом» называли.

Говаривал он так:

— В море слово молвить следует с оглядкой. Ненароком человека обидишь. От того большие беды могут произойти. Слово порой хуже дубины бьет.

Григорию Ивановичу наказ этот навсегда запал в память.

Двумя-тремя словами с Михаилом Голиковым перебросившись, Григорий Иванович в сторону отошел.

У борта ватажники рыбку по-ительменски ловили: крючком костяным с махонькой чурочкой, привязанной на бечеве. Крючок с наживкой свободно в воду опускался, но на глубину не шел — чурочка держала. А в верхнем слое, солнцем прогретом, рыбка держится хорошая. Та, что и сырой можно есть, солью только приправив чуть или клюквой моченой.

Сидели компанией на палубе теплой, благодушествовали под хорошим ветерком и говорили о разном. А рыбка — так, ради баловства.

Ветер бороды трепал. Волосы ворошил.

За главного у рыбаков был Степан.

— Присаживайся, — сказал он Григорию Ивановичу, — рыбка — сладость.

И, лицом потеплев, рыбку протянул, чашку с клюквой подставил.

Григорий Иванович присел рядом. Рыбки испробовал. И впрямь рыбка сладость была. Струганинке из осетра или тайменя не уступит.

— Воля, — рукой в море показал Степан, — прямо степи наши зауральские...

Глаза у него вспыхнули.

Мужики заулыбались:

— Ширь...

У мужиков лица темные. Шеи морщинами порезаны, как шрамами. Руки узласты.

— Воля,— выдохнул кто-то со вздохом.

И радость, и грусть, и боль, и стремление вечное человека к размаху, широте, свободе были в голосе том.

И все за борт посмотрели.

Разные лица. Худые, со скулами, туго обтянутыми кожей; крепкие, так, ничего себе, сытые; смуглые по-цыгански и светлые кожей. И глаза разные: и карие, и серые, и голубизны небесной. А смотрели вдаль одинаково. И видели, наверное, одно.

К вечеру небо на западе красным высветилось. И закат этот алый — волны как кровью залил. Даже паруса на галиотах покраснелись.

— К ветру большому,— глядя на закат, сказала Наталья Алексеевна. Всю жизнь на море прожила, знала приметы.

Но не только ветер обещал закат.

Измайлов глазом острым разглядел тучки малые у горизонта: легкие, летящие. А это говорило: ветер и впрямь посвежеет, но направлению его непременно меняться.

Тут же стоявшие мужички таежные подтвердили:

— Да, это так...

— С востока ветер зайдет...

Приметы не обманули. Ветер переменялся на восточный и вышел в полный левентик. Суда шли переменными галсами в бейдевинде. Команды измотались, с вант не сходя. Попробуй, полазай — поймешь, что оно такое морская жизнь. Канат — он как бритва. Одно только — бороду не бреет, а силы стрижет. Ох, стрижет...

Степан, на что сильный мужик, и то плечи опустил. Руки горели, канатами натерты до крови. А ему руки попортить трудно: на ладонях роговые мозоли, что копыта добрые. Знать, досталось мужику — раз до живого достало.

Ватажники ворчали в тот день:

— Спины разломило...

Парень, помоложе других, зубы белые скалил:

— Сейчас бы на печку. К бабе... Куда как уютно...

Степан на него глаз вскинул — знал: те, что ворчат, дело сделают, а вот этот — еще поглядеть надо.

Сказал кто-то белозубому зло:

— Замолчь!..

Но тот все шебаршил. Молодой, зеленый был, вперед все забежать хотелось.

Степан беззлобно белозубого парня по спине похлопал ладонью нелегкой:

— Эх, ты,— сказал,— жеребчик наш, жеребчик...

Все заулыбались. Жеребчик — слово-то больно хорошее для мужика, ласковое.

К островам Курильским подходили.

На горизонте из моря темные громады скал вырастали. Сперва затемнело что-то на волне. А потом все явственнее, явственнее и лбы встали гранитные. Волны у скал ярились, одетые пеной. Такой вот лоб поцелует кораблик, и навек успокоишься. На обломках гранит сверкал, как ножи острые. Тяжелое место было.

Появились чайки. Забились за кормой, заорали надрывно. Чертова птица чайка. Крик ее рвет душу.

К проливу подошли в полдень. Солнце как раз над головой поднялось: без блеску, а так — дыра рыжая в небе. Низким берегом показалась земля камчатская. Пихтарник чахлый, белые камни.

Мужики вокруг с опаской оглядывались:

— Здесь, братцы, чесаться забудешь...

Григорий Иванович увидел, как прет в пролив вода. Черная, страшная, дыбящаяся буграми. И волны низкие, без барашков, но злые, угластые, как алчные языки.

Воды немало повидал Шелихов, а такой — не приходилось.

Ангару видел свирепую. Лену в разливе. Немало других рек и речушек, что берега размывают, кедры валят могучие, камни ворочают. Над тайгой стон стоит, как река такая лед взломает. Но все это ни в какое сравнение с тем, что сейчас за бушпритом галиота разглядел, не шло.

Вода, до горизонта в буруны одетая, словно кипела. И оторопь брала от одного взгляда на нее. Галиот затрясло, как будто его подбрасывали снизу на ладони.

— Ну, черти,— надрывая глотку, заорал Измайлов,— команды выполнять мигом!

И слова крепкие пустил для бодрости. Весь подобрался, словно к прыжку готовясь. Шею угнул. Ватажников словами этими, как бичом, подстегнуло. Мужики по кораблику разбежались, шлепая лаптями.

Беда двойная мореходам здесь угрожала. Идти надо было ходом хорошим, так как при парусности малой и ходе небольшом течение быстрое кораблик вспять бы оборотило, а как идти-то поспешая, ежели узость великая в проливе? Того и гляди, разбежавшись, в скалы влепишь.

До низкого, полого спускающегося к морю берега камчатского оставалось рукой подать. И видно было уже, как вскипают в камнях у берега крутящиеся бешено воронки, как расшвыривает волна гальку. Вот-вот, казалось, галиот врежется в камни. Волна через борт плеснула, разом окатив палубу.

И тут бухнула, как пушечный выстрел, команда Измайлова: переложить паруса. И, вправду как черти, бросились выполнять ее ватажники. Понимали: от мгновения одного зависит жизнь каждого.

Замелькали натруженные руки, лица с разинутыми ртами, спутанные бороды, плечи дюжие, с буграми мышц, обозначившимися под армяками.

— Навались! Ну же, ну, ребята!

Судно крутнулось на волне, словно бы и на месте, и, взяв ветер, ударивший под острым углом в паруса, правым галсом понеслось в море. Камчатский берег за бортом только мелькнул и стал уходить, уходить назад.

Измайлов, сорвав шляпу, перекрестился широко и, до бровей насунув ее, глянул на команду: знай-де наших!

Не удержался, похвастался все же мужик. Фертом прошелся по палубе.

Ну да это в вину ему никто не поставил.

— Орел,— выдохнул восхищенно Степан,— орел...

Башкой лохматой крутнул.

И кто-то вдруг хохотнул радостно и облегченно. И все захохотали до слез, до хрипу. Гнул смех людей. Валил на бухты канатов. Не часто мужику посмеяться выходит, а посмеяться он хорош. Редко кто так посмеяться умеет, как мужик русский. Звонко, весело, от всего сердца. Голову закинув, за брюхо ухватившись и зубы все показав. И здесь уж мужик товарища и по плечу хлопнет, и по шее заедет так, что у иного еле-еле голова на плечах устоит. Но шлепки эти, и толчки, и подзатыльники — все нипочем, потому как душа веселится.

— Портки-то не обмочили? — крикнул мужичонка неказистый, давясь смехом. Бороденка у него прыгала, моталась по груди.

Смех гремел над палубой, объединяя всех общей радостью, только что всеми вместе одержанной, пусть малой, но победы.

— Это нас, ребята, Кильсей спас! Он пузом, пузом навалился!

— А ты, видать, гузном брал!

И опять захохотали. Заперхали, закашляли, давясь словами и смехом. И как будто не было только что пережитой грозной минуты, когда и у самых отчаянных замерло сердце.

Многое может человек, но во сто крат вырастают силы его, ежели рядом чувствует он плечо товарища, идущего с ним на одно, пусть даже и труднейшее дело. А может быть, и неодолим-то мужик оттого, что от веку товарищество ценилось и почиталось им превыше всего. И позора не было большего на Руси, чем позор измены.

Судно через пролив птицей летело, задорно бушприт вперед выставив. Эх, кораблик, птица легкая!

К острову курильскому, как и к земле камчатской, чуть не вплотную подвел галиот Измайлов. Но здесь, пожалуй, еще и пострашней было. Скалы черные на судно надвинулись, повиснув над головами. У бортов водовороты буграми вспухли. Страшно и подумать в такое бучило угодить. Завертит, закружит, сомнет, сломает, и все тут — конец.

И опять, как из пушки, бухнула команда капитана. С живостью необыкновенной ватажники паруса переложили, и галиот, уже левым галсом, из пролива рванулся в океан.

— Ну, Григорий Иванович, — сказал Измайлов, — счастлив наш бог. Не пропадем мы с такой командой.

— И ты не оплошал, — возразил Шелихов.

— А это уж как положено, — надул щеки Измайлов.

Серьезный мужик был, а петух... Петух! Ну да оно, может, и лучше, ежели человек гребень вскидывать может. А то все квелый, квелый — скушно. А так — алая на голове корона! Лестно ему, да и другим бодрее. Покрасуется человек сам на себя, другим покажет удаль свою — всем и жить легче.

Через полчаса галиот вышел на спокойную воду. Будто и не было страха и той дыры чертовой со стремниной сумасшедшей.

Выведя корабль из пролива, капитан положил его в дрейф. Ждали отставшие галиоты. Паруса, приведенные к ветру в левентик, хлопали над головами.. Команда спустилась в низы, только несшие вахту оставались на палубе да Измайлов с Шелиховым.

Солнце быстро клонилось к горизонту.

Григорий Иванович вглядывался в темные очертания скал, стараясь в их тени белые паруса разглядеть.

Но прошло и полчаса, и час, а ни «Святого Михаила»,

ни «Симеона и Анны» не было видно. Волна шлепала о борта, говорила о чем-то тревожно и никак договорить не могла.

Мысль беспокойная в сердце, как иглой, тыкала: «Что там у них? Не беда ли?»

Стуча каблуками ботфорт по палубе, Измайлов вдоль борта похаживал, заложив руки за спину. Покашливал в кулак хрипло, недовольно бормоча под нос.

При проходе пролива коварного немало случалось худого. И кораблик не один на дне здесь лежал. Душ людских погублено было множество.

И вдруг с мачты матрос крикнул звонко:

— Парус у острова!

Измайлов волчком на каблуках крутнулся. Бросился к борту.

Но тут уже и Шелихов на темном фоне скал увидел долгожданные паруса.

Галиот «Симеон и Анна» вышел из тени острова, и его паруса, в лучи стоящего над горизонтом солнца попав, вспыхнули нестерпимо ярко, как факелы. И все ближе и ближе подходил галиот, все выше и выше вырастая из волн.

Еще через час пролив прошел «Святой Михаил» и к флотилии присоединился.

## 6

Каюта была тесна, но все же уселись за стол — и Шелихов, и Голиков Михаил, и все три капитана галиотов. Наталья Алексеевна в чашки медные, китайские, разливала чай. Настоящий жулан лучшей доброты, вывезенный из Кяхты. От такого чая и до смерти уставший человек поднимался как встрепанный.

Лица у собравшихся скучные. Сидели давно, но договориться не могли. А разговор такой кого веселит? За разговором, известно, и ночь просидеть можно, но зачем? Долгой она покажется. А долгая ночь кому нужна? Разве что молодому мужу с молодой женой, да и то лишь сразу после свадьбы... А так — что уж?

Над головами сидевших дырчатый жестяной фонарь светил. Скучный свет освещал стол, покрытые оленьими шкурами рундуки вдоль бортов. На одном из рундуков полулежал крупный человек с седой бородой, с густыми бровями над глазами, горящими лихорадкой, — Константин Алексеевич Самойлов. Старый портовик, все понимающий.



Третий день Самойлова ломала болезнь, много лет назад поразившая его у мунгалов в южных степях. Жар поднялся. Трясло Самойлова так, что зубы стучали, но сейчас вроде бы полегчало. И все же лицо его — тяжелое, изрезанное глубокими морщинами, — выдавало немощ особой печатью, всегда лежащей на лицах давно и сильно больных людей.

Капитан «Трех святителей» Измайлов — лысый, с висящими по углам рта длинными усами, дожевав кусок вяленой оленины и вытерев пальцы о камзол, подвинул чашку с чаем.

Чай пили не спеша, по-сибирски. Чай — напиток, за которым думается лучше, и оттого здесь не торопятся опорожнить чашку. А жулан и вправду был хорош. Настаивался он до цвета багряного, и когда разливали его по чашкам, казалось, не чай, но драгоценное вино льется. Так глубок был цвет. Более же цвета поражал в жулане аромат. Сильно,пряно пахнут цветы садовые. И есть среди них такие, запах которых кружит голову, дурманит, пьянит. Совсем иной запах у лесных цветов. В нем нет той силы, но тонкий аромат их всегда бодрит, освежает и запоминается навсегда хотя бы только раз вдохнувшему их благоухание.

Так и с чаем. Есть чай с запахами терпкими, сладкими, острыми, но жулан, не обладая ни одним из этих ароматов в отдельности, все их разом объединял и благоухал нежно и тонко, как лесной цветок. И, так же как лесной цветок, не пьянил и не дурманил, но освежал и придавал силу.

Наталья Алексеевна знала эти качества жулана и оттого к разговору трудному его и подала на стол. «Устали мужики, — считала, — пускай жулан их подкрепит».

— Думай не думай, но раз Курильский пролив миновали, торопиться надо к островам Алеутским, — напористо говорил Михаил Голиков, беспокойно поглядывая юркими глазами, — непременно торопиться.

Брякнул чашкой о стол.

Племянник Ивана Ларионовича из тех людей был, что всегда на своем хотят настоять. Есть такие — ты ему кол на голове теши, а он все одно: туман-де на дворе... И роса... Поди докажи, что там ведро и солнце в зените. И видит такой, что прет-то поперек, хотя здесь и вдоль не пройти, а ему едино — давай поперек.

Самойлов с рундука на него взглянул, но промолчал. Посчитал, видно, что время не пришло сказать слово.

Взгляд его, однако, потяжелел. Видно было — не нравился ему разговор.

Измайлов, отхлебывая глоточками маленькими, как в горнице в час добрый, а не на кораблике в опасном океане, сказал голосом мягким:

— Ну и жулан. Добёр. И ты, Наталья Алексеевна, мастерица заваривать... Уважила...

Морщинки у глаз его разошлись от удовольствия. Рад был чаю. Или хитрил: мол, чай меня только и беспокоит, а до остального и дела нет... Горячий был мужик капитан, но хитер и в разговоре нетороплив.

Помолчали. Измайлов, еще пару глоточков прихлебнув, продолжил:

— Ветер, ежели на Алеуты идти,— противный нам, трудненько будет. Людей изведем. Измотаем вконец.

И вновь прихлебнул чайку с видимым удовольствием.

— А как идти? — наступал Михаил Голиков.

Измайлов ему кивнул, сломав бровь:

— Ты чай, чай пей. Остынет. Да и сам охолонь. Пущай вон Константин Алексеевич скажет. Он нам с тобой не чета, по океану многожды ходил, но молчит. А его слово золото.

Михаил живо обернулся к Самойлову, но тот и сейчас промолчал.

— Да, ветер непопутный на Алеуты,— сказал капитан «Симеона и Анны» Дмитрий Иванович Бочаров.

И Олесов, капитан «Святого Михаила», согласно с ним головой покивал.

Оба волной трепаны были и по морю предостаточно походили.

Сидели они рядом и за весь вечер по несколько слов-то и промолвили.

Бочаров был высокий и, чувствовалось, славный человек с решительным и открытым лицом, которое, казалось, говорило: прикажут — пройду и через чертов огонь. Силы на то хватит.

Олесов не выглядывал столь решительным и определенным человеком, а скорее был из тех мягких людей, которые добросовестно выполняют свою работу, но не совершают необыкновенных поступков. А ежели и приходится им рисковать собой и проявлять мужество и смелость, то и в этом случае сделанное считают обычным.

Наталья Алексеевна, в который уже раз, компанию чаем обнесла.

Голиков усмехнулся недобро, оглядывая сидящих в каю-

те наглыми и в то же время испуганными глазами. Так зверь лесной, под плаху попавший, на охотника смотрит. И страшно-то ему — вон у охотника ручищи какие, сейчас шею свернет — а все же зверек зубы скалит, слюной брызжет от зла.

— Мы,— сказал,— бобров бить вышли да зверя другого морского... Компаньоны-то по головке не поглядят за проволочку...

Хмыкнул зло, скосоротясь. Племянник все же был хозяйский и силу свою чувствовал. Да и помнил наказ Ивана Ларионовича: «Ты поглядывай там. Наш интерес блюди».

— А ты, Миша,— сказал вдруг Самойлов с рундука,— не гони вскачь: что потом делать будем, ежели сразу в карьер? Компаньоны компаньонами, а зверя-то с умом бить надо. Бобр дорог, но и жизни людские не пустяки. Да и шкура бобровая тогда хороша, когда ее не только добудут, но на торг привезут в целостности. Так-то, милок...

Олесов шуршащую карту достал и расстелил на столе. Ладонями разгладил. Фонарь с крюка сняли, на стол поставили. Повеселее вроде стало. Головы склонились над столом.

Карта старая. На полях приписки разными почерками и чернилами разными. Были и такие, что едва видны: давно сделаны. Может, людьми, которых и в живых-то нет. Здесь все беды капитанские: где и какие течения встретили, какие рифы заметили, приметы верные слышали, привязанные к местам. По карте, как по Библии, целые жизни прочесть можно.

Корявым пальцем Измайлов водил по карте:

— Вот Алеуты. А ветер сейчас — вот какой. Курсом бейдевинд идти надо. А лавировкой сколько миль намотаем лишних? — Обвел глазами сидящих за столом. — А не дай бог — шторм? — Прищурился.

— Пуглив ты что-то стал очень,— усмехнулся Михаил. Измайлов окрысился на него:

— Не пуглив я, но башка у меня на плечах пока есть.

Благодушествовал, благодушествовал, а вот не сдержался. Шея у него надулась жилами. И быть бы большому лаю, но Шелихов, взглянув внимательно в лицо Михаилу Голикову — с желанием понять, что думает и чувствует сейчас этот человек,— брови к переносью сбил и сказал властно:

— Хватит, уймись.

Отвел глаза от Голикова. И видно было, что он понял все, стоящее за возражениями племянника Ивана Ларионовича.

Замолчали, только сопели, насупясь. Невесело получилось. Ох, невесело. Не такого совета хотел Шелихов. Да на том вся жизнь строится: хочешь одного, а выходит другое.

— Думаю так,— начал Самойлов, шкуру, прикрывавшую его, отбросив и ноги спустив с рундука,— к острову Беринга идти надо. Там осмотримся и определимся по погоде и ветру.

Все слушали со вниманием. Но только, коротко мнение свое сказав, Константин Алексеевич вновь замолчал.

Голиков глазами посверкивал. Ворот рубахи дергал нервной рукой. Знать, кипело в нем. Снести не мог, что слова его не считают первыми.

Олесов вперед посунулся, и все заметили, что он свое сказать хочет.

— Ну, ну,— подбодрил Шелихов,— говори.

Олесов начал несмело:

— Да, вот,— и споткнулся. Скромный был мужик и чувствовал, что не он здесь хозяин и даже не он племянник хозяина. Но все же должным посчитал высказать свое. Откашлявшись в кулак, продолжил: — Как сюда шли, мужики сильно выматывались. Ватага у нас хорошая — ничего не скажешь. Но мужики в лямку морскую еще не втянулись. Руки многие побили. На ванты лезут и кровью же их пятнят... Вот как... — И уже уверенно сказал: — С противным ветром сейчас нам не уйти далеко.

В разговор встряла Наталья Алексеевна:

— Вот, вот, остров Беринга, что Константин Алексеевич упомянул. Еще дед мой — Никита Акинфиевич — упокой господи душу его — говорил, что многожды на острову том ватажники отсиживались, набираясь сил, прежде чем идти к матерой земле Америке.

Неторопливо молвила, веско, как поморка истинная, и имя деда упомянула почтительно. Баба, а резон в словах ее был.

— Это верно,— сказал Самойлов.

— Так, так,— закивал головой Измайлов,— истина.

— Все,— сказал Шелихов,— совету конец. К острову Беринга идем всей флотилией. Там оглядимся. А перед компаньонами,— он взглянул на Михаила Голикова,— я отвечаю.

Голиков губу закусил. Не знал он, какая сила за Гри-

горием Ивановичем стояла, и не понимал, что не ему скалу эту своротить. Да вряд ли и кто другой своротил бы ее. За плечами Шелихова года вынашиваемой мечты стояли. И болью, и потерями, и трудами великими вымощена была его дорога, и свернуть его с нее невозможно не только слабому и честолюбивому Михаилу Голикову, но и сильному и властному дядьке его Ивану Ларионовичу Голикову, равно как и хитрому и дотошному Ивану Андреевичу Лебедеву-Ласточкину или еще кому и посильнее их. А бояться людей или чего другого страшного Шелихов давно забыл.

Как-то в Иркутске шел вечером по улице. Снег под сапогами хрустел. Думал о своем. Над головой в небе морозном звезды дрожали. Хорошо думалось. Легко. Неожиданно из-за угла человек десять выбежало. В распахнутых шубах, расхристанные. Пьяные до беспамятства. Варнаки, видать, золотишко не поделив, догоняли кого-то с дрекольем.

Передний дубину над головой вскинул.

— Э-э-х,— вырвался из глотки его даже не крик, а вой звериный. Глаза белые, безумные. Увидел Григория Ивановича и кинулся к нему. Дрогнул в то мгновение Шелихов хоть на волосок — все кончилось бы. Но Григорий Иванович только глянул на него, а и шаг не сменил. Как шел, так и шел. И веко у него не моргнуло.

— Не тот, инший,— крикнул набежавший следом варнак.

Толпа бросилась дальше по улице.

Шелихов понял: сейчас мимо смерть пробежала.

Нет! Испугать его было нельзя.

Чай допили молча и разом поднялись от стола.

Простучав каблуками по трапу, капитаны вышли на палубу. Поднялись наверх и Шелихов с Самойловым.

Тихая ночь стояла над морем. Небо звездами высвечено. Полная луна висела над горизонтом. Чуть в стороне от нее две звезды ярких, как два сияющих глаза. Смотрят внимательно: эко вы там, люди, дерзость-то в вас еще есть?

От луны море играло бликами.

У борта галиота малые байдары на волнах качались. Из байдар голоса были слышны. Мужики о чем-то негромко говорили.

— Ну,— сказал Шелихов,— с богом.

Крепко руки пожал и Бочарову и Олесову.

С борта спустили веревочный трап. Первым через борт, царапнув его ботфортом, полез Бочаров. За ним — Олесов. Уже за борт спустившись по грудь, покивал головой оставшимся на палубе.

Ни ему, ни Шелихову с товарищами неведомо было, что увидеться им доведется не скоро... Ох, не скоро! Да оно, может, и хорошо, что будущее для человека закрыто. Кто знает, как бы жил человек, ежели бы ему все, что впереди,— было ведомо. Достало бы у него сил для жизни такой?

По воде зашлепали весла. Байдары ушли в море, к темневшим поодаль на волнах галиотам.

Шелихов, взявшись за влажные ванты, смотрел вслед байдарам. Вода, срываясь с гребущих весел, вспыхивала в лунном свете текучим жемчугом.

— Не нравится мне ночь,— сказал штурман Самойлов, покашливая,— не нравится.

— Тихо вроде бы,— глухо ответил капитан Измайлов.

— Да вот то-то и не нравится, что очень уж тихо.

«Дзынь!» — ударил колокол на «Симеоне и Анне».

«Дзынь!» — тут же звонко откликнулся «Святой Михаил».

И густо, басовито ударил колокол «Трех святителей»: «Дзынь! Дзынь!»

— Идите,— сказал Измайлов,— спите. А мне вахта капитанская, собачья, до рассвета.

И поплотнее стянул на груди тулупчик.

С моря тянуло сырым и знобким ветром.

7

Шелихов проснулся от великого шума и топота ног над головой. Не понимая еще, что к чему,— за сапогами сунулся. Но кораблик вдруг так качнуло, что он головой вперед слетел с рундука. Как бык рогами — лбом в переборку въехал.

— Гриша, что это? — тревожно в темноте Наталья Алексеевна вскрикнула.

— Молчи,— ответил Шелихов, шаря руками у рундука,— лежи пока.

Сапоги наконец отыскались. Бормоча сквозь расшибленные о переборку в кровь губы крепкие слова, Шелихов кое-как сапоги натянул и кинулся прочь из каюты. Услышал: скрипит кораблик, шуршит, шпангоутами опасно потрескивает.

Когда по трапу взбегал, галиот вновь качнуло сильно, но Шелихов все же удержался на ногах. Вылетел на палубу пулей.

«Ну, началось,— подумал,— вот и началось».

По лицу хлестнуло ветром. Тут же Григорий Иванович

увидел необычно зеленое море, стремительно летящие барашки волн и вдали галиот «Святой Михаил». На вантах галиота люди висели, убирая паруса.

По уходившей из-под ног палубе Григорий Иванович до Измайлова добежал. На мокром лице того усы висели сосульками, но глаза ничего были — бойкие. Страху в них не чувствовалось.

— Шквал,— крикнул он Шелихову,— сейчас еще ударит!

Паруса на гроте и фоке «Трех святителей» были зарифлены, и только прямые паруса на бушприте, вынесенные вперед, пузырями вздувшись, держали судно носом к волне.

В вантах свистел ветер.

— Шторм идет,— пересиливая голосом свист, прокричал Измайлов. И тут же, к мужикам оборотившись, заорал: — Черти драные, крепить все на палубе! Люки задраивать! Леера тянуть!

А мужики и так как оглашенные суетились.

Ветер сдирал с плеч Измайлова тулупчик. Полы за спиной у капитана, как крылья, бились.

Шелихов огляделся.

Галиоты «Святой Михаил» и «Симеон и Анна» под сильным ветром на север уходили. «Святой Михаил» шел с большим креном на левый борт. На галиоте «Симеон и Анна» с фок-мачты сорвало брамсели, и паруса бились на реях изорванными лоскутами.

Море было изумрудно-зеленым и словно горело, как ежели бы его снизу костер неведомый освещал. По волнам метались пенные полосы. Извивались змеями.

Новый шквал — с грохотом и воем — обрушился на «Три святителя».

Сбитый волной с ног, через палубу пролетел ватажник и, сильно ударившись плечом о колонку рулевого колеса, скорчился у ног Шелихова.

Григорий Иванович живо к нему наклонился и, под руку подхватив, повернул лицом к себе. Это был Степан. Черную повязку, лоб его прикрывавшую, сорвало, и Шелихов увидел багровый шрам клейма. Но сейчас было не до этого чертова знака, железом каленым на лбу выжженного у казака. Все лицо у Степана было кровью залито. Шелихов выхватил из кармана тряпицу, но новая волна, хлестнув через борт, потащила их обоих по палубе. И быть бы Степану в море, не удержи его Григорий Иванович у фальшборта, за которым неистовствовали волны.

Галиот на попу подняло, но он все же перевалил через вал и, ухнув обнаженным днищем, покатился вниз.

Шелихов с трудом поднял тяжеленного Степана, безвольно повиснувшего на руках, и, шатаясь, понес к трапу, ведущему к трюму кораблика.

На трапе споткнулся и уронил бы обеспамятевшего казачка, но к Шелихову навстречу кинулась Наталья Алексеевна. Помогла удержать Степана, снести в каюту.

Шелихов замешкался: куда бы положить молодца? Хотел было на стол, но подумал — примета плохая, да и сбросит при качке. Положил на рундук. Крикнул Наталье Алексеевне:

— Досмотри!

И вновь на палубу бросился.

Шторм во всю силу разбушевался. Волны захлестывали палубу. Галиотов «Святой Михаил» и «Симеон и Анна» не было видно. Да и где их увидеть? Волны ходили выше мачт. Вода не успевала в шпигаты сбегать. Шипела, пенилась, билась.

Несмолкающий гул, грохот и вой стояли над морем.

Галиот, как сани с горы — когда уже и кони не держат, да и ямщик вожжи потерял, — с гребней валов в пропасти разверзающиеся летал. Мотался из стороны в сторону. Какое-нибудь суденышко поплосе давно бы перевернулось. Знать, устюжане кораблик хорошо сработали, раз он держался и на такой бешеной волне.

Шторм набирал все большую и большую силу. Вода светлела, наливаясь пугающим свечением — как будто в костер, под морем горевший, кто-то неведомый, злой, яростный, задавшийся целью сломить, раскидать, разломать всенепременно кораблики, подбрасывал все новые и новые полешки.

Ветер, казалось, кричал:

— Ну, я вам... Ерои...

Измайлов приказал себя накрепко привязать к мачте. Валило его волной несколько раз, и он сильно расшибся о борт.

Пошел дождь. И тут же по палубе застучали, запрыгали градины изрядные, в яйцо голубиное. Били людей пребольно. Градом палубу завалило, и по ней, как по льду, катались ватажники. Редко по здешним местам бывало, чтобы в начале сентября да град. На их долю суровую как раз пришлось.

Особо ярый вал байдару сорвал с палубы. Байдарой той одному ватажнику голову повредило, другому вышиб-



ло плечо. Байдару закрутило на волнах, как щепку, и унесло.

Зашибленных поволокли в низы. И тут Григорий Иванович увидел, как из люка лезет Степан на палубу. Видать, очухался мужик и в стороне от ватаги, бьющейся со штормом, стоять не захотел.

Вылез и, раскорячившись, приседая, побежал к месту своему у фок-мачты, за леер держась. Глаза у него — заметил Григорий Иванович — от зла были белыми.

Новый вал налетел, и Шелихову уже не до Степана стало.

Измайлов голосом сорванным засипел:

— Право руля!

Шелихов оборотился к рулевому. Тот грудью на рукоятях колеса лежал, хрипел от натуги, а руль переложить сил не хватало. Шелихов метнулся к нему и навалился на рукояти.

— Вправо, — сипел Измайлов, рвясь из веревок.

Шелихов налег из последних сил. Губы закусил. В спине что-то хрустнуло. Колесо подалось. Галиот к волне носом развернулся...

С той минуты Шелихов не ощущал, идет ли или остановилось вовсе время, но команды Измайлова выполнял исправно, то и дело вытирая крепко рукавом глаза, забиваемые градом, дождем да соленой до горечи заборточной водой.

Когда шторм пролетел, Шелихов не заметил, только колесо рулевое вдруг стало податливее, да и лицо больше не било градом.

На носу галиота неумолчно звонил колокол.

— Туман, — сказал Измайлов, — видишь, Григорий Иванович? Туман...

Капитан стоял рядом. Шелихов через силу от колеса отвалился. Увидел — с востока стеной полз белый клубящийся туман, закрывая и море, и темнеющее небо.

Колокол все бил и бил, как гвозди в голову вколачивая. Смолк внезапно.

Измайлов шею вытянул, словно на плаху кладя. Лицо у него застыло.

Так постояли с минуту.

— Нет ответа, — вновь обернувшись к Шелихову, сказал капитан.

И только тогда Григорий Иванович понял, что шторм прошел, но они потеряли «Симеона и Анну» и «Святого Михаила». На колокольный бой галиоты не отвечали.

«Как же так, как же так,—тревожно пронеслось в голове,—отнесло их али погибли?»

Григорий Иванович с трудом разлепил губы:

— Смолу надо зажечь и из пушки ударить. Авось услышат или огонь различат.

Он не хотел верить, что суда погибли или отнесены далеко, и убеждал себя, что пушечный бой они услышат наверное.

А туман уже на судно лег. Сначала верхушки мачт закрыло белой, кипящей пеленой, затем утонули в тумане борта, и наконец, руку вперед протянув, Шелихов и пальцев не различил своих.

— А? Герасим Алексеевич,—сказал, едва ворочая стянутыми солью губами, Шелихов,—что же ты медлишь?

Колокол все бил, но звук его доходил как сквозь ткань плотную, китайскую дабу.

Туман такой, плотности необычной, что человека и возле не разглядишь, моряки называли «белой шубой». Шел он за штормом, рождаясь на перепаде температур. И ежели судно попадало в туман этот, капитаны ход останавливали, отстаиваясь на волне и надеясь только на случай.

Измайлов распорядился паруса убрать. Судно ход сбросило.

В бочонке принесли смолу. Запалили. Но смола горела плохо. Шипела, брызгалась, дымила. Огонь едва был виден, словно пламя свечи, зажженной в бане: язычок чадит, потрескивает, плавится в ореоле радужном, а света от него нет.

Брызги горячей смолы на палубу мокрую падали, и мужики их давили лаптями.

Из пушки ударили и раз и другой, но звук гас. Галиоты знать о себе не давали.

Все же Шелихов приказал пламя держать и бодрить всячески. Упорен был в надежде. Море за бортом колыхалось безмолвно. С мачт капало, и капли о палубу шлепали, как ежели бы кто-то босой бегал: то тут объявится, то там, то в третьем месте услышат его. Потом капель по-иному застучала: редко, но тяжело — как солдат ходит, впечатывая каблуки:

«Бум! Бум! Бум!»

Но и этот звук смолк. И уши, настороженные ответные корабельные звоны услышать, словно наглухо тряпицей заткнули.

Туман, туман клубился над морем.

Степан дырявые лапти ковырял пальцем. Лапти никуда не годились. Рвань. Выбросить только и осталось.

Рядом мужик голый плясал у костра. Тело синее. Замерз гораздо. Лез в огонь.

— Смотри, Тимофей, зад поджаришь,— сказал Степан.

— Ничего,— сквозь зубы стиснутые ответил мужик,— зазяб больно. Вода-то лед...

И опять заплясал.

Степан от ремня поясного отрезал узенькую полоску, помял в руках, подергал. Лапти снял и, с сомнением повертев перед глазами, начал умело и ловко вплетать ремешок в лыко.

Мужик голый все у огня плясал. Гнулся, поясницу тер ладонями крепко,— видно, спину боялся застудить. Спина-то для мужика нужна здоровая. На нее одна надежда. С ломаной спиной худо.

В ночь злопамятную, когда в туман попали, кое-как все же отстоялись. Синяки и шишки, в шторм набитые, обгладили да обмяли. Утром туман сошел. Потянуло ветром, и галиот понемногу, понемногу к северу потянулся. А кораблики, ночью потерянные, так и не объявились. Море не роща под деревней, где каждое деревцо знакомо,— не доаукаешься. Стреляли из пушки, стреляли, в колокол били — в ответ молчание. Только волны шумят.

— Все одно,— сказал Шелихов,— идем к острову Беринга. Даст бог, и они придут.

Подняли паруса. До острова дошли благополучно. Но здесь приключилась беда. Уже в бухточку входя, на камень напоролись. В ясный-то день. Но кто эту бухточку знал? Камень под водой был. Его разве чертовым глазом разглядишь. Спасло то, что ход у галиота был невелик. Ткнулись только почитай в камень и ниже ватерлинии, у носа, попортили две плахи. Течи, однако, не было. Но плахи все же менять надо. С такой порчей в море не пойдешь.

Галиот в бухту завели, облегли, часть груза на берег сняв, и треснувшие плахи обнажили.

Невесело так-то дошли. Но все же дошли. Вот он берег-то. Рядом. А ноге на земле всегда веселее. Оно хоть и драным лаптем, а приклепнуть можно. Шлеп, шлеп — глядишь, и пляска вышла.

Шелихов десятерых на берег послал, сыскать лес подходящий. На отмелях пловуна много. Но пловун пловуну рознь. Лежит ствол на гальке и могуч вроде бы и кре-

пок, а тронешь — гнилой. Неизвестно, сколько лет его по морю носило, прежде чем сюда, на остров, занесло. На волнах качаясь, истлел.

Повозятся, повозятся мужички вот с такой находкой, да и дальше идут. Плюнут только. Другой ствол найдут — тоже не годится. Вымок. Его, прежде чем в дело пустить, год сушить надо.

И опять по берегу бредут мужички.

Но лес все же нашли. Однако далеко, на дальнем конце острова. Связали стволы да три дня перли на лямках. Спины гнули, глаза тарашили от натуги. Но к бухте, где галиот стоял, доставили. Наломались, а были довольны. Лес тот, что надо.

Устюжане козлы поставили, стволы на плахи развалили и начали латать галиот. Ну, в воде, конечно, накупались. Не тащить же галиот на берег. Эко, какая громадина! На то сил и времени много надо.

Мужик, голым у костра плясавший, Тимофей, — самый и был закоперщик нырять в воду. Сейчас стучал зубами. Продрог до пуповой жилы. Ну да мужику русскому зубами лязгать дело привычное. Он почитай от рождения ходит в гусиной коже.

— Прикройся тряпками, — шикнул на мужика Степан, — хозяйка идет.

Тимофей торопливо набросил армяк. Сел, ноги голые под себя поджал.

Подошла Наталья Алексеевна. В руках скляночка. Сказала:

— На, выпей, здоровья для.

Строга была к бесовскому напитку. Даже скляночку отдав, пошла и ополоснула руки в море.

Мужик перекрестился — тоже веры старой был человек — и скляночку опорожнил. Вытерся рукавом и запрыгал. Колотун его бил. Но в лице все же появилась краска. Ожил.

Степан сушняка подбросил в костер, искры взвились. Сказал:

— Ты и впрямь на угольки задом садись. Веселее будет.

Мужик не ответил. Только сжал губы. Не до смеха было ему.

Григорий Иванович видел, как Наталья Алексеевна к мужикам подошла, как скляночку передала. Вина не одобрял, а здесь сам послал:

— Пойди дай мужику. Гляди, еще остынет.

Берег людей. Как у острова стали, перво-наперво послал

троих собирать луковицы сараны и колбу. Первое средство от цинги были и колба эта и сарана. Медвежий лук. А от цинги и на острове этом да и по всем северным местам немало людей полегло. Цинга — страшная болезнь. Подбирается незаметно, а, глядишь, человек ослаб и даже малую вещицу не держит в руках. На ходу спит. Глаза стоялые. Потом на ногах черные отметины появляются. Это уж совсем худо. Жизни приходит конец.

Здесь на острове — знал Шелихов — могила капитана Беринга. От цинги проклятой капитан сей славный погиб. Да и не он только, а почитай вся его ватага. Вот сарана и колба-то от болезни этой спасали. Но они были не по всем островам. На матерой земле — в Охотске, в Иркутске — косой коси, а на островах еще надо найти.

— Непременно розыщите, ребята, — сказал, — землю носом ройте, а розыщите.

Но не только цинга заботила Шелихова. Шла вторая половина сентября. Лучшее время уходило для дальнего похода к берегам Америки. А все было неизвестно — где же отставшие галиоты? Как неизвестно было и то — целы ли они или вовсе погибли в шторм? Ждать надо. А сколько ждать? Дни золотые проходили. Лист желтый стелющихся по камню талины, ольхи и рябинника уже давно на земле лежал, трава жухла и паутина над островом летела — последний знак ушедшей осени.

По ночам Григорий Иванович велел на берегу костры жечь. Благо, пlyingна море на гальку прибрежную нанесло достаточно. Костры пылали по всем ночам, вздымая высоко пламя, но на море, сколько ни всматривались ватажники, не было парусов заветных. Только белые барашки волн да чайки крикливые.

— Однако, — говорили мужики, — знать, далеконоько их штормом угнало.

— А может, братцы, и в живых-то их нет...

— Молчи...

А погода стояла самая что ни на есть лучшая. Ветер ровный и солнце. Так бы и отдал приказ к отплытию. Команда та прямо из горла рвалась. Но нет!

— Ждать, — говорил Григорий Иванович, убеждая себя и других, — придут галиоты. Обязательно придут.

И все чаще и чаще взглядывали люди на море. Несет мужик бревнышко или плаху, остановится, ладонь козырьком над глазами поставит и смотрит, смотрит. А на море все то же: волны под солнцем да чайки. Прищурится мужик, руку опустит. А у рта складки горькие. Пойдет

дальше. Глядишь, второй остановился и тоже на море смотрит. Глаза скучные.

Ждать-то всегда трудно. А ждать вот так на острове, в океане заброшенном, тяжелее во много крат.

Сомнение все больше и больше царапало души.

Устюжане между тем дело свое сделали. Плахи треснувшие заменили и так место порченное залатали и засмолили, что и не отыскать. Да и не только плахи поставили, но и многое другое, побитое в шторм, починили. Байдару новую взамен смытой соорудили. Галиот был готов к походу. Как новый, стоял на воде. Тени от мачт на волне плясали, рвались вперед, но кораблик был на якоре.

В один из дней к Шелихову пришел старший из устюжан. Потоптался в дверях каюты, теребя шапку в руках, похмыкал в бороду. На приглашение Григория Ивановича прошел вперед и сел на рундук.

Старший из устюжан на слова был неспешен, да и Шелихов его не гнал.

Мужик носом пошмыгал, поглядел с любопытством вокруг, как будто бы и не его рук дело каюта эта была, наконец сказал:

— Григорий Иванович, вот как разумею я. Сели-то мы здесь на острове надолго, видать? — Взглянул на Шелихова пытливо. — До весны? А? Или как?

Шелихов посмотрел на мужика, подумал: «Такой попусту слова не сболтнет, ежели и самые мои тайные думы узнает».

Пересел поближе, хлопнул по коленке:

— Ты, Устин,— сказал,— не тяни, говори, с чем пришел.

— Так, так,— помялся Устин,— значит, точно — до весны сели.— Опять в бороду похмыкал, собрал морщины на лбу.— Ну, что ж... Я так и знал... Ватажники, конечно, недовольны будут. Зиму здесь непросто просидеть. Да еще по весне дальше идти. Туда-сюда, а в случае и лучшем раньше чем через полтора годика к домам своим не приедемся...— За бороду всей пятерней взялся.— Да...

— Ты подожди гадать,— сказал Шелихов,— когда уйдем да когда придем. Говори, что у тебя?

— Да что у меня-то,— задумался Устин,— раз на зиму садимся, кораблик надо из воды вытянуть. На берег поставить. Зима придет — льдом его, как орех, раздавит. Разумеешь?

Посмотрел внимательно на Шелихова. И видно было — озабочен мужик и болеет за дело.

Григорий Иванович ждал, что устюжанин дальше скажет.

— Я бы разговор этот не начал,— продолжил Устин обстоятельно,— но мухи снежные полетели вчера поутру. Значит, и до холодов недолго. Сорок дней, старые люди говорили, от первых мух снежных до крепкого снега. А сорок дней быстро пройдут.

— Так,— протянул Шелихов,— ну и что же?

— А то, что людишек надобно на остров гнать. Лес добыть. Салазки приготовить для судна. Ворот смастерить добрый. Все это время требует. Место надо подыскать надежное, куда галиот вытягивать. Так надо кораблик поставить, чтобы от ветра укрытие было. Мало ли что бывает? Бурей завалит, тогда тяжело его на воду спускать по весне придется. А то и вовсе не спустишь. Понял?

Глянул на Шелихова в упор.

— Понял,— помедлив, ответил Григорий Иванович,— но, может, погодим? Народ всполошим, а тут галиоты придут...

— Нет,— возразил Устин. Усмехнулся.— Одна годила, да в поле родила. Когда еще галиоты придут — неведомо. Надо дело делать, Григорий Иванович. Поздно будет. Лес еще найти да притащить надобно. Самое время людей посылать.— Устин поднялся.— Ну, Григорий Иванович, я объяснил, а ты решай, как сам знаешь.

Вышел из каюты. Видно было, что не хотелось ему говорить все это, но высказался. Считал, что только так и нужно. Предостеречь думал.

И как ни противился Шелихов, а согласился: «Прав, прав Устин».

В тот же день зазвал в каюту Измайлова, Самойлова, Устина, Голикова, Степана да еще пяток ватажников из тех, что побашковитее. Обсказал Устиновы соображения и свое мнение высказал.

Говорил и на мужиков поглядывал, понимал — большой груз должны они на себя взять, согласившись на зимовку на острове. Это только глупый сказать может: зимовать так зимовать, что уж там. А человек знающий понимает: неведомо еще, кто зимовку ту переживет. Но понимал Шелихов и то, что уходить нельзя, не дождавшись отставших галиотов.

— Прав Устин,— сказал твердо,— прав.

— Прав,— сказали и Самойлов с Измайловым.— Ватаге надо объявлять: зимуем здесь.

Михаил Голиков забил хвостом:

— Как зимуем? А Иван Ларионович что скажет? Он нас в будущем году назад ждет. А так когда мы вернемся?

Оскалился сразу же, словно укусить собрался. Взъерошился.

— А ты не гадай, когда вернемся,— сказал Самойлов.— Проси бога, чтобы вернулись только.— Головой покачал.— Загад не бывает богат.

Посмотрел на Голикова из-под седых бровей. Взгляд одно сказал: «Прыток больно. Погодь. Пускай другие скажут».

— Нет,— настаивал Голиков,— я не согласен на зимовку.

— Плыви тогда,— сказал Измайлов,— проси Григория Ивановича. Он, думаю, байдару тебе даст и в провианте не откажет.

Устин было начал резоны Михаилу Голикову приводить, но тот махнул на него рукой:

— Ты помолчи! Твое дело — десятое.

Устин поджал губы. Заерзал на рундуке:

— Ежели так разговор вести, оно и верно, десятое... Смутился.

— Пошто мужика обижаешь,— сказал Самойлов.— Он дело понимает.— Устюжанину на плечо руку положил.— А ты не робей,— сказал,— не робей.

Дальше — больше, и мужики не на шутку сцепились. Слова нашли крепкие. Но слова какие ни говорили, а выходило — надо оставаться на зимовку.

— Чего уж,— сказал один,— знать, так выпало нам. Остаться надо.

— Да, оставаться,— другой его поддержал.

И все согласились:

— Зимовать будем здесь. Даст бог, придут галиоты.

Голиков шапку на стол швырнул, ушел из каюты. Зло застучал по трапу.

— Стой,— сказал Шелихов, и возле рта морщины у него обозначились, как ножом резанные.— Вернись!

Голиков, слышно было, на трапе остановился. Потоптался. Заглянул в каюту:

— Звал?

— Сядь,— сказал Шелихов, да так, что Михаил молча сел. Не поднимал голоса раньше Григорий Иванович, а тут жестко слова у него зазвучали:

— Вот что тебе скажу,— кулак на стол положил.— Я во главе ватаги поставлен, и мне распоряжаться здесь.





И за людей я первый ответчик, а ты нишкни! Ватага говорит: зимовать будем, и я приказ отдаю — зимовать!

Поговорим в Иркутске, начал было Голиков, но Григорий Иванович прервал.

До Иркутска еще дойти надо. А тебе, ежели попереки дела становиться будешь, найдем укорот

Твердо сказал, как прирожденный вожак. Тут уж не возражишь.

Голиков понял: этот и впрямь найдет укорот. И замолчал. Голову спрятал в воротник шубейки. Посунулся к борту.

— Сегодня же и объявим ватаге о зимовке, — сказал Григорий Иванович, — и людей пошлем за лесом.

Но тут по палубе шаги застучали. Быстрые, торопливые. По трапу кто-то кубарем скатился. В дверях каюты встал Степан:

— Парус на море! Парус, Григорий Иванович.

Все кинулись вон.

С востока шло к острову судно. Шло под всеми парусами, даже брамсели стояли.

Григорий Иванович глянул и сразу же узнал: «Симеон и Анна». Не удержался, крикнул:

— Ах, молодец Бочаров! Ура капитану «Симеона и Анны»! — Оглянул стоящих на палубе засиявшими глазами. — Ну же! Ура!

9

Шелихов проснулся задолго до рассвета. В каюте было темно. Григорий Иванович лежал молча, прислушиваясь к ровному дыханию жены, и отбросил покрывавшую его шубу. Понял — не уснуть больше. Да и душно вдруг ему стало.

Не первую ночь он не спал. Вот так вот просыпался задолго до утра и лежал, пяля глаза в темноту. О разном думал. Правду говорят: «Жизнь прожить — не поле перейти». Все в жизни бывает, и задуматься человеку всегда есть о чем. Иной, сказывают, живет не думая: день прошел — и ладно. Да навряд ли есть такие. Видится нам только, что прыгает человек, как воробышек, в душу же ему заглянуть недосуг, а там такое можешь увидеть, что поклонишься до земли.

День за днем перебирал свою жизнь Григорий Иванович. О многом сожалел, а от иных мыслей краска в лицо ему кидалась. Благо, никто не видел. Дни прожитые — не

камушки кругленькие, что, на ладошке побросав, в сторону отшвырнуть можно.

Когда это приходит к человеку: мысли ночные? Когда жизнь по лбу щелкнет? Так почему он ждет этого щелчка? Почему раньше не остановится в бездумном житье, не крикнет:

— Тпру, кони, стойте! Не туда катим...

Самому, да и свою, тройку остановить куда как легче, чем кому-то броситься с обочины и коней твоих подхватить под уздцы.

Осторожно, чтобы не разбудить ни жены, ни спавшего тут же в каюте Самойлова, Шелихов обулся, встал.

Константин Алексеевич во сне захрипел, закашлялся тяжело и глухо. Но затих.

Григорий Иванович вышел из каюты. Зашагал по трапу вверх, так, чтобы каблуки не стучали. Как только поднялся на палубу, лицо свежим, сырым ветром, как водой холодной, колодезной, омыло. Подошел к борту.

Стояла глубокая ночь, и моря не было видно. Но чувствовалось, как что-то огромное и живое колыхалось, ворочалось с плеском и всхлипыванием у борта галиота, поднималось и опадало в бесконечном движении. Дышало едким и пряным запахом водорослей и рыбы.

Григорий Иванович поежился от проникшей под одежду сырости и огляделся.

Мачты с реями неясно белели над головой, да едва угадываемые ванты уходили вверх в темное, затянутое тучами небо. На берегу, саженьях в трехстах, в ночи горели костры. Пламя у ближнего из костров вскинулось высоко, и у огня человек угадался. Нехорошо было на душе у Шелихова. Тревожно. Пальцами сильно подбородок сжал. Почувствовал — лицо влажно от сырости, идущей с моря. Помял лицо. Хмыкнул. Мысли живой не рождалось. Сосало только беспокойно в груди. Будто бы ждал: вот-вот накатится со стороны лихо, а какое и с какой стороны — неведомо.

Григорий Иванович еще с минуту постоял и вдоль борта пошел к трапу, перекинутому на берег. Споткнулся об оставленную на палубе бухту каната, помянул черта. Темень была, хоть глаза коли. Кое-как он все же добрался до трапа и разглядел доски темные и белеющие на них перекладки. Шагнул через борт.

Костер впереди полыхнул поярче. Видать, мужички плавника подкинули.

Волны били в берег. Гальку катали. С шелестом ровным,

осторожненько так камушки перевернут и назад отхлынут со вздохом, набирая силу. Опять накатятся. На берег, что ли, просились? Жаловались ли, что нет им ходу на землю и вечно волнам колыхаться и биться, в брызги рассыпаясь. Ударятся и:

«Ах...»

Откатятся и опять ударятся, и вновь:

«Ах», — как стон.

А то недовольно заворчат:

«Р-р-р-р...»

Но берег твердо держал предел.

Шелихов море невидимое оглядел, на небо взглянул — закрытое туманом. И вдруг в разрыве облаков малую звездочку увидел. Была она в неоглядной крошечной тьме неба так одинока, так пронзительно мала, что у Григория Ивановича сжалось сердце.

Он никогда не видел такой темной и глухой ночи. Никогда не ощущал себя таким затерянным в этом необозримом бесконечном мире, что вдруг, передернув как от холода плечами, сказал себе: «Как ничтожен и мал человек в этой безбрежности. Пылинка неощутимая...»

Волны все били и били упрямо в берег. Сонали.

— А, Григорий Иванович, — поднялся мужик от костра, — пошто так рано встал? Ночь глубокая.

Был это Тимофей, что остудился сильно при починке галиота и которому Шелихов склянку водки послал. Второй мужик приподнялся из-за костра. Кильсей. Таежник. Человек улыбочивый, приветливый. Третий зашевелился под тулупом, но только голову поднял и опять лег. Спал, видать, крепко.

Тимофей — широкий, в армяке распояской — вглядывался внимательно в лицо Шелихова.

— Беда какая?

— Нет, — развернул тот широкие плечи, — не спится. Тесно в каюте. Не привыкну никак.

Сел к огню поближе. Попробовал ладонью гальку: от жара костра она была теплой. Подумал: «Как на печи у матушки».

Кильсей сторожко оборотился к темному небу. Прислушался. Прислушался и Шелихов и за ровным рокотом волн неожиданно услышал далекое, далекое:

«Га-га-га... Кры-кры-кры...»

— Голоса птичьи, — сказал Кильсей, — последние улетают. Ишь как жалобно прощаются.

И вновь услышал Шелихов звучащее, как плач:

«Га-га-га... Кры-кры-кры...»

У Кильсея морщинки на лице распустились, и стало видно, что лицо у него доброе, мягкое — одно из тех лиц, глядя на которые душой отдыхаешь.

— По голосам этим многое можно угадать,— сказал Кильсей,— и когда снег первый выпадет, и какой зиме быть. Птица лучше человека в божьих этих велениях смыслит.

— Это точно,— поддакнул Тимофей. Сказал Шелихову: — Ты посиди, Григорий Иванович, мы в дальние костры плавничка подбросим и мигом назад. Рыбку на камушках поджарим. Поешь с нами.

Наскучило, видно, мужику ночь на берегу сидеть. Рад был приходу Шелихова. Заторопился, пошагал к пылавшему саженья в ста второму костру. Повернул лицо:

— Посиди, посиди. Мы мигом.

Кильсей за ним поспешил.

Шелихов вслед им взглянул, подобрал палку, поправил угли в костре. Большое пламя спало, и от костра шел ровный жар. Хорошо было так вот у огонька посидеть под ветром.

Тревоги Григория Ивановича были не случайны. Когда пришел галиот «Симеон и Анна», все приободрились: знать, думалось, на острове этом черном, где крестов над могилами безвестными во всех распадках понатыкано, зимовать не придется. Уйдем. День, другой подождем, придет «Святой Михаил», и отчалим флотилией от угрюмых берегов. Шелихов приказ о зимовке ватаге не высказал. Надеялся — придет отставший галиот. А его все не было. И сказать было трудно: придет ли, нет ли? Не уснешь в таком разе.

Пламя играло в сушняке. Ползло по веткам, осторожно обнимало сук или полено со всех сторон и вдруг вспыхивало ярко лепестками чудесного цветка, красивее которого ни на одном лугу не найдешь. И все двигалось пламя, трепетало, ежесекундно меняя цвет. То синим светило, то красным, то наливалось солнечным цветом, и опять окрашивалось красным, багровым, синим.

— Задумался ты, Григорий Иванович,— услышал Шелихов голос Тимофея, подошедшего с товарищем.— Знать, есть о чем. А?

Шелихов глаза от костра отвел.

— В огонь засмотрелся,— улыбнулся.

— Огонь — чудо,— крикнул Кильсей, присаживаясь на гальку и подсовывая на угли плоские лепешки камней. Рыбу собирался жарить. Взглянул на Шелихова и еще раз повторил: — Огонь — чудо. По тайге находишься за день

так, что и сил нет, а придешь на заимку, костерок разведешь — и он тебя и накормит, и напоит, и согреет, и поговорит с тобой.

Тимофей удивился. Лицо его, изъеденное оспой, даже вытянулось.

— Огонь-то голоса не имеет.

— Как не имеет? Да огонь лучший рассказчик, чем человек иной,— настаивал Кильсей.

— Невесть что городишь.

Кильсей с укоризной взглянул на устюжанина:

— Вот и видно, что ты не бывал в тайге.— Склонился к камням. Поправил на углях. И опять на Тимофея посмотрел. Лицо таежника освещено было жарким светом углей. И видно было, что мужик он еще молодой, но глаза — не суетливые, а глядящие спокойно и даже вроде бы с сожалением, говорили — этот свое повидал.— Вот ходишь и месяц, и другой, а живого лица вокруг и на сто верст нет. Сядешь у костра, и опять же перед тобой лес черный. Пихтарник глухой. Костер и заговорит с тобой.

Оживился, сел поудобнее на загремевшую под ним гальку:

— Я раз пришел как-то на заимку — ноги дрожат. Пять дён капканы проверял. Сел у костра, чайку попил и в огонь смотрю. И вдруг в пламени деревню нашу увидел. Просека в тайге и там в просеке, вдаль, заря встает алая, ближе — избы на снегу, еще ближе — бабы идут от колодца и на коромыслах у них ведра с водой. А от воды пар розовый... А? Голос? Да я от того голоса встал и десять дён шел почитай, не останавливаясь. Упаду на час-другой и опять иду. Все хотел зорю ту увидеть, крыши да баб с коромыслами. А ты говоришь, голоса нет...— Кильсей стер рукавом армяка сажу со щеки, крикнул: — Какой еще голос, паря!

Пальцами корявыми выкатил из костра камень плоский и ловко рыбу на нем распластал. Вторым камнем придавил сверху. Рыба зашипела, как на сковороде.

«Умелец какой,— подумал Григорий Иванович,— и где научился? Сподручно... И о костре хорошо сказал. Верно. Голос у огня есть».

Взглянул на пламя с вопросом: «А мне-то что скажешь?»

Огонь ровно, не колеблясь, тянулся кверху. Словно только в нем и было, что согреть человека да пищу ему готовить. И без всякой сказки.

«Ну, вот так-то,— подумал,— не пляшут огоньки».

В груди вновь тревожно засосало, заворочалось. Григорий Иванович ссутулился. Решил: «Худое у похода начало, куда ни кинь. Худое...»

Но и другое пришло в голову. Вспомнил, как на льду Сейма кулачные бойцы сходились и отцом о том сказанные слова: «Не тот боец хорош, что первым ударил. Это слабые говорят — бей первым. Но тот хорош, что, и упав под ударом, сопли отсморкает кровавые и, поднявшись, сам ударит. Вот за тем стенка идет, ему верят...»

Поднялся от костра. «Все, — решил, — сегодня же людей пошлю за лесом. Строиться будем на зимовку. Хорошо, крепко строиться, так, чтобы всех сохранить».

Спину распрямил. «Поглядим, — подумал, — утремся». И тревога ушла из сердца. Знать, душой еще ступеньку перешагнул, выше поднялся. Жизнь, она вся — испытание, и одни выдерживают его, а другие — нет.

Едва солнце поднялось, ватажники артелью пошли за лесом. Шли, засунув топоры за кушаки, зубоскалили. Сутулых не было. Кильсей, что ночью у костра чудное говорил про огонь, увязался с ними. Давил землю косолапо, как медведь. Шелихову улыбнулся. Знать, хотел подбодрить. И Григорий Иванович это понял. Махнул рукой.

Кильсей еще раз оборотился и совсем уже издали покивал: держись-де, паря!

Через неделю запели на берегу пила, застучали топоры. Да весело, да звонко — щепки только летели золотые. Мужик работы не боится, безделье для него страшно.

Землянки строили надежные. С тесовыми крышами. Стены обшивали хорошей доской. Двери сколачивали прочно. Ставили так, чтобы и шелки малой не было. Такая дверь и от самого лютого мороза сбережет.

На строительстве каждый показывал, какие чудеса топором можно сделать. И казаки — хорошие мужики в работе иной — здесь устюжанам и сибирякам-таежникам уступали. Эти и вправду топорами играли. Топор в руках у такого крутился колесом. Пел. И им мужик все, что хочешь, мог сделать. И планку вытесать, и филенку подогнать, и щеколдочку хитрую пристроить. Для землянок особой хитрости в плотничьем мастерстве нужды не было. Но все, что делалось таежниками и устюжанами, сработано было чисто, добротнo, крепко.

Для припаса съестного отдельную избенку смастерили, да еще и подняли на сваи. Это уж чтобы никакая вода не подмочила. Оконца прорубили в две ладони над дверью — проветривать съестное при нужде. А уж за тем, как укла-

дывали мешки с сухарями, солью, ящики с чаем и другим провиантом, Наталья Алексеевна следила своим бабьим глазом. Каждый мешок, каждый ящик сама пристроила, не надеясь на мужиков.

Только-только управились со строительством да галиоты на берег вытянули — повалил снег. Рыхлый, тяжелый, густой. И сразу же новые крыши землянок, желтевшие свежепиленой древесиной, накрыло шапками. Завалило палубы галиотов. Залепило мачты. И весь берег, насколько глаз хватало, одело в белое. Яркими, горяче-красными пятнами на снежном этом покрывале выделялись только костры, которые все еще жгли, надеясь, что галиот «Святой Михаил» когда-нибудь, а придет. Пламя костров вскидывалось вверх текучими языками, как свидетельство великого и прекрасного долга товарищества.

«Ну вот и зазимовали,— подумал, глядя на свинцовое море, катившее медленную, стылую волну, Шелихов,— зазимовали...»

А море шумело, злилось, хотело испугать... Волны били в берег, и уже не жалобы, не стоны в голосе их были. В гуле неумолчном слышно было только: «Поглядим, поглядим, какие вы есть... А то ударим, ударим, ударим...»

Ветер гнал по берегу колючий снег, мотал, рвал стелющиеся по скалам кривые ветви рябинника да несчастной талины, которым выпала доля нелегкая — расти на острове этом, затерянном в океане.

## 10

В Петербурхе же этой осенью были свои заботы. Дни стояли сырые, холодные, ветреные. Рано выпал снег, но тут же растаял, растекся грязными лужами, и слякоть эта доставляла немало хлопот офицерам на парадах и в караулах.

Ждали наводнения, и к Зимнему дворцу подвозили многочисленные ботики и лодки. Но делали это скрыто, дабы императрица Екатерина, глянув беспечальными васильковыми глазами из окон на Неву, не увидела этих опасных приготовлений. Такое могло расстроить ее впечатлительную натуру.

— Эй, мать твою кузькину,— тряс кулачищем пудовым драгун свирепый перед носом у мужика, завернувшего свою приморенную лошадку так, что давно не мазанная ось у телеги заскрипела в ночи.— Тихо!

Мужик оторопело осаживал лошаденку:



Тпру, проклятая!

Голос у него срывался

— Тихо! — шикал драгун

Мужик уже и не знал, что делать. Лошадь заржет шикают драгуны. Колесо заскрипит или ось — опять шикают. Ума не приложить, что им надо. Гонят ведь. гонят — скорее да скорее. А как скорее, ежели лошади мореные, телеги битые, да еще и так, чтобы шума не было?

Императрица в эти дни готовилась к балу, вот уже много лет придворным календарем приурочиваемому к первому снегу.

Кто-то несмело начал было говорить, что погода не способствует веселому празднеству. Но императрица поджала губы, и разговор оборвался, едва начавшись.

Парадные залы дворца спешно декорировались цветами, тканями, коврами, мрамором и специально привезенными диковинными раковинами южных морей. Императрица высказала пожелание устроить бал на манер восточных сказок.

На дворцовой площади хлопот было еще больше. Из глыб льда и снега здесь воздвигались бесчисленные мечети и арки, вычурные буддийские храмы и восточные пагоды. Но снег и лед — хоть плачь — таял и никак не хотел принимать формы, навешанные снами самодержицы.

И опять мужик выручил. С полтысячи сиволапых ко дворцу согнали, и под наблюдением многочисленных художников лепили они эту невидаль, шлепая лаптями по стылой жиже. Сипели застуженными глотками:

— Ишь, баловство какое.

Один, постарше, хоронясь от солдат, рассказывал:

— Ледяные забавы эти еще при покойном императоре были. Как-то у Исаакия постелю ледяную поставили вот так же со столбиками витыми, со скамеечкой для ног.

Откашлялся, перегнувшись пополам. Ветер с Невы был жесток.

— Ну,— поторопил его молодой мужичонка в драном армяке.

— Вот те и ну, хрен гну... Из-под венца вельможу какого-то с женой молодой из Исаакия под ручки вывели и на постелю эту уложили.

Иные из мужиков от изумления подались в стороны.

— Видать,— покачал головой один,— не потрафил вельможа тот чем-то...

— Баре, баре,— сказал другой вразумляюще,— у них и забавы не людские.

— Эй, разговоры,— подскочил солдат,— чего встали! Мужики, крихтя, подхватили ледяную глыбу застывшими руками.

Работа на площади начиналась с заходом солнца. С рассветом возведенные хрупкие постройки покрывались белым полотном, дабы дневное светило не уничтожило того, что с таким трудом и тщанием было сделано ночью.

Костры разводить на площади не разрешали.

— Руки погреть, ваше благородие,— просили мужики,— совсем заходятся от холода.

— Нет,— был ответ строгий.

Во-первых, боялись, что костры императрицу опять же могут побеспокоить, а во-вторых, опасались, что копать и чад костров попортят белизну ледяных строений. А мужик — что уж? Мужик обтерпит.

— Солдат построже пошлите,— сказал офицер, отвечающий за порядок на площади.— Это лучше костра обогреет.

На том и порешили. Солдат послали — хуже собак лютых.

Ежедневно Екатерина осведомлялась о ходе работ, и тон ее вопросов становился все жестче и жестче.

Главный архитектор не раз плакал, узнавая о неудовольствии императрицы. Но что он мог поделать? Как будто в наказание над Петербургом висели сырые, тяжелые тучи, отнюдь не обещавшие холодов в ближайшие дни.

Восточные мотивы декора дворца были связаны с успехами члена Государственного совета, вице-президента Военной коллегии, генерал-губернатора новороссийского, азовского и астраханского, князя Григория Александровича Потемкина. Сей славный муж наконец осуществил свой давний проект и присоединил Крым к России, уничтожив навсегда Крымское ханство.

Триумфатора ждали в Петербурге великие почести. Императрица полагала присвоить ему титул — помимо всех прочих им полученных — светлейшего князя Таврического.

Минареты и мечети на площади должны были напомнить князю о его успехах в Крыму.

И вот такая незадача...

«Погода... Климат... Разве нельзя в конце концов сделать так, чтобы было холодно», — капризно сложила губы императрица, стоя у окна. По стеклу ползли слезы дождя. Нет, определенно ее подданные не хотели ей помочь.

Екатерина отошла от окна и села к зеркалу. С поклона-

ми и приседаниями ее плечи и грудь накрыли пудромантом из драгоценнейших кружев, и руки многочисленные захлопотали над ней, готовя к малому утреннему выходу.

Царица сидела с каменным лицом перед зеркалом.

Князь Григорий Александрович вот-вот прибывал в Петербург из Москвы. Славный покоритель Крымского ханства был дорог для самодержицы не только как муж государства, наделенный высоким умом и многими доблестями, но еще и как друг сердечный.

Друг сердечный... И что-то томное, нежное, теплое появилось в строгих немецких глазах императрицы.

Вдруг брови ее дрогнули, императрица неловко оттолкнула замешкавшуюся у зеркала придворную даму и, резко качнувшись вперед, впилась глазами в свое отражение.

— О, боже! — вырвалось из ее уст.

Императрица не отводила сузившихся глаз от зеркала. Ее роскошные, беломраморные, несколько, правда, излишне пышные плечи порозовели.

Российская самодержица переписывалась с прославленным Вольтером. Ее «Наказ» был переведен на английский, французский, немецкий язык и читался всеми царствующими дворами Европы. Французские энциклопедисты — ученейшие люди времени — находили, что у царицы россов, повелительницы миллионов и миллионов людей, философический склад ума.

И вдруг это:

— О, боже!

В не покрытых еще париком волосах Екатерина, к ужасу своему, увидела седину. Единственный белый волосок, но все же — белый!

Императрице шел пятьдесят четвертый год, но об этом знала только она, а ежели кто-либо и догадывался о ее возрасте — и это уж наверное — не то что молвить, но и подумать боялся. И вот-те нá — белый волосок!

Нет, все сошлось на том, чтобы она была несчастлива. Милый друг спешил в Петербург, а тут непогода и это горькое напоминание о крадущейся старости.

«Старости? Нет!» — Екатерина сжала губы и твердыми надушенными пальцами вырвала досадивший ей белый волос. Оглянулась на застывших с испуганными лицами дам.

Дамы тут же весело защебетали. Легко и воздушно вокруг головы императрицы запорхали руки и, казалось, никто не заметил минутного раздражения императрицы, как не заметили и смятый в ладони ее волос злополучный.

Туалет был окончен, императрица вышла в залу к ожидавшим ее высшим чинам империи.

Все склонились низко. Зашелестел шелк пышных платьев. Придворные отметили в этот день, что императрица бледна более обычного и печальна. Время от времени у нее подрагивал мизинец руки, в которой она держала перо, подписывая бумаги, подносимые личным секретарем — Александром Андреевичем Безбородко.

Дважды императрица откладывала перо, как бы устав от дел государственных, и ее взгляд, не задерживаясь ни на ком, скользил по лицам придворных.

Когда она с легким вздохом, чуть приподнявшим грудь, отложила перо во второй раз, глаза ее на мгновение задержались на лице графа Александра Романовича Воронцова — президента Коммерц-коллегии. Но взгляд этот был так мимолетен, что Александр Романович, несмотря на великий опыт дипломата и царедворца, не смог разобрать, что таилось во взоре императрицы.

Секретарь наипочтительнейше склонился к уху Екатерины и сказал что-то неслышное для присутствующих. Императрица, чуть отклонив голову назад, ответила явственно: — Нет, нет... Вот еще...

Секретарь с полным пониманием отступил на полшага назад.

Нет, определенно императрица сегодня была не в духе. Погода ли тому виной, задерживавшийся ли приезд друга сердечного, волос ли белый, так некстати обнаруживший себя, — кто знает?

Да и секретарь неловкость проявил. Как можно было, когда на плечей повелительницы миллионов легли такие неприятности, досаждать своими обращениями?

Дамы, окружавшие императрицу, взглянули на него с осуждением.

Найти минуту благосклонную, когда к сильным мира сего обратиться можно, — дело сложнейшее и особого дара требует. Как знать, чем мозг великий занят?

Малый прием был сокращен по времени противу обычного.

После приема у графа Воронцова состоялся разговор с личным секретарем императрицы.

— Уважаемый Александр Романович, — сказал Безбородко, — я задал вопрос императрице об увеличении ассигнований на расширение торговли и торгового мореплавания на востоке. Ответ вы слышали. — Развел руками. — На будущее уповать будем.

Воронцов поклонился и хотел было отойти, но секретарь императрицы продолжил:

— Сегодня поощряется только наш несравненный князь Григорий Александрович Потемкин... Вот истинный счастливец... И. потом... — Безбородко улыбнулся той улыбкой, которую дарят только очень доверенному и тонкому человеку. — В женщине особенно обворожительны ее слабости...

Когда граф Воронцов вышел из дворца, в лицо ему резко метнулся свежий ветер. «Похолодало все же, — подумал граф, закрываясь седым бобровым воротником, — зима идет».

Сел в карету. Кони тронулись.

Офицер, стоящий у подъезда дворца, просалютовал шпагой. Но Воронцов даже не кивнул в ответ. Он был погружен в свои мысли и понимал, что женские капризы царицы здесь ни при чем. Он знал — Екатерина слишком умна, чтобы капризничать. Здесь было другое. Но что?

Он должен был ответить на этот вопрос.

Граф поерзал недовольно на скользких кожаных подушках кареты. Взглянул в оконце. За хрустальным стеклом мелькали дворцовые решетки, фасады домов, неряшливые под дождем фигуры прохожих.

Граф поморщился и прикрыл глаза.

Колеса кареты щелкали по сырым торцам мостовой.

## Глава вторая

### 1

По весне первой весть о том, что на острове в камнях проросла зеленая травка, принесла Наталья Алексеевна.

Вышла как-то рано поутру из землянки и через самое малое время назад вернулась. Шаги пролетели по ступенькам. Григорий Иванович жены не узнал. Приподнялся с лавки:

— Что с тобой, Наталья?

У Натальи Алексеевны губы дрожат, руки прижаты к груди. Исхудала за зиму зело. На лице одни глаза только и были. Как пушинку ее носило. Но тут и вовсе уж глаза распахнулись, и сама как плат белый. Шагнула к мужу и, протягивая ему что-то в кулачке — в землянке темновато было, сразу-то и не разглядишь, — сказала:

— Смотри.

Голос ее Шелихова ударил в сердце. Глянул он на руку протянутую и тут только увидел пучочек травы. Тоненькие былинки, слабенькие, но горящие, как лучики зеленого пламени.

Не понял, что же произошло-то. Смотрел оторопело на кулачок, сжавший травинки.

Наталья Алексеевна всхлипнула:

— Весна, Гриша! Весна!

Качнулась на ослабевших ногах.

Шелихов обнял ее. И тут только дошло до него: как же она ждала эту весну, ежели вот так обрадовалась травинкам. Как тосковала у нее душа. «А ведь всю-то зиму долгую молчала,— подумал,— ни разу не пожаловалась. Напротив — других бодрила...»

— Наталья ты моя,— выдохнул,— Наталья. Ну, ничего, ничего,— сказал уже спокойнее,— дождались. Все теперь, все...

Погладил по голове.

Из кулачка жены взял травинки, приблизил к лицу.

Былинки зеленые... Хрупкие, тонкие, с едва обозначенными жилочками и узелками. Сколько растет вас по лесным опушкам, лугам, полям? Ходит иной человек, топчет, мнет, давит красоту несказанную и не задумывается. Другой жжет кострами, до корня, до черной земли без всякой жалости мозжит тележными колесами, рвет кольями да ненужной городьбой. А вот сколько радости вы можете доставить человеку, сколько всколыхнуть в нем надежд, как осчастливить можете — до слез.

— Успокойся, Наташа,— гладил по голове Шелихов жену,— сядь.

Наталья Алексеевна села. Плечи у нее вздрагивали, как у малого дитя.

«Наталья, Наталья,— подумал Шелихов с нежностью,— трудную ты выбрала судьбу со мной, отправившись в путь дальний. Слыханное ли дело: баба и в ватагу пошла за мужем? Сидеть бы тебе в Иркутске в теплом доме, у окошечка, и дожидаться мужа. Ан нет — пошла вот. Что впереди нас ждет? Что на плечи твои слабые ляжет?»

А зиму прожили, слава богу, неплохо. Все живы остались. Землянки сухие да теплые выручили. Заметало их сугробами — и не отыскать, ну а все же людей они сберегли.

Охотились понемногу. Тропили дорогу в сопки. Идет мужик, по пояс проваливаясь, ругается, но идет. За ним и другие. Так, мало-помалу, втянулись.

Зверя на острове почитай не было Песцы. Да и тех мало. Но Шелихов велел и ловушки ставить, и с ружьем ходить. Знал: сидеть будут мужики одолеет цинга, хоть и съестной припас был довольный. Это уж дело известное. Шкурок запасли чепуху, но Шелихов доволен: не было мужика, который бы за зверем не ходил. А рухлядишки меховой, знал, еще добудут.

Рыбачить приохотил ватажников. Рыбы-то вокруг острова много. И рыба хорошая.

Как льды тронулись, пошли за морским зверем: за моржом, котом, нерпой. Но и этого зверя было мало. А все же Григорий Иванович каждый день поднимал людей:

— Давай, давай. Кто даром хлеб жует — тот долго не живет.

Сам уставал каторжно. Придет в землянку, упадет без сил. Ворочай его, как колоду. Наталья Алексеевна сколько раз уже над ним плакала, причитала:

— Что же это делается? Что делается?

Но только тогда позволяла слезу пролить и слова эти горькие сказать, когда спал муж. А проснется он, у жены глаза веселые.

Отдышится Григорий Иванович — и на следующий день опять свое:

— Давай, давай, ребятушки...

Сильнее других оказался, а вернее — не разрешил себе быть слабым.

Михаил Голиков радовался. Как же — зиму не зря просидели. Много-немного, а была рухлядишка. Лебезил белыми лживыми глазами перед Шелиховым. Видел: дело-то идет. И Шелихов, видать, правильно настоял, чтобы зиму на острове отсидеться. Распогодится, дальше пойдут и шатнут богатство.

— Голова, голова у нас Григорий свет Иванович, — говорил, не зная, как и подластиться лучше.

Но Шелихову до него дела меньше всего было: поперек не идет, и то хорошо.

Как-то, уже весной, Шелихов зашел в избенку, сколоченную устюжанами для хранения мехов. Непростое занятие хранилище такое сработать. Так надо домишко сей смастерить, чтобы и сухо в нем было и воздух свободно гулял, ибо меха и сырости не терпят, и дышать должны вволю. Тогда только мех силу наберет, блеск, крепость. Созреет.

В избенке Григорий Иванович застал Голикова. Тот не увидел его, своим был занят. Ходил около мехов, поглажи-

вал шкуры, посматривал внимательно. Морщился довольный. Глаза шурились, и без труда сказать можно, о чем он думал. «Денежки, денежки,—написано было на лице у Мишки,—вот они, денежки дорогие!»

Григорий Иванович повернулся и вышел, не объявившись.

Других забот много.

Галиоты перезимовали без порчи. Конечно, прошпаклевать надо было, просмолить еще раз — дерево-то за зиму подсохло — ну да это мелочи. Устюжане уже достали молотки деревянные, готовы были смолу варить. Погоды только ждали. Для них работа — радость. Тосковали все же зимой. А и как не тосковать? Наталья Алексеевна вон как обрадовалась травинкам зеленым. Мужик, он — спору нет — покрепче сердцем. Но и у него оно не каменное.

Из землянки вылезешь, кое-как пробьешься через снежный завал — а всю зиму метели были свирепые, ветер с ног валил, по канатам, от жилья к жилью протянутым, только и ходили — вокруг бело, и ни голоса, ни дыма, ни огонька... Хоть волком вой. И так — день за днем. Почешешь в затылке. А у каждого на матерой-то земле жена или милушка, отец или мать, детишки. О них не забудешь. Голодны, быть может? Обижены ли кем? Лихих людей, которым сирот скорбных разорить даже и лестно, много. Есть о чем мужику подумать на зимовке. И думали.

Сидит такой, задумавшийся, у огонька, брови насуплены, у глаз морщины горькие, бороду щиплет. А что у него в голове? Поди знай! Может, слышит он, как жена зовет.

— М-и-л-а-й... Где ты?..

Может, детский плач звенит в ушах:

— Тятка, тятка, холодные мы, несчастные...

А в избе печь нетопленная, горшки пустые. На обледелом дворе хлев разоренный с тощими пучками соломы, торчащими на крыше. Коровенку-то давно за долги свели... Завоеешь...

Или мать видит? Отца? Руки старые протянутые?

Мужичьи думы темны, и разгадать их трудно.

А то и так задумается иной, что ляжет лицом к стене, и не поднимешь его. Хоть бей. Вот такого тормошить надо изо всех сил. Поднять всенепременно. Расшевелить. Не поднимешь — считай, пропал человек. Был — да весь вышел.



Тяжко зимовье на далеких островах. Тяжко. Это для сильных только. Слабому здесь не сдюжить.

Не один за зиму сказал:

— Эх, родила меня мамка, да не в добрый час...

Дверь в землянку стукнула. Вошел Самойлов. Веселый. Живой. За зимовку болезнь его вовсе прошла. Так бывает: кажется, куда уж как хуже человеку должно бы стать, а глядишь — выправился. Так и он. Первым был, что на охоту, что на рыбалку или за морским зверем пойти.

Хлопнул дверью, остановился. Армяк на плечах внакидку. Жарко, знать, было мужику. Сказал бойко:

— Григорий Иванович, пошли. Наши моржа завалили. Аршина три с половиной, а то и все четыре в длину будет. На берегу разделявают.

— Иди,— сказала Наталья Алексеевна,— иди, Григорий Иванович.

Самойлов взглянул на нее удивленно, голосу, полному слез, изумившись, но промолчал.

Наталья Алексеевна отвернулась, лицо насухо вытерла и оборотилась к мужикам уже как ни в чем не бывало. Даже улыбнулась.

Вышли на волю.

Небо над островом звенело от птицы. Пропать ее валилась на остров по весне. Станицами летели гуси, утки, лебеди, чайки, ары. В воздухе несмолкаемый свист крыльев стоял, гоготание, крики. Птица спешила за короткое северное лето в вечной, не нами установленной круговерти, свить гнезда, отложить яйца, вывести потомство, чтобы и оно, в следующие годы, с такой же жаждой к продолжению рода, за самку билось, гнезда вило и выращивало себе подобных. Все скалы, все берега вокруг, каждый клочок незанятого пространства был вожаемым полем, за которое, теряя перья и пух, с горловыми стонами и клекотом, сражались самцы, чтобы привести сюда свою самку и утвердить свое гнездо. И само небо, казалось, кричало над этим шумным, гогочущим, хлопающим крыльями, базаром:

— Жить! Жить! Жить!

А морж, забитый ватажниками, под голубым и прекрасным небом отплавал, отхороводил. Он, тяжело огромный, неподвижной тушей лежал на гальке, и глаза его, мертвея, стеклянно, не по-живому были уставлены на слепящее солнце. Но даже и смертью своей он должен был послужить жизни.

Когда Шелихов с Самойловым подошли к охотникам, один из них уже распорол широким и острым ножом брюхо зверю, алое, жаркое нутро обнажив. Вырезал горячую, трепещущую печень и, отсекая куски, раздавал ватажникам. Руки охотника были живой кровью залиты, которая еще минуту назад играла в большом и сильном теле моржа.

На конце ножа охотник Шелихову подал кусок.

— Наипервейшее средство от любой болячки,— сказал,— ешь, пока теплая.

Рядом с ним Степан стоял, и губы у него были в крови.

— Присоли, Григорий Иванович,— посоветовал он,— в горло лучше идет.

На слова эти мужики головами одобрительно закивали. Степана в ватаге слушались; его на любое дело можно было занарядить, уверился Шелихов, и все сделает. И других за собой поведет. Видно, меченые-то — народ особый. Быть может, они для людей — закваска, бродило, соль, без которой все пресно. Тихий — что ж? Он тих. И поросль вокруг него — кустики ровненькие. А то и лопушки мягонькие. Они небо ветвями не подпрут. Какая жизнь без меченых-то будет? Так и порастет все лопушками. И не продерешься сквозь них. Лопушки-то растут споро и все вокруг дают. Заплетают цепкими корнями. А кто «нет» крикнет? Один будет рот разевать:

— Вя, вя, вя...

А за ним другие так же:

— Вя, вя, вя...

Оно вроде бы и ладно получается, но хор такой песню не споет. А ежели и споет, то плохая это будет песня. Сердца от нее не загорятся ни болью, ни радостью. Тот колокол зовет, в который сто звонов вложено, и все разные...

В день, как моржа забили, Шелихов приказал мясо свежее солить для похода и воду наилучшую отыскать.

Устюжане взялись за молотки, пошли к галиотам. Устин — старший — сказал:

— За неделю управимся, Григорий Иванович. И к спуску на воду кораблики будем готовить.

Задорно шапку сдвинул на лоб. Тоже пошутить любил. Пошел гоголем. Весна, весна играла в каждом.

На берегу бочонки из-под солонины да рыбы мыли с песочком. Тухлятину, что с зимы осталась, выбрасывали, на радость птице. Дрались чайки вокруг кусков. Орали. Под ноги людям бросались. Но на них внимания никто не обращал. Каждый чувствовал: в поход скоро, в поход.

В яростном нетерпении люди работали как одержимые. Торопились: скорее, скорее. Как зиму ни провели — хорошо ли, плохо ли, — а надоел все же чертов остров.

У галиотов не умолкал звонкий перестук молотков. А на берегу, на кострах, уже смолу варили, и ветер над островом черный дым нес.

— Веселей, ребята, веселей, — покрикивали на берегу, — ходи ногами!

2

«Почтенному господину капитану Олесову судна именуемого «Святой Михаил». Оставили сей остров Берингов 1784 года июня 16 числа. Назначаем на случай сборным местом Унолашку, один из островов, считающийся под именем Лисьей Гряды...»

Шелихов старательно выводил буквы. Письмо это в туеске берестяном, осмоленном покрепче, оставляли на острове, надеясь еще, что Олесов придет сюда на своем галиоте. А коли придет — знать должен, куда ему далее следовать.

Григорий Иванович так хотел письмо написать, чтобы Олесов, получив его, душой загорелся и в нетерпении последовал за флотилией. Для этого слова нужны были особые, и он над каждым из них думал. Хмурил лоб.

Устюжане вблизи галиотов, уже стоявших на воде, вышку на высоком берегу громоздили, где ватага туесок заветный с письмом оставить для капитана «Святого Михаила» собиралась. Пошумливали, лесины подавая наверх. Быстрее закончить городьбу хотели. Не терпелось, знать. Мужики бежали расторопно.

Шелихов, письмо дописав, взглянул на Измайлова. Тот глаза отвел. Не верил, что команда галиота «Святой Михаил» жива еще и их догонит. Письмо считал пустой затеей. Отвернулся, поморгал глазами, будто солнечный луч в зеницу ему попал и ослепил. Дергал щекой.

— Подпишись, — протянул перо Шелихов, — так оно крепче будет.

Измайлов повертел перо в толстых пальцах. Примета плохая о мертвых как о живых говорить и в мыслях держать как живых. Но, себя все же переломив, сел к столу. Расписался.

Тут же к столу шагнул Самойлов. У этого лицо сумрачно было, но твердо. Сказал:

— Давай и я скреплю своей подписью.

Верил он, что жив Олесов, не верил ли — неведомо. Скорее же всего, так же как и Шелихов, в людях, стоящих вокруг, веру хотел поддерживать. С верой-то в море идти легче. А ватага вокруг стояла, и мужики посматривали зорко.

Примечали и как Шелихов старательно писал, и как заколебался Измайлов, и уверенность Самойлова заметили. Настороженная стояла ватага. И не приметы да бабкины сказы здесь были важны. Мужик хотя приметам и верит, но переступает их легко. Поп дорогу перешел — худо. Баба с пустыми ведрами повстречалась — еще того плоше. Но от всего этого откреститься можно или же через плечо поплевать. А ежели ни того, ни другого не сделаешь — тоже ничего. Авось обойдется. Смотрели мужички на другое: крепки ли люди, что в поход их вели? Вот что было важно для ватаги.

— Оно конечно, догонят, — сказал Устин и, голову опустив, камешек носком поддал.

И все разом заговорили облегченно. Бумага на острове оставалась, подписями скрепленная. Дело немалое. Мужик русский верит бумаге. А еще больше верит хозяину, ежели он сила. Силу же мужик тотчас чувствует, как и слабость, пусть даже и мимолетно, но все же выказанную.

Самойлов подписался и уступил место за столом Бочарову, капитану «Симеона и Анны». Михаил Голиков сунул-ся к столу. Взглянул на Шелихова. Тот кивнул: давай, мол, давай. Подумал: «Не помешает».

Письмо сложили вчетверо и бережно засунули в туесок. Устин стал туесок смолой заливать, подбрасывая на ладони осторожно, бережно, как дорогое дитя.

Один из молодцев, с широко расставленными глазами и развеселым носом на круглом рябом лице, туесок подхватил и на вышку по перекладам крутым махнул. Вся ватага за ним следила. Кто-то крикнул:

— Ты там, паря, получше туесок припрядь.

Тот с высоты башкой покивал: уверены-де будьте. Не из тех, мол, я, что дело вполонину делают. И, повернувшись, в домишко влез, показав латаную задницу на портках.

На вышке, по сибирскому обычаю, оставлен был съестной припас. Мясо вяленое, мука, крупа и многое другое на случай, ежели с мореходами несчастье случилось и они без провианта остались. С особым бережением припрятаны были порох, дробь и ружье, годное к бою. Чего только не бывает в пути, и ежели недоброе приключилось —

мореход здесь помощь найдет. От помощи такой людей немало осталось в живых. Там уж, как время пройдет, путник несчастный выход какой ни есть, а найдет, но на первый случай, пока он слаб и дорогой измучен, припас этот как раз ему придется. С давних времен заведено было припас необходимый путнику несчастному на заимке, в тайге, оставлять. Так же поступали и мореходы.

Парень молодой прыгнул с вышки. Да неловко как-то. Раскорякой сел на гальку. Ноги раскинул. А может, с намерением так-то сделал. Все засмеялись.

Легкое, хорошее настроение было у мужиков. Свое на острову отсидели. Вот парень и пошутил. Да оно и хорошо, когда шутник такой есть в ватаге, идущей на опасное.

— Эх, паря,— Устин насунул картуз ему на лицо.

Тот и вовсе заходил дураком. Ладошками всплеснул:

Раз, раз, раз.

Мне бы милочку сейчас...

Свежий, сырой весенний ветер гулял над островом. Григорий Иванович к ветру лицом повернулся. Бровь у него прыгала: «Ах, радость! Ветер-то какой? Попутный!»

— Ну,— сказал,— бог даст, пойдем хорошо.

Через час на галиотах паруса поставили, и кораблики вышли в море.

С «Трех святителей» ударили из пушки. Клубом белым дым пороховой над галиотом взметнулся. Его подхватило ветром, понесло над морем.

И во второй раз пушка ударила, и в третий...

Пушечная пальба сорвала с острова бесчисленные стаи птиц, и они с криком и гоготом поднялись в небо. Вились над морем, кружили вокруг уходящих кораблей, провожая их в дальний поход. Остров, приютивший мореходов на долгую зиму, опускался в море за кормой, но птицы, не отставая, неслись за галиотами.

### 3

Попутный ветер, однако, недолго флотилии помогал. Уже на следующее утро Измайлов за волнами разглядел прозрачные, летящие облачка. Прищурил рысьи глаза, сказал ворчливо:

— Шабаш доброму плаванию.

Усы разгреб недовольно.

Но ничто, казалось, флотилии не угрожало. Шли в фор-

девинде при всех парусах, туго надутых. И флаг российский шелкал и играл весело на корме.

Шелихов с сомнением на облачка посмотрел. Перистые, легкие, они, похоже было, вот-вот истают, и следа не оставив. Но Измайлов свое твердил, уткнув уныло нос в палубу.

День только начинался, но солнышко уже хорошо пригревало. От отсыревших за ночь снастей шел легкий пар. И они колебались, струились, казались паутиной серебряной, коконом одевшей галиот.

Кораблик шел со скоростью пяти, а то и всех шести узлов, поспешая к островам Алеутским.

Ватажники под командой Самойлова прибирали судно. Драили палубу, окатывали забортной водой, глиной красной особой, для того и прихваченной на галиот, медные части оттирали до блеска. Самойлов покрикивал. Но ватажники и так работали не за страх, а за совесть, и покрикивал он больше порядка ради.

Палубу хорошо отдраить — сил немало надо положить. На добром судне палуба — как желточек. И светла, и не занозиста. Каждый сучок на ней виден, каждая жилочка древесная. Ее и песочком трут, и голиком ходят, а то и скребком, где надо, пройдут и опять песочком да голиком. В семи водах искупают и уж тогда только скажут: довольно, вот теперь хорошо.

Тут же на палубе, на бочке, расстелили карту. Ветер углы карты шевелил, и море рисованное колебалось и билось, как живое за бортом.

Измайлов, нависая над бочкой, басил:

— Ежели бы мы, как в прошлом годе по осени, шли, — острова вот эти, — ткнул пальцем, — Крысьими называемые, лучше бы с юга обойти. — Глянул на горизонт, на облачка, о которых уже говорено было. — А сейчас непременно с севера заходить надо. Ветры осенью одни, а по весне иные. А острова, сам увидишь, подлые. — Прищурился недовольно и еще раз повторил: — Как есть — подлые.

Сел поудобнее, начал рассказывать, что и камней здесь подводных понатыкано где ни попало, течения злые, и — что еще опаснее — ветры крутят вокруг островов, будто их ведьмы гонят метлами. Сказал о старых мореходах, на островах этих прежде побывавших: Михайле Неводчикове, Андрияне Толстых, Степане Глодове. О бедах, которых они натерпелись. И суда их здесь о камни било, и течениями черт-те куда, к северу, утаскивало, мачты ломало ураганами.

Кое-кого из ходивших на Алеуты моряков он знал сам, о других слышал много. По его рассказу представлялись они людьми необыкновенной смелости и риска.

— По имени Андрияна Толстых,— сказал,— и острова Андрияновскими названы. Уж чего только Андриян здесь не натерпелся. Отчаяться надо гораздо, чтобы острова такие описать. Но русский человек рисков. Цыган, ежели конь понравился, сколько хочешь вокруг да около ходить будет, и ты в него хоть из ружья пали, а все же исхитрится и коня уведет. Момент выберет, и охнуть не успеешь, а конь уже пылит по дороге и подол цыганской рубахи на ветру вьется. Гони не гони за ним, а уйдет. Андриян, как цыган вокруг лошади, около островов этих ходил. И било ватагу его здесь ураганами, и ломало, но он все же карту составил, и карту добрую. Половина команды на островах этих полегла. Пойди поищи могилки те. Да и сам чуть не пропал Андриян-то. По совести сказать — место это гиблое. Как уж андрияновской ватаге пришлось — догадываться только можно. И что еще страшно, так это сопки огнедышащие. На островах их с десятков, а то и более горит...

Рассказывал Измайлов, что старые мореходы свидетелями были того, как огнедышащие сопки суда забрасывали камнями величиной с добрый коч:

— Плюнет камушком сопка такая и затаится. И неведомо, когда проснется и в другой раз камушками заиграет. А то еще и пеплом сопки суда заваливали.

О пепле Измайлов вовсе как о небылице рассказывал. Что-де, мол, такой пепел, бывало, сопки эти сыпали, что и днем солнца не видно. Ночь вроде бы черная стоит.

— И не приведи господь,— сказал,— в это время дождь ударит. Пепел корой схватывается и палубу и все снасти залепляет. Бывает, что паруса рвет. Хрупкими паруса становятся. Ломаются, как ледок.

Мужики, стоящие вокруг, слушали разинув рты.

— Вот-те, паря, как бывает...

«Страсть,— понимал Шелихов.— Оно бы лучше, конечно, под ветром легоньким, под солнышком мягоньким... Но в деле опасном такого не бывает. Без страха люди не живут».

На палубе кто-то закричал:

— Киты, киты!

Шелихов с Измайловым поднялись от карты.

Далеко от галиота, но все же видимые хорошо в море,

шли киты. Как суда, в кильватер построившись. Странно так-то для зверя.

— Что те гуси,— качнув головой, сказал один из ватажников.

Время от времени над китовыми горбами фонтанами взбрасывалась вода. Переливалась радугами под солнцем Киты шли быстро, забирая к северу круто.

— Ишь,— сказал Измайлов,— нашим курсом идут. Видно, тоже к островам пробиваются. Китов этих здесь пропасть. Зверь безобидный, хотя и велик.— Повернулся к Шелихову.— Здешние люди бьют их на мясо. На жир. На мелководье загонят в прилив, а с отливом вода сойдет — он, сердешный, на дно и ляжет. Своим весом ломает ребра. Ну, вот тогда уж людишки-то и поживятся. А так, на плаву, кита им не взять нипочем. А возьмут, праздник великий — мяса и жира хватит на год.

Подошел Самойлов. Приборка на палубе была закончена, и галиот сверкал чистотой. Портовик старый тоже с интересом на китов смотрел. Сказал, что насчитал в стаде с полсотни голов.

— Это редкость по здешним-то местам.

Киты ушли за горизонт.

Приметно стало, что галиот много потерял в скорости. За кормой почитай и следа-то пенного не видно. Чайки, преследующие галиот, закричали зло — что-де, мол, вы, ребята, конфузитесь. Давай, мол, давай, гони кораблик. В пенной-то струе для чайки вся корысть. Нет-нет а в борозде этой она рыбку схватит. Чайка за судном, что та галка на пахоте — за мужиком идет не без своей мысли. Она мужичка, запарившегося за локоток не поддержит. Ей червя давай из-под пласта. А нет червя — галка на мужика косится недовольно, крыльями бьет, кричит: паши-де, шагай шире. Галка птица строгая. Баловаться не дает мужику. Свое помнит. Так и чайка — от кораблика выгоды ждет. Крылья от дурости на ветру ломать не станет.

Паруса обмякли и висели на мачтах, как армяк на животе тощем мужичьем — складками.

— Видишь,— сказал капитан Шелихову,— падает ветер.

Прав оказался. Еще раз доказал знания капитанские.

Гаркнул луженой глоткой, чтобы команда поднималась паруса переложить.

Пошли в бейдевинде, но судно хода почти не прибавило.

— Подштанники только и осталось на реях растянуть,— ворчал Измайлов,— дабы парусность увеличить.



— А ты не стесняйся,— пошутил Самойлов.— давай разболокайся, повесим подштанники.

Измайлов на него покосился, но ничего не сказал.

Галиот все больше и больше терял в скорости. «Симеон и Анна» едва тащился сзади. Бушприт над водой торчал уныло. Барашка пенного не было под ним видно.

Солнце припекало все сильнее и сильнее. Кораблик обсох и четко, резко рисовался мачтами на синем небе. Но толку-то от мачт этих было чуть. Вот ветра нет, и суши жабры. Пляши ли, плачь ли, или щеки надуй и в паруса свисти.

На палубу вытащили бачки с похлебкой соленой из рыбы. Потянуло вкусным. Ватажники веселей заговорили, сели вокруг бачков. Шелихов с Самойловым тоже к бачкам подались. Измайлов есть не захотел, ходил вдоль борта, стучал каблуками. Хмурился. И петушиного в нем ничего не было.

Ему крикнули:

— Садись, что себя-то наказывать?

— Похлебай, веселее будет!

Но он и головы не повернул.

Облачка летучие у горизонта не таяли, а, напротив, силу набирали и вроде бы к морю опускались ниже. И море изменилось. То все оно — от борта галиота до горизонта — цвета единого было, как поле паханое под небом ясным. Здесь борозда и там, на холмике, борозда та же: темная, стерней прошлогодней желтой по краю перевернутому одетая. А то вдруг у борта, в тени, море по-прежнему зеленью светлой отливало, а чуть поодаль синеть начало, темнеть, суроветь, как лоб человека, весть получившего нерадостную. Нахмурилось, словно в предчувствии нехорошего.

Измайлов ходил вдоль борта и на море поглядывал недобро. Давно, много лет с морем он дружбу водил, но знал — друг этот своенравен, и как поступит через минуту или час, не всегда с уверенностью сказать можно. Дружка такого по плечу не похлопаешь, не скажешь ему: ты, мол, Вася, нас пожалей, оборони. Мы слабые. Нет, Вася только с сильными дружбу водил. А нет — иди, милый, топай по земле тверденькой. Нам вместе, знать, не по пути...

Скорость совсем упала. Но Измайлов команду не трогал. Да и что было поднимать-то людей. Подштанники они, что ли, и вправду на реях развешат?

Ватажники у бачков сидели локоть к локтю. Хлебали весело.

— Скусно, дядя? — спросил один бойкий.

— Ничяво,— ответил дядя, шурясь, как кот.

— Нет, скусно, вижу... Бороду-то зачем сжевал с похлебкой?

Мужик ложку опустил, захлопал глазами:

— Ты что, очумел?

Но бороденку все же рукой осторожно пощупал: целая ли?

Ватага взорвалась смехом.

Мужик головой покрутил, вновь за ложку взялся.

Жидель выбрали, дошли до рыбы.

— Вот теперь, дядя, самое скусное и есть.

Мужик молча глаза перекатил на говоруна, но и бровью не моргнул. Поспешал рыбку подхватить покрупнее.

— Бороденку-то береги все же. Ишь какая она у тебя пышная.

И опять засмеялись. Бороденка у мужика была самая что ни есть никудышная. Ну да он не обижался. Знал свое — тянулся к бачку.

Рыбку потряхивали на ложках. Черпали вокруг.

После похлебки затируху принесли мучную, маслицем политую. Щедро политую, так что маслине желтым по краям бачков проступало. Съели и затируху, и мужички вовсе повеселели. Что ни скажи — тяжел поход морской, но ели вволю. На земле-то матерой поешь ли так?

Вода лениво плескала у борта галиота.

«Как на Сейме,— подумал Шелихов,— совсем как на Сейме в день погожий».

Поднялся. Пошел в каюту. А когда вышел через час — море не узнал.

Галиот плыл будто бы в молоке. Над невидимыми волнами, как лен мытый и трепаный, стоял слой тумана. Туман то взбухал крутым облаком, то опадал, прижимаясь к воде. Опять вздымался, дышал будто. Паруса — серые, влажные — бессильно обвисли.

— Ежели выше поднимется,— сказал Измайлов,— плохо гораздо придется.

Шелихов оглянулся. Галиот «Симеон и Анна», шедший в кильватере в ста кабельтовых, из тумана мачтами только выглядывал, а самого судна не было видно. Как отрезанные, мачты плыли над белесой, плотной пеной необыкновенного тумана. И что поразило Шелихова: мачты отчетливо рисовались на ясном небе каждой реей. Даже яблоко клотика он разглядел.

Измайлов приказал убрать паруса.

Лица у ватажников посерьезнели. Каждый видел: опять напасть, а сколько терпеть мужик может?

Шелихов всяким видел море: ревущим, свирепым, бьющимся в скалы с пушечным грохотом, яростно разбивающим суда. Видел его и штилевым, когда волны тихо и ласково набегают на берег и тают на гальке. Но и в шторм, и в бурю, и в штиль — море было живым. А сейчас оно замерло, и, как покойника, белый саван тумана одевал его. Ни чаек, ни какой иной птицы не видно было в небе, и ни голоса не раздавалось над волнами. Только небо синее, да солнце слепящее, калившее медяшку судового такелажа.

Через час туман поднялся выше и накрыл палубу и борта галиота. Он заливал судно медленно, как вода заливает чашу ставка, питаемого ключами подземными. Шелихов припомнил такое: дно ставка почистили мужики, вилами тину выбросали, лопатами ил подобрали и открыли ключи. Вся деревня стоит на берегу — смотрит. Из ключей вода бьет. Вот она уже дно залила. Подняла былинки, соломинки, листики, на дне оставшиеся, колеблет их, гонит к берегу. Ребятишки визжат на пологих склонах от радости. Вода выше поднимается и вот уже камень приметный, белый, закрыла на дне. Корягу притопила на берегу. Подбирается к корням многолетних ив, склоненных над чашей ставка. Закрыла корни и цвет набрала — темный, опасный, пугающий. Еще выше поднялась и еще темнее стала. Мальчишки подальше от берега подались, бабы платки прикусили зубами. Там, под берегом — бучило. Глубина. Прыгнешь — не выберешься. Мальчишки закричали и врассыпную от ставка бросились. Страшно вдруг стало...

Туман над морем все выше поднимался, и ватажники, по палубе ходившие, от пояса только видны уже были. А потом и вовсе, с головой, туман их накрыл. Галиот «Симеон и Анна» в тумане исчез. Слышно было только, как колокол на борту галиота жалко дребезжал.

В прошедшем годе, как к острову Беринга шли, натерпелись страха в бурю так, что лишались и надежды в спасение жизни своей, а все же туман еще страшнее оказывал себя.

Ни голоса вокруг, ни бряка, ни всплеска. Только пар влажный колеблется. Тяжелит сыростью одежду, давит на плечи, глаза закрывает пеленой. В белесом мареве неведомо как и по палубе-то ходить. Ногу ставишь, а не видишь куда. Может, пропасть перед тобой. Как в темную ночь ходили мужички. И вант не видно. Руку протянешь, и она

пустоту схватывает. Пальцы влажные смыкаются, а между ними нет ничего. Дырку поймал. Смушение выходит, и боязно так-то. Перекреститься бы да господу помянуть... Но вера старая не позволяла все имя святое помянуть. В душе должен был нести его человек. А в душе — смятение. Лучше бы уж буря — когда палуба на тебя валится, валы ходят вокруг выше мачт, вода шипит и пенится на палубе. Но то видно — и человек себя и судно бережет. А здесь слепая и влажная жуть. И ни защититься, ни в сторону отойти. Хлопай глазами и жди.

Ватажники выбивались из сил.

4

Третий день стоял туман, какого ни Измайлов, ни Самойлов не могли припомнить. Выйдешь на палубу, а глаза словно платком белым завяжут.

— Да,— сквозь зубы говорил Измайлов,— знал я худо, а о таком и не слышал.

Сидели втроем в каюте у Шелихова. Измайлов, лоб в ладонь уперев, ругался. Самойлов лениво жевал рыбу соленую. Шелихов ходил по каюте мелкими шажками. «Ходи, ходи — думай»,— твердил про себя. А что думать-то: лбом в стену уперлись.

По трапу застучали шаги. Шелихов голову оборотил на стук. Вошел Степан:

— Колокол на «Симеоне и Анне» затих.

— Ну вот, дождались,— с сердцем сказал Измайлов.

— Тише, тише зазвонил,— рассказывал Степан,— а теперь вовсе смолк.

Шелихов хотел было пойти послушать на палубу, но Измайлов остановил:

— Не ходи. Что там... И так ясно. Отнесло, знать, галиот в сторону. Маленько подождать надо.

Но Шелихов все одно поднялся на палубу. Степан у трапа ждал, и Григорий Иванович чуть с ног его не сшиб. Хорошо еще, что в Степане весу пудов семь и такого не просто сшибить. Шелихов стал рядом, взявшись рукой за вантину. Прислушался. Но куда там? Что услышишь? Тишь такая — в ушах звенело.

Пока стоял, лицо влагой одело, как вымыло, хоть утрись. Ударь сейчас колокол в тумане, брякни тихонько — как бы обрадовался. Но ни звука над морем. Ни всплеска. Шелихов спустился в каюту.

— Кхе, кхе,— кашлянул Измайлов.



Шелихов, как и давеча, заходил по каюте мелкими шажками.

К концу дня другая тревожная весть облетела галиот. В трюме кормовом обнаружилась течь. Полезли за солониной, а под плахами захлюпала вода. Загудели голоса тревожно по галиоту. Слово «течь» на море страшное. В трюм полезли Измайлов с Устином. Григорий Иванович и Самойлов ждали у трюмного люка. Сердце у Шелихова билось тревожно. Наклонился он, в люк заглядывал.

— Ну, ну, что там?

Измайлов не ответил.

В темноте трюма видно было Шелихову, как между громоздившимися бочонками и мешками плавал неясный свет фонаря. Хлюпали рыбины.

Устин, спустившись в трюм, носом поводил, словно собака вынюхивая след зверя. Воды под настилом оказалось немного. Под рыбины Устин ладонь сунул, сказал:

— С полвершка.

Лизнул палец, пошлепал губами:

— Свежая. Течь недавно открылась. Может, сегодня али вчера.

Поморщился. Сплюнул.

Пополз на карачках между бочками. Измайлов фонарь повыше поднял. Тревожился тоже гораздо: еще того не хватало — течь.

Устин возился за бочками. Шептал что-то. Может, черта поминал. Но вряд ли. Мужик он был смирный.

— Ну? — спросил нетерпеливо Измайлов. Не мог ждать.

Устин по-прежнему возился за бочками, сопя. Потом бочку крайнюю толкнул, сказал зло:

— Прими на себя бочку-то.

Опять завозился.

Измайлов торопливо фонарь поставил, бочку откатил. Заглянул в открывшуюся щель, но спина Устина все загораживала. Видно было только, как лопатки ходили сильно под армяком у мужика. Ворочал он что-то невидимое.

Измайлов было дальше пролезть хотел, но Устин попятился, попятился и вылез на свет. Ладони об армяк вытер, за бороденку себя дернул, сказал:

— Видать, когда галиот на воду спускали, крайний шпангоут потревожили. Вот плахи чуток и расперло. Ничего.

Пошел из трюма. Повернулся на свет фонаря:

— Но своим я все же задам таску. Недогляд их вышел. Недогляд.

Недогляд,— повторил Устин Шелихову, поднявшись из трюма

Встал медведем на палубе. Голову опустил. Неловко, видать, мужику за работу свою. Совестьлив был.

И Шелихов вопросов задавать не стал. Понял: мужик сам досмотрит, чтобы порчу исправить. Ушел в каюту. Оттуда слышал, как по палубе застучали шаги. Тих, тих был Устин, а артель устюжскую так приструнил, что молодцы его завертелись волчками. И через самое малое время слышно было, как молотки в трюме заговорили.

Туман между тем стал убывать. Ветром потянуло. Измайлов велел паруса ставить, и, хоть видимость еще была плохая, галиот пошел на восток.

5

К первым Алеутским островам подходили ночью. Но прежде чем островам из моря подняться, увидели ватажники на горизонте багровые сполохи. «Заря? — подумали. — Так не ко времени. Колокол только-только полночь прозвонил». А сполохи все ярче, ярче проступали, тучи, стоящие у горизонта, освещая снизу. Забеспокоились. Послали сказать о пламени непонятном, горящем за морем, Измайлову. Тот не шел долго. А пламя уже, весь горизонт высвечивая, играло. Странно так играло. Тревожно. Ни на что видимое раньше не похоже. Мужички, глядя на сполохи, помалкивали.

На палубу вышел Измайлов. Сонный, недовольный. Глянул на сполохи огненные, зевнул безмятежно, сказал: — Что взгалтились? Сопка это огнедышащая. К Алеутам подходим.

Взбодрился на свежем ветру и велел до Шелихова добежать.

Григорий Иванович вышел и крайне изумился. Стоял, смотрел во все глаза. Полнеба полыхало в пожаре. Вспомнил вдруг рыльскую свою каланчу, дорогу за Сеймом. «Вот она, — подумал, — дорога та, вот они невиданные картины». И горло волнение перехватило, аж задохнулся.

Из моря постепенно поднимался остров. Вначале темной точкой на горизонте встал, потом все более и более возвысился и вот уже темной громадиной вздымался к небу, ребристой, страшной, черной, с охваченной огнем ослепительной вершиной.

Вся ватага была на палубе. Мужики стояли, опешив. — Страсть-то какая...

— Да уж точно...

— Скажи кому — не поверят...

Чесали в затылках. Глаза на огонь шурили. Но у каждого свое выражение на лице было. У одного оторопь проступала в чертах, у другого удивление, но большинство с ухарством, молодечеством на чудо это посматривало: эй, мол, ты, невидаль заморская. И с тобой-де схлестнуться можно, и неведомо еще, кому хуже придется...

Так-то серые мужички могли смотреть. И от того-то они сыстари далеко ходили. Ухарство такое, молодечество, от роду данное, более парусов вперед их подвигало.

— Ну, ребята, — сказал Измайлов, — теперь гляди в оба, а зри в три. Места здесь опаснейшие.

В эту ночь сам он не спускался в каюту. Стоял, как ворон черный, в глухом плаще около рулевого колеса и, как ворон же, каркал:

— Эй, впереди! Гляди зорко!

Мужички таращились в темноту.

На волнах багровые блики отсветов плясали. Свивались жгутами, вспыхивали и гасли, всплескивались, бросаясь в глаза. Где уж разглядеть буруны опасные над гибельными камнями?

Взмолился кто-то из робких.

— Герасим Алексеич, ты уж вели якорь бросить. Подождем утра. Там, при свете-то божьем, полегче будет. Огни эти чертовы силу поубавят.

Но Измайлов — пастух крепкий — велел по два рифа на парусах взять, а кораблик не остановил. Сказал:

— Привыкать должен. Еще и не то будет. — Засмеялся. Бес в него словно вселился. Усами зашевелил по-тараканьи. — Хе, хе, хе...

От острова отошли чуть мористее и побежали дальше. Здесь, вдали от подводных камней, поспокойнее стало. Да и пляска огненная поутихла на волнах.

Измайлов правду сказал — острова были подлые. Камней вокруг них — не приведи господи. То и дело от носа галиота кричали:

— Буруны справа!

Судно, кренясь, сходило с курса.

И опять с тревогой:

— Буруны слева!

Уваливали галиот в сторону, но шли дальше и дальше. Впередсмотрящих Измайлов менял через каждый час. Уставали глазами. И гнал, гнал галиот. Тенями мужички по палубе сновали, по вантам лазили, как черти разбега-



лись по реям. Смотреть было даже жутко, как портками трясли в черном небе над морской бездной. Ежели в такой ход сорвется кто с рей — считай, все. Отбегался. Чуть по-светлело — даже и рифы отдали. Почему гнали так корабль, Измайлов объяснил:

— Видишь ли, Григорий Иванович, нам, считай, повезло. Близ острова этого всегда дождь да туман. А мы, хоть и не с попутным ветром — в галфинде, но при ясном небе идем. Счастье подвалило. Пролив проскочим, а там до самой Унолашки посвободнее будет.

Светало. Шли проливом. Пролив узок, и течение сильное, встречное.

Измайлов беспокоился:

— Сейчас за остров зайдем, может ветер шквальный ударить.

Ватажники стояли у мачт.

— Поглядывай! — крикнул Измайлов, и в это время галиот из-за скал, прикрывающих от ветра, на простор выскочил.

Ветер обрушился на суденышко с такой силой, что галиот чуть на волну не опрокинуло. Измайлов, легкие разрывая, гаркнул паруса переключивать. И ежели бы он не насторожил до того ватажников и, паче чаяния, не так расторопно бросились они команду исполнять — купаться бы ватаге в море. Да только ли купаться?.. Но паруса переложили, и суденышко на волне выровнялось. Пошло дальше.

Шелихов внимательно вглядывался в берег.

На острове, только чуть от галечной отмели отступая, карабкался вверх непроходимый кустарник. Тут и там, из кустарника, выглядывали голые скалы — серые, мрачные, неприступные. словно пальцы корявые из земли этой, чуждедальней, высунувшись, грозили: «Вот мы вам... Идите дальше... Сюда вам дороги нет...»

Судно, поспешая, шло вдоль острова. Мыс за мысом перед глазами открывался. Ровно у борта плескала волна.

И вдруг в шуме этом однообразном, но гораздо приятном для моряка, Шелихов новые звуки различил. Рев будто какой-то, рокот, дальние крики.

Галиот между тем мыс, в море выдавшийся, обходил. Звуки необычные все усиливались.

Шелихов на Измайлова глаза вскинул и заметил, что и тот прислушивается. Измайлов к Григорию Ивановичу повернулся, сказал:

— Зверь морской...

За мысом открылось лежбище.

Берег будто колебался. Так много на берегу скопилось зверя: сивуча, котиковой матки, нерпы... Лежали они от самой волны до крутых скал. Огромные туши двигались, кувыркались, тесня друг друга, возились на камнях. И над всем этим скоплением могучих тел стоял неумолчный, утробный рев. С берега потянуло ветром, и в ноздри ударило острым, ни на что не похожим, запахом лежбища. Пряно пахло рыбой, гниющей морской травой, и все это сильно перебивал особый дух могучего зверя, вольно расположившегося на солнце.

Измайлов приказал паруса убрать. В клюзе загремела якорная цепь. Судно, на волне покачиваясь, остановилось.

Шелихов поднял подзорную трубу. Рядом стоящий Михаил Голиков горячо и быстро зашептал:

— Вот уж зверя-то. Давай к берегу, Григорий Иванович.

Стада этого никто не знал. Бывали здесь люди русские, и не раз, но ни от кого об этом стаде Шелихов не слышал. Сообщали — есть стадо на Командорах, на Тюленьем острове, а об этом и слуху не было.

— Ну, ну, — торопил Михаил.

Шелихов медлил с ответом. Молчал и Измайлов. Голиков же, в фальшборт вцепившись, вот-вот, казалось, прыгнет за борт. Богатство — да еще какое! — лежало на берегу. И надо было только колотушку потяжелее в руки взять и бить направо и налево. Бить и собирать драгоценные шкуры ворохами.

Шелихов прикинул так: «Спустить сейчас ватагу на берег за зверем, потом шкуры мочить надо, мять, выделывать, сушить — времени пройдет много. А «Семион и Анна» у Унолашки ждет. Нет, не до охоты сейчас. Останавливаться нельзя. Зверь еще впереди будет».

— Нет, — сказал, — на остров не пойдем.

— Как?! — изумленно и испуганно воскликнул Михаил. — Вот он, зверь-то. Бери только...

Лицо у него сморщилось, собралось неестественно в кулачок. Губы смялись нехорошо.

— Нет, — еще раз повторил Шелихов. — К Унолашке идти надо. Зверь от нас не уйдет.

— Ну, знаешь, Григорий Иванович. — Михаил кулаки сжал. Жадность его жгла. — Да мимо такого богатства никто не проходил.

— Люди нас ждут, — глянул ему в глаза Григорий Иванович, — разумеешь?!

Голиков на шаг отступил от него и головой затряс. Забормотал слова неразборчивые.

Но Григорий Иванович еще раз повторил, обрезав:

— Нет.

На том разговор и кончился.

6

К Унолашке подходили через несколько дней.

Шли в мороси дождевой, реденьком тумане, но с ветерком. Узлов пять судно делало, поставив брамсели. Туман разлетался под бушпритом, тек над водой. А море все в ряби дождевой. Посмотришь и плечами передернешь: знобко так-то станет. У мужиков лица были бледные, хмурые. Измайлов покрикивал. Бодрил команду.

Остров Унолашка показался слева по борту. Выступил из моря крутой гривой сопок. Прибойная волна толкалась в прибрежные камни, одевала их пеной. К бережку такому не подойдешь. Расшибет. Распорет о камни.

Надо было искать подходящую гавань.

Пошли вокруг острова.

Шелихов беспокойно шарил глазами: где паруса «Симеона и Анны»? Бежал взглядом по волнам, по бухточкам, в остров врезающимся. Но парусов не было.

Ладонью лицо, мокрое от дождя, вытирая, Шелихов все вглядывался и вглядывался в колеблющиеся в тумане очертания острова. Угрюмые берега. Тяжелые скалы. Туман ползет серый по скалам, по кустарнику. Цепляется за ветви. На такую землю человеку не очень-то хочется, хоть он и давно истосковался по берегу. Это как в избу зайти заброшенную. Толкнешь дверь, на ржавых петлях висящую косо, и она застонет, жалуясь, и нехотя сени перед тобой откроет. Полы щелясты, по которым давно никто не ходил, дрязг и мусор в углах, а в лицо пахнет нежилым духом древесной гнили и холодного горького дыма. И дальше, через порог, ступишь только по великой нужде.

А есть избы, что и за версту к ней тянет путника. Дымок над крышей веселый и оконца светят приветливо, как улыбку дарят. Здесь уж ноги сами поспешают.

Так и острова в океане. Есть такие, что навстречу моряку из воды, как праздник встают.

— Земля! — закричат с мачты. — Земля!

И в голосе этом столько ликующей радости, что иной и век, на сухопутье проживя, такого не услышит.

Но есть и иные, к которым судно и из дальнего плавания подходит, а его будто тянут на веревке.

Хмуро и неприветливо взглядывала Унолашка на моряков.

Шелихов осунулся за последние дни, нос вытянулся. Волновался гораздо много.

Вдруг, как в сказке волшебной, за скалой открылась бухта — и широка, и удобна, и защищена от ветра. А бережок за гладью бухты — ну луг прямо-таки российский. Ровный, зеленый, манящий. Избенки только на краю его не торчало, да коровенок с колокольцами на шеях не было видно.

Измайлов повеселел, глядя на лужок тот. Мигнул Шелихову на зеленую травку.

У капитана губы были синие. С ночи стоял на вахте. Сырость проняла до нутра.

Галиот дальше за скалу прошел и здесь — правда, как в сказке — не избенка, не стадо буренок пестрых, а мачты корабельные открылись взору.

— Мачты! — ахнул кто-то на палубе.

Галиот «Симеон и Анна» спокойненько на якоре стоял, в глубине бухты укрывшись от ветра. Паруса убранные на реях чистенько занайтовлены, и флаг российский полощет на корме.

От неожиданности такой Измайлов даже запоздал маневр сделать для входа в бухту. Поперхнулся. Закашлялся. Руками взялся за бока. Но развернули галиот все же и в бухту лихо вошли. Увидели — на стоящем на якорях галиоте засуетились люди. Шелихов разглядел, как на палубу капитан Бочаров выскочил, напяливая треуголку капитанскую на голову, а мужичонка какой-то тощий, длинный, с веревок, между мачт протянутых, стал срывать порты да рубахи. Ватажники с «Трех святителей» узнали его:

— Смотри, Мишка-то Кривой, подштанники рвет!

Мужичка вертлявого, видно, Бочаров пугнул крепким словом, и тот нырнул в низы галиота. И тут дымком с берега потянуло таким знакомым и зовущим, что многие стиснули зубы. В груди защемило. Увидели: за галиотом, на лужку зеленом, костерок горит и над ним висят котлы. По запахам, принесенным ветром, не пустые.

— Ну, — сказал Измайлов, — во второй раз «ура» будем кричать Бочарову?

— А что, — радостно ответил Шелихов, — я готов хотя бы и в десятый, ежели и дальше таким молодцом будет.

И, сорвав шляпу, закрутил ею над головой.

У Измайлова усы от радости стояли торчком. Лицо порозовело.

Через полчаса суда ошвартовались борт о борт, и вся ватага высыпала на берег.

По плечам друг друга мужики похлопывали, в спины кулаками бухали, и уж разговоров было, разговоров — казалось, и не унять. Рады были — так удачно все складывалось.

Шелихов велел костры разводить и вешать котлы. Радость так уж радость. Сказал:

— Съестного припаса не жалеть.

Костры мигом из плавника сложили и навесили котлы. Огонь весело заплясал под котлами. У котлов Наталья Алексеевна засуетилась: там сольцы подбросить, здесь полешко под котел подсунуть или мужичка какого, пробу снять жаждущего, пугнуть. Пенку-то схватить охотнички всегда есть.

Бочаров рассказал, как они, заблудившись в тумане, сутки ждали «Трех святителей», а затем только пошли к островам Алеутским. Но острова обошли не с севера, как «Три святителя», а с юга. Дотошно описал, где и что видели, и сказал, что зверя по южному берегу Унолашки заметили много гораздо. Тут в рассказ встрял Голиков:

— Надо бы байдары на воду поставить и за зверем пойти.

Все о добыче беспокоился.

— Да, зверя взять можно хорошо, — Измайлов его поддерживал.

Ватажники загорелись:

— Это точно. Что там впереди еще будет, а и здесь трюмы набьем доброй рухлядишкой.

Шелихов рта не открывал.

Самойлов сказал, что за зверем людей можно и берегом послать:

— Путь-то недалек.

Взглянул на Григория Ивановича. Тот хмурился. И Самойлов, поняв, что у Шелихова свое на уме, замолчал.

Степан вперед выступил:

— Посылай, Григорий Иванович, я охотников через остров поведу. А то все море да море. Запахом травы дышем, — по лицу его пробежала тень.

Варево поспело. Котлы сняли с огня.

Наталья Алексеевна калью сварила с колбой и мяса от всей души положила. Солонина, правда, в котел пошла, но

свежая, жирная. Калья на славу вышла — душистая, густая, с искристыми кругами светлого жира, плавающего поверху. Так-то давно ватажники не едали. Все всухомятку: сухарь да рыба соленая или мясо сушеное. А тут прямо как в избе своей, у хозяйки — щи с пылу да с жару.

— Э-э-х! — даже вздохнул кто-то. Знать, точно хозяйку вспомнил, щи на стол мечущую рогачом из печи.

Всей ватагой расселись на лужку. Славно так, дружно, весело, с разговорами. И Шелихов, поскучивший было, опять посветлел. И это Самойлов тоже приметил.

Вечером Константин Алексеевич разговор о походе за зверем завел вновь.

Григорий Иванович сидел в каюте при свече. Карту разглядывал. На галиоте никого не было. Ватага у костров вела разговоры. Соскучились по твердой земле. На кораблики и подниматься не хотели.

Самойлов к столу присел и разговор осторожно начал: что-де, мол, правду люди говорят, за зверем идти надо. Григорий Иванович упорно вглядывался в карту. Головы не поднимал. Но Константин Алексеевич тоже упорный был и на своем настаивал. Всяк всегда в свою правду верит и свое довести до конца хочет.

Шелихов неожиданно карту отодвинул и, прямо в глаза портовику старому глядя, молвил:

— Эх, Константин Алексеевич, позже хотел я объявить тебе мысли, годами мной выношенные, но уж раз так пришлось — слушай.

Таил, знать, таил в себе заветное, а вот решился сказать. Видно, время пришло. Всему время приходит. Вот и для Шелихова... Посидел он с минуту, другую, снял пальцами нагар со свечи, чтобы посветлее было, и карту посунул ближе к Самойлову:

— Вот, видишь, земля? — Пальцем очертил острова Алеутские и прибрежные земли матерой Америки. — Все это русскими людьми открыто и описано. Великим трудом это сотворено и жизнью здесь положено русских зело много.

Самойлов взгляд от карты перевел на лицо Шелихова. Лицо у Григория Ивановича осветилось сильным возбуждением. Волновался он, видно было, хотя — как знал Самойлов — чувство это не выказывал даже в опасные минуты. А вот сейчас не сдержал себя. Необыкновенное было у него лицо.

И опять на карту Шелихов посмотрел. Голосом взволнованным продолжил:

— В поход этот собираясь, не мошну набить хотел я

толсто, а державы Российской для тшась. Люди русские, животы свои не жалея, открыли земли сии, а стали ли они России частью неотъемлемой? — Ударил кулаком по карте. — Нет! Ни поселений здесь российских, ни городков тем более, ни портовых каких сооружений. Ни даже флага или знака державы не поставлено: что-де, мол, русская это земля. — И, уж совсем загоревшись, сказал: — Вот и решил я, не щадя себя, закрепить их за державой, а для того основать здесь поселения русские, городки поднять, землепашество завести. Где мужик зерно бросит и злаки хлебные вырастит, та земля уж навек его.

Самойлов с удивлением на Шелихова глядел и молчал. Потом сказал:

— Ну, замахнулся ты, Григорий Иванович... Да такое свершить — одной жизни не хватит.

И, словно прицеливаясь, взглянул на купца и с удовольствием видимым, но и с сомнением одновременно. Есть такой взгляд у людей: хорошо-то, мол, хорошо, но вот потянешь ли ты, что обещаешь?

— Хватит сил, — с уверенностью ответил Шелихов. — Мы начало положим, а там уж тот, кто за нами пойдет, довершит.

Наклонился к Самойлову. И такая вера в глазах у него была, такая надежда звучала в голосе, столько смелости в нем чувствовалось, что Самойлов подумал: «Да, этот многое сотворить может. Такого не остановишь».

— Помнишь, мешки-то, кожей обшитые, грузили мы в Охотске? — спросил Шелихов. — Голиков еще, Иван Ларионович, интересовался: что за мешки-де такие?

— Да, — протянул Самойлов, не понимая еще, о чем сказать хочет Григорий Иванович.

— Отговорился я тогда шуткой, что-де сухари это сладкие. Так вот не сухари это, а хлебное зерно. Рожь, пшеница. И семена разные: репы, огурцов, капусты.

— Ну? — черепом лысым блеснул Самойлов.

— Так вот, как на место прибудем — перво-наперво поля засеем и огороды взращивать станем.

— Огороды?

— Да. И хлеб.

И Самойлов, всю жизнь промаявшийся по артелям охотничьим, по портовым городкам морским, зарабатывавший всегда кусок хлеба горький из чужих рук, вдруг понял, что столкнулся с чем-то высоким, с тем, что не видано было им никогда.

Люди смелости необычной его окружали и риска боль

шого. Такие люди, что ни черта, ни бога не боялись. За край света шли! А все одно за спиной у них было — добычу взять. Добычу! А здесь нет, здесь другое. Не для себя хотел человек, а для всех. И не на словах. Слов-то красивых много говорено и многими. Шепчет иной умильно и глаза мигают от шепотности:

— Полюби ближнего...

А дубину ему дай, так он ближнего-то — при случае — по макушке шмякнет и не охнет. А этот себя не жалел. За горизонт пойти — труд великий. В походе таком, бывало, и из-под ногтей кровь сочилась.

— Да,— протянул Самойлов. Череп лысый потер.— Да...

Шелихов, высказав заветное, у свечи сидел молча и на огонек смотрел. Огонек вверх тянулся узеньким язычком. Свеча оплывала светлыми каплями воска.

В редкие минуты мы видим настоящие лица людей. Почти всегда черты окружающих нас выражают только то, что человек показать хочет. Как в дверь приотворенную видим сени, комнату, стену. Но не весь дом. Лицо Шелихова, как дверь настежь распахнутая, открывала сейчас его до конца. И красивое, чернобровое, твердое лицо это еще красивее стало. Будто высветилось изнутри светом ярким. И столько было в нем притягательной силы, что Самойлов с трудом отвел глаза. Издавна известно, что лица одна лишь мысль красит. А ежели за фасадом пусто, то ты на него хоть флаги навесь, а все едино — глаз не остановят. И чем мысль выше, тем лицо краше.

По лицу Шелихова видно было, что он весь в своих мечтах. И что видятся ему, наверное, за огоньком этим слабеньким раздольное поле хлебное на землях новых, крыши изб, ребятишки белоголовые, возросшие в местах этих чужедальних, но уже родными для них ставших.

— Кхе, кхе,— кашлянул Самойлов.

Шелихов оборотился. Спросил:

— Ну что, Константин Алексеевич, веришь в мечту мою? Аль нет?

Самойлов, прямо не ответив, сказал:

— Большое дело. Трудов немалых стоит это будет...

— А ты-то как? Пойдешь со мной?

— Я пойду,— просто сказал Самойлов. И не добавил, а подумал: «Может, там-то, на землях новых, жизнь совсем по-иному сложится? Лучше, добрее? И мужик, проклиная, что и на свет-то народился, не будет кушак затягивать до станового хребта с голодухи? Может же так быть...»



Великий это обман и великое счастье — надежды людские. Завтра, все завтра. Но не будь надежды, что человеку останется? Падает он под тяжестью нужды, злобы, обид, измен, но поднимается и идет дальше. Верит — завтра будет лучше. А будет ли лучше? Исчезнет ли нужда, утихнет ли злоба, смягчатся ли обиды и покается ли предавший? Но человек верит и этим живет...

— Пойду,— повторил Самойлов,— пойду, Григорий Иванович.

...Вот так вот, однажды увиденная с крутого берега Сейма узенькая дорожка в лугах да померещившиеся на ней в мареве жарком люди в одеждах странных, кони горячие, вдруг услышанные голоса необычные в ветре над рекой, Шелихова Григория, сына купеческого из богом забытого на курской земле Рыльска, привели на дорогу широкую, ведущую в историю.

Но не знал он, что здесь тоже сильные мира сего распоряжаются и судьбы людские вершат. И это их поле. И здесь они определяют, расти ли полыни горькой или злакам добрым, или вовсе пустым оставаться полю. И сила за ними на поле этом есть. В чинах она, в титулах, в связях родственных, что крепче цепей кованых. И трудно, ох, трудно тому, кто на поле это впервые ступит. При удаче чашу вина сладкого поднесут ему, но бывает, что оборачивается вино это горьким и жгучим напитком унижений и обид, разочарований и падений на острые камни.

Не знал Шелихов и того, что будут у него здесь и покровители могущественные и противники всесильные... Еще только-только ступив на землю эту запретную, нашел он уже и друзей, и врагов своих, хотя о том и не думал.

7

Ранним утром, еще и воробьи за окном не зачирикали, Иван Ларионович Голиков услышал, как в дверь бухнули кулаком. Да так, будто вороги в город вломились или пожар случился.

Иван Ларионович шубейку накинул, подштанники подернул, подскочил. Сердце заколотилось. Глянул, а у дверей солдат. Иван Ларионович оконце толкнул, высунулся.

— Ты что,— крикнул со сна голосом севшим,— охальничаешь?

Солдат лицо курносое к нему оборотил. Щеки красные, глаза дерзкие.

— Открывай,— сказал грубо,— депеша.

Ивана Ларионовича робким никто не счел бы, но тут у него ноги обмякли. Пальчиками он в раму вцепился. Переспросил:

— Депеша?

Но солдат отвернул нахальную рожу и вновь кулаками заработал. Доски, на что уж дверь крепкой была, затрещали. Видать, солдат в Иване Ларионовиче не признал хозяина. Лицом скромненький, да и одежда не по купцу. На плече у домашней шубейки прореха и шерсть торчит клочьями. Глаз у солдата зоркий. Все разглядел.

Иван Ларионович шубу поприличнее накиннул, спустился вниз.

В сенях бабка трясучая крестилась у дверей. Шептала:

— Спаси господь, кто это там...

Старик плешивый, холоп комнатный, слабыми руками хватался за засовы железные.

Эти уж и вовсе обмерли.

«Набрали чертей,— подумал Иван Ларионович,— а хозяин сам беспокоиться повинен».

— Вон,— цыкнул, щеками замотав,— прочь ступайте! На лбу вспухла жила злая.

Холопов как сдуло.

Иван Ларионович откинул засов. Брякнуло железо.

Солдат — рожа гладкая: видать, на постое у хозяйки не последним человеком был — грязью заляпанными ботфортами на половики чистые влез нагло. Еще и притопнул каблуками.

— Голикова мне,— гаркнул,— Ивана Ларионовича.

Глазами стрельнул по сторонам.

Сени ничего, теплые были. По стенам сундуки, накидками цветными покрытые. Пахло травами сушеными да полами чистыми, скоблеными. Духовито пахло. Вкусно.

Иван Ларионович развернул депешу. Бумага казенная с орлом в руках хрустнула.

В депеше сказано было, что вызывают его к губернатору. А зачем и для чего — неведомо.

Солдат стоял столбом. С ботфорт на пол скобленный, на половики сползала грязь.

Купец к солдату подступил. Тот многого сказать не мог, но объявил, что к купцам Свешниковым, и Поповым, и Сибиряковым, и Ласточкиным такие же бумаги сегодня разосланы.

Глазами зашнырял, подлец, по сениям.

Иван Ларионович понял, что полтину служивому сунуть надобно, а то и больше истеряешь. Очень уж боек солдат.

«Эх,— подумал,— пожалуй надо хозяина, к которому такого молодца на постой привели. Особливо ежели дочка у него есть или жена молодая».

Сунул от греха полтину, хоть жалко было до слез.

Солдат под треуголку махнул рукой и, еще более, чем прежде, каблуками нахально топая, вышел на крыльцо.

На роже светило: «Легко, легко ты от меня отбился». И еще и другое прочесть можно было: «Мне бы в дом только протиснуться, а уж там я бы насчет молодаек разобрался». Ну, о думке такой догадаться было нетрудно, так как известно, что солдат об одном только и думает и на том стоит.

Гостя незваного счастливо выпроводив, Иван Ларионович к себе пошел и, на лежанку присев, задумался: «К чему бы вызов тот? — И так прикинул и эдак, и решил: — Может, по войне нужной?»

Губернатор давно с иркутянами воевал, настаивая грозно, дабы хозяева домов и усадеб, выходящих на улицу, убрали нужники подальше в глубину своих владений. По весне нечистоты, стекая со дворов, улицы запруживали так, что и не пройти, и не проехать. А уж о благоухании и говорить нечего. В улицах смрад стоял, фонари гасли. И казалось, куда как проще — переведи нечистые постройки на зады, и дело с концом, но иркутяне в бой вступили с губернатором. Нет и нет! При дедах так было, при отцах, так пусть и при нас останется. А ежели кому не нравится, пущай-де пальцами нос зажмет и с богом проходит мимо. На то они, пальцы-то, и дадены.

Иван Ларионович вспомнил лужу, оставленную солдатом в сениях. Поморщился. Сам же велел ночью нужники очистить и на улицу спустить дрязг. Вот и спустили.

Встал с лежанки от огорчения, походил по pokojам и, на икону, в углу висящую, взглянув, обмахнулся крестом.

В кулак покашлял. Сел на лежанку.

Умом раскинув, решил все же: «Навряд ли губернатор из-за такой, прости господи, безделицы себя беспокоить будет. Здесь, должно, иное...»

В этот час в Иркутске не один Иван Ларионович гадал. По многим домам чесали в затылках, ерошили бороды. И шуму, гвалту, лаю было предостаточно. В каждом доме свое:

— Порты, порты, какие даешь, дура! Вон те дай! Не в хлев иду, во дворец!

— Коней, коней выводите. Да вели заложить гнедого. Пущай поглядят.

— Ты бы поел, милый, а то еще и в кутузку посадят. Начальство, оно завсегда свое знает...

В иных домах прочихаться было трудно от табаку китайского, которым пересыпали сундуки. Кафтаны доставали лежалые, праздничные порты.

Торопясь закусывали. Осетринкой там, мясцом холодным, как уж пришлось. Не до жиру. Бабы, конечно, как угорелые носились. Ну да бабе побегать как-то даже в радость. Глаза вытаращит круглые и летит:

— Да что там?

— Да куда там?

— Да для чего такое?

И, как бы испужавшись до смерти, пальцы к губам прижмет:

— Страсть-то, бабоньки...

— И-и-и, милая, и не говори.

А в глазах — веселые искры.

Ну, как ни гадали, ни охали, а пошли по вызову.

Всяк по-своему к губернаторскому дворцу явился. Одни чертом в коляске на рессорах подлетали. На новый манер коляски-то такие. Привезенные из Петербурха. Больших денег стоили, но у купца ежели душа загорится — о каких деньгах речь? Вынь и положь — и все тут!.. На рессорных колясках все больше из новых купчики подлетали. Из тех, что, в кабак придя, дурака ломают:

— Не хочу в дверь идти, руби стену!

И рубили. Деньги-то глаз не имеют. А смотришь — этот-то, для которого портили стену, через неделю-другую в кулак свистит. Легкий народ. У такого вся надежда на фарт. А фарт, что ж? Сегодня подфартило, завтра, послезавтра, но когда-то и голова нужна. Расчет купеческий верный. Вот из коляски-то рессорной и пересаживался такой, фартовый, в телегу, на солому...

Другие, напротив, подъезжали на дедовской двуколке. Крепкая двуколочка, на железном ходу, сработанная из дерева выдержанного. Да еще и так дерево подобрано, что кузовок ясеневый, рама дубовая. Оглобелька легонькая, из березы. Сиденьице на двуколочке с откидным задним щитком. Ось кованая. Любо-дорого проехать на такой двуколочке. Служила она деду, отцу, теперь внуку служит и еще бог знает сколько служить будет. Так вот денежку-то

и наживали. Покупаешь что — за деньгами не стой и бери вещь добрую, сработанную крепко. Она себя оправдывает. Рассуждали так: вещь легонькая, без цены хорошей, только богатому по плечу. Поиграл — да и бросил.

На двуколочках подъезжали люди солидные. Только глянешь — и сразу видно: этот молотком копейку приколачивает к прилавку. И молоточек у него на пудик тянет, а то и поболее.

Третьи подходили своими ногами. Да еще так: вдоль заборчика, вдоль заборчика, незаметненько. И здесь свое выказывалось. Иной, из пугливых этих, мошну имел такую, что какие там двуколки на осях кованых, коляски рессорные, — он карету золотую царскую мог купить, но все одно тянул лазаря: нам-де куда уж до вас-то. Мы и ножками, ножками притопаем. Привыкли уж...

Этот, смиренник, копейку даже не приколачивал, но вгвоздивал прямо в свой гроб. У такого не забалуешь, и сквозь пальцы у него не протечет и песчинка золотая. Головы не поворачивая, затылком видел, где за копейку пятак взять можно. И брал.

Собольями звали таких в Иркутске.

Так-то скажет кто, бороду разгребая дремучую, старовеческую:

— Этот из собольков.

И всем понятно, что за тем стоит.

В гербе сибирской столицы соболь обозначен был за мех свой сказочный: медовый, червлёный, с сединой. Богатство в гербе Иркутска означал он. Но сибиряки знали — богат мех сей, золота дороже, но нет в тайге зверя более хитрого, скрытного, коварного, чем соболь. Особенно из баргузинских, самых редких и дорогих — у которого по спине шелковой, по полю меховому, горящему огнем, черный ремень шел с сединой.

— Соболек, — говаривали. — Не иначе как соболек...

Интереснейшая картина, когда люди, да еще из тех, что побогаче, собираются вместе.

Походка, например. Ну, казалось бы, двигает человек ногами, и все тут. Нет... Двигать-то он, конечно, двигает, но — как?

Вот идет купчик молодой. Скок, скок — так ножки и торопятся: с каблучка на носок, с каблучка на носок. Да еще и сапожки лаковые посверкивают. А что прыгает-то? Да и что за душой у него имеется? Вот эти сапожки лаковые, пожалуй, и все тут. Чего уж скакать-то? Придержи шаг.

А вот ступает юфтовый сапог. Смазной. На всю подошву. Раз, раз, раз... Так и чувствуешь — давит землю. Тяжко ступает, властно. И не захочешь, но отойдешь в сторону. А не отойдешь, так он поднимется и даст пинка. Да еще так, что долго чесаться будешь.

Третий идет... Спотыкается. Поставит ногу, как на плашку узенькую, повисшую над пропастью, обтопчется, тогда только вторую перенесет, и опять, как на плашку, и опять топчется. Здесь уж и слепой скажет: этот навертелся на побегушках. Туда, сюда и обратно — набегался. А теперь по земле ходит и ждет: вот-вот стукнут. Так уж и ногу поставить боится. А поставит, думает: «Вторую двигать али обождать?»

Четвертый идет, пятый... И каждый ногу ставит, как жизнь его сложилась. Смотри только — и увидишь.

Собрались. В зале гул, голоса, шепоты:

— Зачем, Федор Пафнутьевич, думаешь, скликал нас генерал?

— Знамо, не по головке гладить...

— Это уж ведомо. Сколько ни живу, не видал, чтобы генерал да по головке гладил. Все больше — по темечку. Да еще чем потяжелее.

На шептуна покосились. Есть такие. Из тех, что всегда подбодрить рады. Людей любят шибко...

Но все обошлось, к удивлению, миром.

Генерал вышел к купцам, как все генералы выходят: грудь вперед, в лице значительность, и глаз не видно.

Губами генерал наигрывал некую мелодию:

— Трум, трум, тарарум...

Генералы так часто делают. Вот, кажется, нелепица. Народ вокруг, все суетятся, в мыле, а генерал играет губами. Но то, что нелепица это, скажет только глупец.

Вдумайся, коли башка на плечах есть и жить хочешь дальше неголодный. Ты, можно сказать, язык высунул. Затолкали тебя локтями, затыркали, бока трещат, а рядом стоит человек, глазами поверху водит неопределенно и губами наигрывает, как будто бы ничего и не происходит. Как ты о нем решишь? Ежели не дурак вовсе, наверняка скажешь: «Нет, это неспроста. Этот не нам чета». И будь человек тот даже в партикулярном платье, а подумаешь: «Генерал или лицо должностное высокое. Ишь приглядывается». И тут же локти свои подожмешь, а то еще и поклонись.

Опять же, ежели ты не из глупых. Не из тех, которым только перья на хвосте веером распустишь да заорать во

всю дурацкую глотку: «Ку-ка-ре-ку!» А там — как говорено в пословице — хоть и не рассветай. Нет! Поклонится тот, кто вперед смотрит.

И вот что важно. Ну казалось бы,— сложи губы в гузку куриную и дуй в них. Звук обязательно будет. Но... не тот, не генеральский. Ты хоть разорвись, дуя так-то, никто на тебя и не взглянет. А ежели очень уж надрываться будешь, еще и по шее дадут: что, мол-де,— люди терпят, а ты разыгрался... Чтобы при народе на губах выделять штуки, генералом родиться надо. Отметину иметь особую.

В зале прислушались, как его превосходительство изволил губами обозначить губернаторское положение свое, и подтянулись.

Генерал откашлялся и говорить начал о благотворном влиянии торговли на процветание государства. Говорил складно.

Щеки у него по-генеральски, страх всенепременный для процветания государства поддерживая, подрагивали солидно. Подбородок достойно на воротнике мундира, шитого и регалиями украшенного более чем предостаточно, ложился складками.

— Торговля,— говорил генерал многозначительно,— она и есть торговля...

Купцы млели. Ничего более приятного сказать генерал не мог. Прямо масло лил на души. Потом генерал перевел разговор с торговли внутренней на торговлю внешнюю.

Тут особенно Иван Ларионович Голиков насторожился. А с ним и другие купцы, посылающие суда за моря.

Утомившись от речи пространной, Иван Варфоломеевич присел в кресло, поданное специально для него, и мило-стиво ручкой жест сделал указующий правителю дел иркутского и колыванского губернаторства Михаилу Ивановичу Селиванову. Тот выступил вперед.

Этот заговорил о том же предмете, но не в облаках генеральских витая, а ближе к земле.

Сказал о беспорядках и неурядицах в портовых делах, о ненадежном оснащении судов, посылаемых в море купцами, о жадности иных хозяев, что на суда потратиться жалуют и от того жизни мореходов подвергают опасностям.

В зале кое-кто опустил головы.

Селиванов было разгорячился и начал уже купчишек по-настоящему брать за грудки, но, к общей радости, губернатор платочком китайским махнул и прервал правителя своего.

Селиванов отошел в сторону.

Генерал спрятал платочек и опять о благе торговли заговорил. Между другими и имя Шелихова Григория Ивановича назвал и сказал, что экспедиции такие дело зело похвальное.

На том и кончилась аудиенция у губернатора.

Генерал из залы вышел. И тоже приметить следовало, как выходил он. Иной ведь что? Плечиком, плечиком вперед, и ручкой, ручкой при этом юлит, и головкой, головкой кивает. Потом нырь в дверь и — скрылся. Не то — генерал. Он зад свой всем показал. И шел вольно, не спеша, дабы зад тот разглядеть могли явственно.

Купцы вслед генералу посмотрели и, не много поняв из речей его, расходиться стали.

Иван Ларионович, уже выйдя из дворца, сказал своему компаньону Ивану Афанасьевичу Лебедеву-Ласточкину:

— В толк не возьму: вроде бы и говорил дельно генерал, а ничего не сказал.

Пожал плечами.

Иван Афанасьевич тоже был в недоумении.

А резон генерал-губернатор имел свой, собрав купцов. Помнил он, все помнил, что говорено было Федором Федоровичем Рябовым у камина. Но к мнению твердому, на чью сторону стать — то ли тех, что толкали к расширению торговли и освоению новых земель, или тех, что забвению предавали обе эти отрасли, — не решил. И по долгом размышлении пришел к выводу, что ни один из этих стульев не выбирать до времени. Подождать. А пока, дабы ни та, ни другая сторона упрекнуть не могла в бездеятельности, вот и собрал купцов. И речь произнес. Теперь уж все стало на свои места. Ежели сторонники решительных мер вопрос зададут — ответить им куда как легко будет: «Как же, как же, ваше превосходительство. Радеем и живота не жалея. Купцов вот призывали, и много, много говорено было о торговле, и о дальних плаваниях, и о благотворном освоении земель».

Возразить на это будет нечего.

Спросят иные. И то же сказать можно твердо и с уверенностью: «Как же, как же, ваше превосходительство. Никаких действий, а тем более затрат на занятия эти — как-то торговля и мореплаванье — нами не допущено».

И здесь не возразишь

Одним словом, Иван Варфоломеевич истинно по-генеральски решил



Шелихов торопил ватагу. Знал — в людях есть заряд, на действие отмеренный. Как натяжение в тетиве лука. Растратить силы эти нельзя до времени. Не дойдут тогда люди до намеченного места. Натянул лучник звенящую от напряжения жилу и разом бросил стрелу. Вот тогда она, со свистом воздух рассекая, в цель попадет. Но ежели на самую малость спустить тетиву — не лететь далеко стреле. Тут же, в шаге, в двух, в трех — обессиленная — уткнется она в землю.

А ватага до намеченного места еще не дошла. И какая дорога там, впереди, ждала ее — как знать? Оттого и торопил. А все же задержка случилась на острове Унолашка.

За зверем, как ни шумели многие, не пошли. Разговоры были всякие. Рвали глотки. До богатства-то многие охочи. А оно вот, казалось, перед тобой лежит: «Греби, Сеня, двумя руками».

Больше всех в драку лез Голиков. Но Шелихов на своем настоял. Не шумел, не кричал, а тихо-тихо, но линию свою гнул. С Самойловым поговорил, с Измайловым, с Устином из Устюга, да и с другими мужиками, кого в ватаге слушали, и убедил. Нашел слова. Хотя человеку от богатства отказаться, которое он почитай в руках держит, трудно. А на Мишку Голикова — кафтан на себе рвавшего — глянул только, и тот пошел по берегу, посвистывая, камушки шевеля ногами. Посмотреть со стороны, так скажешь: «Плевать молодцу и на Шелихова, да и на других с ним вместе, у него свое, и он за это свое и за ребро схватит. Достанет до живого. Постоит за правду...»

Но Мишка-то был неправ. И пыль в глаза ватаге пускал понапрасну. Его знали. И почему орал — тоже было понятно.

Пузырями исходит такой, зубы скалит, и вокруг все смотрят и дивятся: «Правду-матку не боясь режет». Ликование в толпе и радость. «Такому, — думают, — ни рука, ни слово несправедное не страшны. Он себя хочет выказать». А на него-то — с пузырями на губах — стоящий выше прищурится и пузыри вытрет с губ. Как их и не было. Но пойдет-то, пойдет как: опашень внакидку! Гуляет, скажешь, молодец. Никто ему не указ. Свое, свое он несет. И опять в толпе подумают: «Ну, повезло. Сподобились наконец-то увидеть». А походка-то его — все та же пыль в глаза людские. У него сопли до колена висят, хотя их и не видно. Чаше так бывает. По-другому редко.

Задержались на Унолашке по причине неожиданной. На второй день, как счастливо встретили галиот «Симеон и Анна», Григорий Иванович послал Степана с товарищами осмотреть остров. Думал так: «Пока мы здесь на галиотах кое-что починим да подделаем для дороги дальней, пускай посмотрят да опишут здешние берега, проведаят, какой зверь имеется и птица. Минералы, какие будут, соберут».

Степан ушел с товарищами, но неожиданно, к вечеру, вернулся.

Уходил на байдаре, а возвращался — увидели ватажники — берегом. Байдару тянули бечевой. Увидели и то, что ежели уходил он впятером, то шло по берегу со Степаном человек с десять, а то и более. Брели толпой вдоль прибойной волны.

Добежали до Шелихова. Григорий Иванович поспешил на палубу.

Степан с неизвестными людьми уже совсем близко подошел. Григорий Иванович глянул и увидел, что Степан ведет с собой жителей местных. Лица у них не такие, как у русских были: смуглые, с кожей блестящей. Глаза раскосые, и в скулах куда шире наших.

Григорий Иванович сошел с галиота. Трапик, на берег перекинутый, качнулся под ним пружинисто. Чайки на воде закричали с присвистом. И голоса подходивших гостей неожиданных так же зазвучали непривычно для слуха громко, поражающими ухо сюсюкающими звуками.

Степан выступил вперед. Голову сбычил, сказал:

— Григорий Иванович, к тебе вот... Старейшину, говорят, видеть хотим.

Показал рукой на остановившихся на берегу алеутов.

— Здесь вот два их старших.

Григорий Иванович посмотрел на алеутов. Были они одеты в глухие нераспашные одежды из птичьих шкурок, в длинные камлейки из кишок морского зверя. Шелихов одежды похожие видел у эскимосов и у ительменов. На головах у алеутов — деревянные шапки с козырьками. И одежда, и шапки — пестрые. Красок в них много разных.

Впереди гостей стоял один, более высокий, чем другие, с рыбьей костью в носу и с цветными рисунками на щеках и лбу. Он смело шагнул навстречу Шелихову и, глядя черными, необыкновенно подвижными и живыми глазами, заговорил быстро-быстро.

Кильсей, таежник, подсказал Шелихову:

— Говорит — как и с прежними русами, на острове этом

бывавшими,— хотели бы они обменять меха на ножи и топоры. Обнищали с железным припасом.

Шелихов, прежде чем алеутскому старейшине ответить, спросил Кильсея:

— А на языке-то каком они лопочут?

— Язык у них на эскимосский смахивает.

— А ты откуда эскимосский знаешь?

— Э,— осклабился Кильсей,— да я по тайге бегал и к эскимосам частенько добирался. Так что не сомневайся — толмáчу точно.— Почесал в затылке.— Нами земли эскимосские хожены-перехожены...

Пока Шелихов с таежником словами этими обменивались, старейшина алеутский все взглядывал и взглядывал на Григория Ивановича острыми глазами. И вдруг шагнул вперед и лицом к нему посунулся. Григорий Иванович от неожиданности чуть было назад не качнулся, но улыбку различил на губах у алеута и замер. И хорошо получилось, а то бы все испортил одним движением.

Алеутский старейшина еще ближе к нему подался и носом коснулся носа.

Ватажники вокруг засмеялись. Степан сказал:

— Это он с тобой, Григорий Иванович, побрататься хочет. Обычай у них такой.

Шелихов обхватил алеута за плечи. Почувствовал — крепкий мужик, как литой. Такого не сразу одолеешь.

Сказал, улыбаясь:

— Ну, вот и брат у меня на острове дальнем появился.— Повернулся к ватаге, повеселев.— Что стоите без дела? Котлы вешайте. Гостей по-русски встречать будем.

Алеуты до пищи российской оказались большими любителями. У себя дома — сказывали они — пищу они едят сырую. И мясо и рыбу, но из котла мясо полюбилось им очень. Шелихов все время беспокоился, чтобы куски подкладывали побольше.

Алеуты мясо брали степенно, ко рту подносили с поклоном, и видно было, что довольны они приемом. С лиц смуглых не сходили улыбки.

Алеуты рассказали, какой зверь и где на острове есть, когда они на добычу выходят. Рассказали, что живут в больших землянках, вмещающих человек до ста и более. Огня же в землянках тех не держат.

Во время разговора с галиота к ватаге вышла Наталья Алексеевна.

Алеуты проворно, как один, встали, поклонились ей низко и показали другие знаки почтения.

Кильсей, поговорив со старейшиной, рассказал, что на острове женщину почитают за первую в семье, и она пользуется особым уважением.

Степан, совсем с алеутами обвыкнувшийся, сказал со смехом:

— Вот-вот, а у нас бабу не побьешь — так, скажут, не любишь...

Наталья Алексеевна поднесла алеутам цветные бусы, вызвав у островитян великий восторг.

Тут подкатился Михаил Голиков. Заговорил об обмене шкур. Свое всегда помнил. Нож показал хороший, топоры уральские, добрые.

Старейшина нож взял в руки и долго рассматривал. Языком щелкал: хорош, мол, хорош...

Костры догорали. Да в них уже и нужды не было. Утро поднималось над морем. Потянуло туманом с воды, и чайки закричали.

Утро было хорошее, солнечное, теплое. Море дышало свежестью, сильным и острым запахом водорослей.

Шелихов, долго к алеутам приглядывавшийся, заговорил со старейшиной, чтобы тот отпустил с ними в море, сколько может, своих мужиков. Мол де и путь среди островов они знают, да и помогут ватажникам. Алеуты — по всему видно было — мужики не слабые.

Старейшина заулыбался, сказал:

— Брату готов помощь во всем оказать.

Поднялся от костра и, сняв шапку чуднóю, Григорию Ивановичу передал. Отблагодарил за подарки.

Шапка и вправду была чуднóй. Большая, коробом, и обшита цветными шкурками и птичьими, и мелкого зверя. Расшита богато ворсинками нерпы, перьями, шкурками кожаными.

Но отдал, вправду уж по-царски, старейшина алеутский Шелихова, когда меха привезли для обмена.

На двух спаренных байдарках посылали за мехами к алеутам Степана да Михаила Голикова, наказав, чтобы быстро обернулись, но те пришли только через два дня. Байдары горой нагружены мехами. Шкуры привезли и котовые, и огненной лисы. Мех — как шелк. Выделка самая добрая.

Голиков петухом ходил, только что не кукарекал. С ватажниками пришли десять алеутов. Этих старейшина отрядил с Шелиховым идти в поход. Мужики веселые пришли, сытые, и их уже ватажники по-русски начали учить. Гово-

рили те смешно — в ватаге хохотали на то гораздо — но алеуты оказались людьми понятливыми.

Меха разбирая, Голиков с особой осторожностью достал котовую полсть, шитую так сложно мехом разным, что и понять было трудно, как это люди такую красоту смогли сделать. Швы на мех были наложены столь тонко, что и разглядеть нельзя. Только под мездрой едва угадывался рубчик, но наружу ни одна жилка не выглядывала. Волосок к волоску лежали в шитье, да так, что два сшитых куска казались одним. Только лишь цвет разнился, но то по рисунку было положено.

Много видел рукоделий меховых Шелихов, но такому мастерству искусному поразился искренне.

Полсть эта через время для Шелихова большую службу сослужила, но сейчас, держа ее в руках, он только головой от восхищения покачал. Велел снести полсть на галиот.

Ватажники между тем полезли на ванты. Все было готово к продолжению похода.

## 9

Флотилии предстоял последний переход. К острову Кадьяк. Благополучно прошли с северной на полуденную сторону гряды островов Лисьих, проливом между островами Унимак и Акунь, и до Кадьяка оставалось рукой подать. Но тут-то еще одно испытание выпало на долю ватаги.

Когда проливом шли, ветер был силы такой, что на парусах по два рифа взяли, и все одно галиот бежал так, что пену из-под бушприта забрасывало на палубу. Но все было бы и хорошо, ежели б только не бортовая волна, встретившая галиот, как из пролива вышли. Ветер в лицо, а волны яростные в борта ударили, будто из пушки по галиоту кто палить начал. Судно задрожало, а потом пошло враскачку, да так, что колокол на носу сам по себе зазвонил. Язык колокольный размотался и бил, бил в медь.

Измайлов, пряча в тулупчик от ветра лицо, велел рифы отдать. Надеялся — паруса галиот из воды поднимет и качка поубавится, — но так не вышло. Галиот под полными парусами скорость набрал, а качка только усилилась.

Рифы опять взяли и на гроте и на фоке. Качка не стихала, а галиот уже черпал бортами волну. По палубе вода ходила, доставая до колена.

В шпигатах кружили воронки.

И в самую эту болтанку галиот словно наскочил на камень. Ключнул бушпритом в волну — все, кто был наверху, так и покатались по палубе — и стал заваливаться на бок. Измайлов руками всплеснул, точно лететь собрался, шапку потерял, но устоял на ногах. Заорал срывающимся голосом:

— Всем по местам!

Мужиков от голоса его как подбросило с палубы.

Шелихов, тоже с ног сбитый, метнулся к Измайлову:

— Что случилось?

Галиот лежал бортом на волне. Палуба косогорьем вздыбилась, как во сне нехорошем.

Трофим, стоявший у рулевого колеса, торопливо крестом обмахивался:

— Господи! Спаси и помилуй...

Измайлов на него глянул, и у того рука опустилась.

— Руль держи,— крикнул капитан. На шее у него жилы надулись.

Трофим забыл креститься.

А галиот все больше и больше ложился на левый борт. И вот тут ясно стало, почему не каждый капитаном становится.

— Право руля,— гаркнул Измайлов и дал команду паруса убрать, а по вантам-то и лезть страшно было, мачты над водой нависали. Но Измайлов так заорал, что и самые робкие поползли к клотику.

Галиот, резко курс изменив, направо увалился, и левый борт пошел из воды.

Ватажники мотались по реям. Бледные, бородатые, уса-тые лица между вант мелькали. Над головами небо серое, внизу вода черная, одетая пеной. Рты, наискось разинутые, хрипели:

— Сарынь, что другому смерть,— тебе песня!

Паруса зарифили, и галиот еще больше на киле выровнялся. Судно встало вразрез волне.

Подошел галиот «Симеон и Анна». С борта его начали байдару спускать.

Шелихов подумал, что самое опасное позади. Волна била галиоту под бушприт, но на палубу уже не захлестывала.

— В трюме груз навалило на борт,— сказал Измайлов,— раскачало и навалило.

Измайлов был спокоен, и казалось, что и не он вовсе пять минут орал, как бешеный. Глаза глядели, как всегда, с вызовом. Но ежели бы не он, да голос его иерихонский,

сказать трудно: купалась бы сейчас в море холодном ватага или нет.

— Трюм открыть,— повернулся капитан к ватажникам,— мигом.

Подскочил Степан. Ухватился за кольцо медное. Под армяком спина обозначилась каждой мышцей. Лицо вздулось от натуги. Крякнул и отвалил тяжеленную крышку люка.

В трюм опустили фонарь. Неверный свет вырвал из темноты ящики перевернутые, бочки.

Степан глянул на Шелихова и, не спрашиваясь, полез в темноту.

Измайлов оказался прав. Груз при качке переборку сломал в трюме и посунулся на левый борт. Галиот и повалило. Мешкать нельзя было и часа. Все могло произойти. Ветер навалится, ураган налетит внезапный, и в случае таком судно, много в плавучести потерявшее, на волне не удержится. Галиот бушприт в небо задрал, как руку, тянущуюся за помощью. Но попробуй ухватись за облака-то. Ватажники по палубе ходили, за ванты хватаясь.

— Ты, Силантий, по палубе-то ногами не мельтеши. На зад садись и при, как с горки,— покрикивали.

— Эва, сопли подбери!

Но шутить шутили, а за борт поглядывали с опаской. Да и как не поглядывать? И в безветрии подвижка груза могла усилиться, и галиот никак бы не устоял на киле.

Шелихов дал команду: подвести с заветренной стороны «Симеон и Анну» и ошвартовать борт о борт. Маневр сей сложен, и тут уж только на морское искусство Дмитрия Ивановича Бочарова уповать следовало.

— Галиот как подпорка для нас будет,— сказал Измайлов.

Всю команду «Трех святителей» вызвали на палубу. Мужиков по борту расставили с баграми. Измайлов, гневом налившись, цыкнул, и шутники замолчали. Лица насторожились. «Симеон и Анна», убрав паруса, медленно-медленно с заветренной стороны надвигался. «Толкнет,— подумал Измайлов,— и опрокинет».

Пальцы поджались в ботфортах у него. Лицо осунулось, под скулами желваки проступили так, будто бы он кусок сухой жевал и прожевать не мог.

Галиот подходил все ближе и ближе. У рулевого колеса капитан стоял. Вся фигура Бочарова выдавала напряжение. Руки к спицам колеса — видно было — припаялись накрепко.

Еще ближе галиот подошел. Под бушпритом волна резалась, растекалась вдоль смоленых бортов. На борту уже и швы между плахами стали заметны. Шелихов застыл рядом с Измайловым. Ждал, всей плотью ощущая,— сейчас ударит.

Галиот придвинулся еще ближе. Ватажники подняли багры. У мужика, что всех ближе стоял, видел Шелихов, бороденка вперед подавалась и кадык на шее из воротника выпрыгнул крутой, как кулак. Пальцы мосластые побелели на рукоятке багра.

Еще ближе галиот подошел, еще, и...

Толчка не было. Тюкнули с хрястом багры, и галиот вперед дернуло.

Бочаров по касательной к «Трем святителям» судно подвел и оттого обошлось без удара. Только потянуло «Трех святителей» за «Симеоном и Анной», и суда встали.

— Эх! — выдохнули разом груди.

Единым махом с палубы «Трех святителей» концы подали, и через минуту оба судна стояли в связке.

Измайлов по ляжкам себя хлопнул:

— Молодцы, братцы, — сказал, — молодцы!

Усы растопырил по-тараканьи. Одного мужичка по спине хватил, второго по шее. И уже не зная, как радость выразить, забегал вокруг рулевого колеса.

Судна стояли, как спеленутые. Канаты на кнехтах поскрипывали. Так, в связке, и идти можно бы было. До Кадьяка немного-то и оставалось. Пришвартованный галиот плавучесть «Трех святителей» намного усилил. Но все же решили попробовать уменьшить крен.

Самойлов — мужик опытный — засомневался. Устин походил, поглядел на кнехты, на канаты, суда связывающие, поцыкал сквозь зубы и опасение высказал, как бы кнехты при качке не выдрало.

Измайлов побойчее этих мужиков солидных был и загорячился, достали карту старую трапезниковскую, а там сказано, что у острова Кадьяк, при подходе, течение зело быстрое и опасность для мореходов есть. Он и успокоился, сказал:

— Трюм осмотрим и, ежели возможно, кое-что из груза вытащим. Облегчим галиот, крен, гляди, уменьшится.

Зажгли фонари.

В трюме было наворочено, как ежели бы там черти плясали. Все вперемешку: ящики, мешки, бочки, коробы. Но пригляделись, оно и ничего. Осторожненько да не спеша — многое разобрать можно. И ящичек за ящичком, ме-



шок за мешком, бочку за бочкой из трюма начали вытаскивать.

Груз сразу же переносили на галиот «Симеон и Анна». Мужики бегали так, что бронзовые спины блестели от пота.

Завал Устин со своими молодцами разбирал. Осторожненько мешки да ящики вытягивали из кучи.

Устин с умом за каждый ящичек брался, примериваясь подолгу. Понимал: сделает что не так — быть беде. От него сейчас зависели жизни людские.

Фонарь, качаясь на крюке, освещал его зачугуневшее от напряжения лицо. Глаза щелками узкими, на шее жилы. В голове одно было: посыплется груз и перевернет галиот или борт проломит. И своим помощником он не говорил даже, а шипел:

— Тихо, тихо... Вот так, так... Вытащили... Еще взялись...

А груз тяжело сел. Навалилось коромысло да мешки плотно. И, ощупывая ящички, Устин кряхтел:

— Бери, бери... С угла тяни потихоньку...

Когда поленница рухнет, ну как, кажется, разобрать ее, чтобы дальше завал не пошел? Но одно полешко освободит человек осторожный, другое, — глянь, и разобрал. Дурак, он, конечно, за то полено потянет, которое ближе, и только беды натворит. Спешит: «Давай, давай! Смелее, ребята!» Полешки падают, руки ему бьют. Другие со стороны смотрят и ладошками всплескивают: «Смотри, себя человек не жалеет...» А он свое: «Хватай больше, тащи дальше!..» Ну и завалится гора. Тогда уж и умному не разобратся. В сторону отойди. Дела не будет. Так: шум, крик, суета. Поперву оно, может, и схватит умелец такой кое-что, даже и похвалят его, по головке погладят, сладенького дадут, но поленница все одно рухнет... Так и здесь могло быть, не окажись сноровистого Устина... Да и все прочие были под стать один другому.

...Трюм освободили. Галиот ровно встал на киль. И хотя наломались до дрожи в ногах, но дело сделали. Шелихов с командой сидел на палубе. Уходил — спину огнем жгло. Казалось, не подняться. А рад был, улыбался, но фонарь далеко стоял, и лица Шелихова никто не видел. Да оно и глядеть некому было. Сидели, лапти разбросав и пот вытирая. Ребра ходуном ходили.

Степан, отдышавшись, повернулся к Шелихову:

— Григорий Иванович, ну ты сноровист. Не ожидал я даже...

Тот же наигрался мужик. По три мешка брал на спину. Благо, она у него была широкая.

Шелихов не ответил. Соображал: «Наломаться, конечно, наломались, но дело довести до конца нужно. Перегрузить припас с «Симеона и Анны» и в трюм уложить...»

Чувствовал — канат в бок вдавился, а повернуться не было сил. И руки как ватные. Но встал.

— Поднимайся, — сказал Степану, — поднимайся.

Степан глянул на него и, выдохнув, — эх, где наша не пропадала! — разом вскочил с палубы.

— Фонари, — крикнул, — на ванты! Вставай, ребята!

И опять забегали.

Шелихов шел и каждый шаг считал:

— Раз, два, три...

Мешок давил на плечи неодолимой тяжестью. В висках ломило. Палуба шаталась под ногами, фонари на вантах плясали. «А ведь качки-то нет, — подумал, — нет качки... Не сдюжу я, не сдюжу, упаду».

И еще подумал, что зимовка сказывается. Раньше бы урок этот играючи сделал. А вот сейчас сил поубавилось.

В глаза бросился привалившийся к пушке Мишка Голиков. Рот раскрыт. Воздух хватает, аж грудь прыгает.

«Нет, — подумал Шелихов, — надо сдюжить, надо».

И ногами в палубу вцепился, как когтями. Пошел. Еще шаг и еще... Запнулся было. Ящик на уши полез, углом острым впился в затылок. В глазах поплыла палуба, но подкинул ящик на спине и пошагал дальше. Донес, сбросил. Выпрямился. Рядом Степан остановился. Сказал:

— Ты бы, Григорий Иванович, поберегся.

Утерся рукавом.

— Пошли, — ответил Шелихов и через фальшборт шагнул на палубу «Трех святителей».

Степан, следом ступая, спросил:

— Тебе, Григорий Иванович, за товарища на нож не приходилось лезть?

Шелихов не ответил.

— А полез бы, верю, — сказал неожиданно Степан. — Люб ты сердцу моему казачьему, люб...

Шелихов прыгнул в трюм.

К утру груз с «Симеона и Анны» перетасили. Устюжа не в трюме поставили переборку. Леса не было, но там подрезали, здесь подстругали, в третьем месте подтесали, а все же переборка стояла. Так-то было надежнее.

Люк, придерживая за медное кольцо, Шелихов сам захлопнул. И уж тогда только уперся обеими руками в поясницу, сказал, как простонал:

— Ох, ребята, сейчас поплясать бы...

— Этот же трюм,— сказал Степан,— в Охотске два дня грузили.

— Ну, в Охотске петух не клевал,— улыбнулся Кильсей.— Я вот бегал с мешком и нет-нет а за борт взгляну. Подгоняло...

Засмеялись.

— Ну,— шагнул Шелихов к капитану,— поднимай паруса. Теперь осталось немного.

Оперся спиной о мачту, чувствуя, что сил больше нет. Все. Укатали сивку крутые горки. Ноги дрожали, и он последние силы употребил, дабы дрожь унять, не выказывать стоящим на палубе.

— Я пойду,— сказал,— прилягу, ты разбуди, ежели что. Пошел в каюту.

...Шелихова Измайлов разбудил к вечеру. Тронул за плечо, сказал:

— Вставай, Григорий Иванович. Кадьях виден. Вставай.

Кадьях vyplыл из моря горбатым медведем. В косых лучах заходящего солнца остров был темен и, казалось, опасности таил в себе неведомые.

На волнах качались бесчисленные чайки. Распахивали крылья вслед уходящему солнцу, кричали.

Остров приближался, заслоня горизонт. Глядя на чаек, Шелихов неожиданно спросил у Измайлова:

— Знаешь, как птица сия в полет поднимается?

Измайлов с недоумением взглянул на Шелихова, брови поднял. Ответил неуверенно:

— Крылья размахнет и...

— Нет,— сказал Шелихов,— сначала воздуху полную грудь наберет, а потом уж крыльями размахнет... Так вот теперь я полную грудь воздуха набрал. Чуешь? — толкнул Измайлова в плечо.— Полную грудь.

И засмеялся радостно. Измайлов посмотрел на него и тоже заулыбался.

— Конечно, конечно,— сказал,— конец походу.

Еще при Петре, начатое строительство в Петербурхе здание Двенадцати коллегий, имело столько коридоров, коридорчиков и тупичков, что человеку, впервые попавшему сюда, разобраться в этом лабиринте было весьма трудно. Лесенки мраморные, перильца чугунные, галереи... Швейцарец Доминико Трезине — чопорный, медлительный в движениях человек, построивший здание с аттиками и барочными фронтонами над входами в коллегии, — объяснял обстоятельно, что обилие коридоров и коридорчиков вызвано соединением в единое целое отдельных домин.

Острословы петербургские говорили о сложностях этих архитектурных по-своему. «Пройти Двенадцать коллегий, — зубоскалили, — все одно что пройти круги Дантова ада».

Здание замечательно еще и тем, что при значительной массивности и толщине стен отличалось какой-то промозглой холодностью комнат и залов.

Александр Романович Воронцов зимой 1784 года особенно сильно мерз в своем президентском кабинете Коммерц-коллегии.

В Петербурхе не привыкать было к сырости и холоду, но эту зиму жители столицы запомнили надолго. Непрестанные ветры с Балтики гнали низкие тяжелые тучи, разверзавшиеся над столицей империи то снегом, то холодным, до костей пронизывающим дождем. На садовых решетках, на колоннах дворцов, на многочисленных статуях Летнего сада снег, пропитанный влагой, намерзал толстенными ледяными шубами.

Александр Романович приказал топить камин в своем кабинете постоянно. Человек, воспитанный на английский манер и проведенный немало лет в туманной стране Альбиона, распорядился топить камин обязательно не по-русски — березовыми дровами, но лишь углем. И в отличие от помещений, где камин топили березой, не дававшей дыма, в кабинете Александра Романовича стоял чуть горьковатый, миндальный запах угля. Эта изысканная горчинка была даже приятна английскому носу хозяина.

Но сегодня пламя жаркого угля не согревало Александра Романовича, и он зябко потирал руки у камина. Изреванное глубокими морщинами властное и сильное лицо вельможи морщилось недовольно. Но не только холод досаждал Александру Романовичу. Были и другие, более веские причины.

Размышляя, вельможа покашливал в кулак.

Дела в империи — внешне — складывались благополучно. Турецкая Порта признала завоевания Россией Кубани и Таманского полуострова и отказывалась от притязаний на Крым. Генерал-поручик Ингельстром ввел в Тамань пехоту, и крымскому хану Шагин-Гирею ничего иного не оставалось, как согласиться выехать в Калугу.

По-восточному пестрый караван хана, под плач и причитания многочисленных жен, двинулся в глубь России через бесконечные южные степи по дорогам, проложенным меж седых ковылей. По этой равнине не раз и не два ходили, сея ужас, разорение и смерть, татары Крыма, и вот сейчас он — последний крымский хан — ехал по этой же дороге, но уже как пленник.

Александр Романович, слегка улыбнувшись над брешней всего сущего, взял щипцы и пошевелил угли в камине. Со свойственной ему некоторой книжностью, подумал: «В Крыму дописана еще одна страница истории, начатая Петром Великим».

Бросил щипцы в угольный ящик, вытер руки белоснежным платком.

— Да,— сказал он, по давней привычке выражая некоторые мысли вслух,— все это так...

И откинулся на спинку вывезенного из Англии редкой красоты кресла времен королевы Елизаветы. Темное дерево. Резные морды львов на подлокотниках с загадочными улыбками сфинксов.

Тонкие, холодные пальцы графа с удовлетворением погладили львиные гривы. Воронцов отчетливо представил себе лицо хана Шагин-Гирея, которого везут через степи неторопливые кони. В голове у графа родилась злая мысль: «Наверное, когда человека везут в плен, колеса кареты скрипят по-особенному отвратительно».

И еще раз улыбнулся над суетностью человеческой гордыни.

Но как ни радовали графа успехи на юге, в мыслях его оставалась какая-то неясность. Александр Романович умел видеть на политическом небосклоне не только яркие звезды, но и самые легкие облака. «Победы, победы,— думал граф,— но Порта укрепляет Очаков, подтягивает войска к южным границам империи... Узел здесь еще не разрублен, несмотря на ликующие возгласы петербургских политиков».

Коммерц-коллегия торговлей ведала, но с давних пор известно, что купец идет сразу же за штыками, и ему, графу Воронцову, определиться следовало, какие и куда силы свои

направить. На юге страны будущее на ближайшие годы, как ему представлялось, было весьма шатким. Здесь еще пушкам предстояло говорить, прежде чем зазвенеть на прилавке золоту.

И все больше и больше граф обращал свои взоры к востоку. Великие торговые пути, лежащие через тайгу, виделись ему и угадывались их продолжения, дальше и дальше пролегающие через океан.

Год назад императрица, капризно выпятив нижнюю губку, на вопрос Безбородко об ассигнованиях на развитие торговли и мореплавания на востоке ответила: «Вот еще...»

Тогда же граф Александр Романович сказал себе: «Нет, это не каприз... Не вздорная сиюминутная причуда взбалмошной женщины». Он знал — императрица слишком расчетлива, чтобы позволить себе говорить необдуманное. Экспромты ей были несвойственны. Выдаваемое за них она готовила заранее, с немецкой аккуратностью предусматривая возможные последствия.

Александр Романович хорошо помнил лицо императрицы. Властный подбородок, слишком пристальный для женщины взгляд, капризные, подкрашенные губы. Оно не было ни красивым, ни безобразным, но казалось собранным из многих лиц. В нем были властность и бессилие, воля и изнеженность.

Лицо было полно противоречий, как и сама жизнь Екатерины. И чем больше размышлял Воронцов, тем сильнее убеждался в мысли, что это «вот еще...» было ни больше ни меньше как страхом немецкой принцессы перед громадностью земель восточных. Она правила величайшей державой в мире, но Сибирь и побережье океана Тихого для Софии-Августы-Фредерики Ангальт-Цербской — каковой она была по рождению — всегда оставались страшной, ледяной, не укладывающейся в ее немецкие представления своей необъятностью, загадкой.

С востока — с астраханских, яицких земель — пришли Разин и Пугачев. В кокетливой переписке с Вольтером императрица игриво называла Пугачева маркизом, но он был для нее кошмаром, нависающим над головой. Когда при императрице говорили: «Восток», — у нее суживались глаза и бледнело лицо.

«Нет, — думал граф, — у императрицы трудно получить поддержку в благих начинаниях на востоке... Но...»

Воронцов, отдавая должное ее уму, не любил Екатерину. Причин тому было много. Одна из них — неумеренное любострастие венценосной дамы. В середине нынешнего

года умер очередной фаворит Екатерины — молодой Ланской. В Петербурхе, не скрываясь, говорили:

— Смерть сия последовала от чрезмерного употребления зелья, амурный пыл побуждающего.

Екатерина была безутешна. О каких делах государственных, о каких прожектах великих в такие минуты думать она могла?

Ни понять, ни простить этого Воронцов не хотел. И Екатерина, чувствуя кожей его неприязнь, отвечала ему тем же. Но граф был фигурой слишком крупной и нужной империи — это Екатерина понимала и терпела его.

Воронцов встряхнул колокольчиком на тонкой костяной ручке. В дверях вырос лакей. Александр Романович взглянул на него и сказал с той неопределенной интонацией в голосе, с какой высказывают пришедшее вдруг, но еще не окончательно обдуманное решение:

— Да... да... Пригласи его превосходительство Федора Федоровича Рябова.

Федор Федорович явился незамедлительно.

— Садитесь,— указал ему граф на второе кресло у камина.

Лакей в ожидании приказаний стоял у дверей.

Граф кивнул ему.

Лакей шагнул за порог и бесшумно, но плотно притворил за собой дверь.

То, о чем говорил граф Воронцов со своим помощником, осталось тайной.

## Глава третья

### 1

В Иркутске расцвела черемуха. В два дня деревья заневестившиеся оделись в белый наряд, и город окутало острым, горьковатым запахом, от которого дурели девки и у парней шало вспыхивали глаза.

Иван Ларионович в один из этих беспокойных дней вышел как-то на крыльцо и, оглядев усадьбу, расцветшую под благодатным весенним солнышком, подумал: «Эх, красота-то какая...— Но тут же к делу оборотился в мыслях.— Ну, Гришка скоро объявится».

Однако облетела белой метелью черемуха, а от Шелихова вестей не пришло. Расцвел иван-чай, выкинув розовые богатырские султаны, вспыхнули саранки, закивала яркими головками золотая розга и жарки разгорелись по таежным падам, а вестей о ватажниках, ушедших в море, все не было.

Отгорела, отпыхала весенними красками тайга, кушук колосом подавилась и смолкла, парни отыграли на гармошках, отпели девки в весенних хороводах, а известий так и не приходило.

Начались дожди.

Генерал-губернатор Якоби мужественно продолжал «нужную войну». В доказательство своей непримиримости он появлялся на людях неизменно в облепленных грязью ботфортах.

Но, как это ни удивляло генерала, иркутяне к нечищенной его обуви относились спокойно.

— Оно, конечно,— товар разбирая в лабазе, говорил Иван Ларионович Голиков,— неловко. Генерал, а обувка, прости господи, невесть чем обгажена.— Кивал головой сокрушенно.— Однако, надо сказать,— продолжал, подумав,— вольному воля...

И губы растягивал неопределенно, мял щеки.

Другие так же рассуждали: «И у генералов занятия должны быть».

Дворец губернаторский старались обходить по дальним улицам. У всякого были свои заботы. Иркутск город большой, а торговля дело серьезное. До нужников ли в разе таком. Пусть оно — прости господи за слово плохое — течет себе. Дурак только влезет в это самое, а умный обойдет стороной. Куда торопиться. Да ежели и бежишь — смотри под ноги. Ну, а и попал каблуком там или носком — тоже не страшно. Примета даже старинная есть: во сне приснилось — значит, к деньгам. Народ, он все примечает. Попусту в примету не вставит. «Забота,— говорили,— ишь ты, забота...»

Голикова в эти дни беспокоило одно: шел третий год, как в плаванье отправились корабли под командой Шелихова, а о них ни слуху ни духу.

— Ухнул капитал,— скрипел Голиков,— ухнул...

Слушавшие его с пониманием головами кивали:

— Понятно... Капитал...

— Н-д-а-а...

О людях разговора не было. Дело известное: за море идти — головой рисковать. Знали, на что шли. Переkre-



ститься, конечно, можно, душу помянув. Но пока и этого не делали. Все бывало. И через пять лет люди объявлялись. Втайне Голиков надеялся: «Придут, придут. Гришка башковитый мужик». Но при народе и этого не говорил. Жаловался только. Да и то не очень. Что жаловаться? Время такое, что все с жалобами. Редко человека встретишь, который скажет: «Я доволен». Ждал Иван Ларионович.

Лебедев-Ласточкин оказался более расторопным. Втайне от Ивана Ларионовича ватагу малую снарядил и послал вслед Шелихову. Надежду имел: людей, может, и не найдут, а рухлядишку, ими заготовленную, сыщут. Такое знавали. И даже ватажники для дел этих поганых были особые. Могильщиками их называли. Они в поход, как люди разбойные, ходили могилы разрывать.

Пойдет ватага промышленников, зверя набьет, а сама от цинги или другой какой хворости, а то и просто от голода ляжет. Вот эти могильщики и идут по следу. Бывало, помногу рухлядишки привозили.

Но и лебедевская ватага вернулась ни с чем. Иван Андреевич только крикнул с досады.

Голиков про людишек, Иваном Андреевичем снаряженных, прознал. Закипел, забежал, но губу закусил. И оставился посреди лабаза. За бороду себя взял. Постоял минутку-другую, и в глазках его сереньких, от людей бровями завешенных, вспыхнул огонечек нехороший.

— Ну-ка, милый,— поманил пальцем одного из своих молодцов,— добеги до Лебедева, пригласи чайку попить. Мол де чаек свежий я получил и жду в гости.

Лебедев-Ласточкин пришел.

Иван Ларионович встретил его радушно. Как родного. На крыльце за локоток принял гостя и провел в горницу.

Все предостерегал на ступеньках:

— Здесь ступи да вот лучше здесь, а то и споткнуться можно. Себя повредить... Вот здесь, здесь ножку ставь...

Голос у Голикова был куда как сладкий.

Сели.

На столе самовар фыркал уютно. И парок из клапаночка на крышке самовара — фьют, фьют — выбрасывался фонтанчиками.

Словами ласковыми Голиков Ивана Андреевича о здоровье расспросил. Тот сидел, топорщился, чувствовал: есть что-то у Голикова за пазухой. Мыслишки в голове толклись: почему так ласков?

А Голиков свое:

— От Григория Ивановича-то известий нет. Денежки наши плакали. Как полагаешь? Ты ведь у нас голова.

Лебедев-Ласточкин на слова такие косился с опаской. В пальцах у него подрагивало блюдце с чаем. Отвечал уклончиво.

— Да нет, что уж,— говорил Голиков, глядя на него тусклыми глазами,— наверное, плакали. Думаю вот убытки наши совместные посчитать.

Иван Ларионович ладонью подбородок подпер, да так, что бороденка его сивая из-под пальцев веником вперед выперла и, задравшись вверх, пол-лица закрыла, но, однако, видно было, что губы тонкие его искривились в улыбочке злой. В той самой улыбочке, что появляется на лицах у людей, мысль затаивших недобрую. Но это, приглядевшись только, заметить можно. А так, ежели глаз неприметливый, скажешь: ишь ты, сидит мужик — дурак дураком и бороду веером распустил от дремучей дурости. Что с него взять? Но Иван Андреевич глянул на хозяина и насторожился. Он-то знал Голикова. Смекать начал, зачем позвали его.

— Чего считать,— сказал сокрушенно,— потеряли, так чего уж...

И головой так-то скорбно и смиренно покивал: дела-де, мол, купеческие. Где потеряешь, где найдешь — все во власти божьей. Губы сложил, словно сахару горелого отведаль.

Но Иван Ларионович его не поддержал.

— Нет,— сказал жестко,— давай посчитаем да разделим. Увидим, кто сколько вложил и кому что с потерь тех причитается.

И лицо изменилось у него. Совсем другое стало против прежнего. Сладкие морщинки пропали разом, и складки на лбу легли строгие. Глаза из-под бровей выглянули и из серых да блеклых темными вдруг стали. Рука, мягонько лежавшая на столе, пальцы подобрала в костистый кулак.

— Иван Ларионович,— начал было Лебедев-Ласточкин голосом смирным.

Голиков оскалился, через стол посунулся к Ивану Андреевичу:

— А что же ты вслед Гришке могильщиков послал? Думал, не дознаюсь я? Вот тебе, выкуси! — И, пальцы сложив, фигуру известную Иван Ларионович в лицо Лебедеву-Ласточкину сунул. Ломал, ломал дурака, да вот не сдержался. Кровь-то сказала свое. Нравом горяч был Иван Ларионо-

вич.— За моей спиной,— выкрикнул фистулой,— хотел на житься?!

Лебедев-Ласточкин на стуле осел мешком. Не знал, что про ватагу могильщиков Ивану Ларионовичу ведомо. Закрестился:

— Крест на себя накладываю — и мыслей таких не было. Ватажку малую для промысла послал... А такого, что говоришь, и в голове не держал.— Вспотел весь разом. Лысина порозовела. Достал платок и, лицо да шею вытирая, сказал примирительно: — Чаек у тебя горяч...

— Пстой... Пстой, соколики... О чайке мы потом поговорим,— ответил Голиков.— С тобой, вижу, шутить не след. Считать будем. Я своего капитала в эту экспедицию две части против вашей с Гришкой одной вложил и расходы с тебя взыщу.

— Побойся бога, Иван Ларионович,— взмолился Лебедев-Ласточкин.

У купца губы задрожали.

Голиков перебил Ивана Андреевича:

— А ты почему о боге не вспомнил, когда могильщиков посылал? Я бы речь о расходах не начал, не проведай про подлость твою. Ждал бы, но у тебя терпежу не хватило. Ишь, бойкий какой! Обскакать решил?

Иван Андреевич взъярился. Поднялся из-за стола, чашки, ложки полетели на пол. Лицо перекосилось. Тоже был хват. Свое выгрызть умел. И хоть Голиков над ним высоко стоял, а и он уступить не хотел.

— Ты на меня не ори,— сказал,— расписок и обязательств я о паях не давал. Кто слова твои докажет? Гришка? Так нет его!

Глазами сверкнул. Губы подобрал.

Иван Ларионович разом успокоился. Понял: криком не возьмешь. Смекалистый был купец. Знал: за горло тихо-тихо берут — так, что человек и не чувствует, пока пальцы не сомкнутся. Понял: погорячился. Но силу свою все едино понимал и потому сказал:

— Иди. Мне поверят. Я докажу.

Так вот поговорили купчишки. И уж с крыльца голиковского Ивана Андреевича сводили не под локоток. Сам сбежал, каблуками стуча. И не споткнулся ни разу. Так-то бойко прыгал через ступеньки. Сбежал, глянул на оконца яростно, в пролетку прыгнул. Кучер хлестнул по коням, не мешкая, дабы не получить по шее.

Пролетка со двора съехала, стуча.

Иван Ларионович, хрустя подошвами по битой посуде,

подошел к столу, сел. Пляшущими пальцами огладил растопыренные свирепо седые космы. Не на ярмарку, а с ярмарки ехал купец, а бес-то все толкал в ребра.

На белой скатерти алело пятно от пролитого варенья. Иван Ларионович долго-долго смотрел невидящими глазами на раздавленные ягоды и вдруг протянул руку и ногтем ковырнул сладкую кашицу, как ежели бы впервые видел такую диковину. Вытер палец о штанину и, как лошадь усталая, сказал:

— Дурак купец. А Гришку жаль — хороший малый. Да и Михаил... Жаль...

И покрутил головой. На душе у него было нехорошо, смутно, тоскливо. И больно было за кого-то — не то за себя, не то за Гришку Шелихова, не то за обруганного Ивана Андреевича.

## 2

А купцы Григория Ивановича похоронить поспешили. Благополучно ватага его на дальнем острове Кадьяк жизнь свою строила.

Бухту, названную «Трехсвятительской», не узнать было противу той, как сюда вошли галиоты. Диким был берег в день тот памятный. Камни, кусты непроходимые, пух птичий да гнезда. Человек здесь не угадывался. В валуны у воды волна плескала, как плескала она тысячи и тысячи лет, и в тени камней в воде стояли непуганые саженные рыбины, безбоязненно шевеля плавниками.

Сейчас по-иному выглядела бухта.

Хоть и летнее, но свежее утро просыпалось над островом. Из-за сопок солнце глянуло, и море запарило. Поползли над пологими, тихими волнами клочья утреннего тумана. На отмелях чайки закричали, и первая, сорвавшаяся со скал, понеслась над бухтой, сверкая крыльями.

Солнце поднялось еще выше, и взгляду открылось побережье. В гору поднятая от прибойной полосы, стояла над бухтой крепостица, желтея крепкой сосновой стеной в две, а то и в две с половиной сажени. По четырем углам — башни с бойницами. На главных воротах, тоже сбитых из целых стволов сосновых, на ветру полоскался флаг Российской империи. Перед крепостицей — ров. Неглубок, да и не так чтобы широк, но все же не перепрыгнешь. Одним словом — крепостица небольшая, но вид — грозный. При нужде в ней отсидеться можно и от неприятеля из тех, что посильнее. Сосна вековая надежна была. Такая и ядро выдержит.

За стеной добрые избы все из той же сосны, склады провиантские и мехового товара. В окошках избыных слюда посверкивала на солнце. Из труб дымок полз и наносило хлебным духом. Слюду эту, между прочим, Самойлов из Охотска прихватил. Тоже, видать, далеко смотрел, хозяйственный был мужик. Григорий Иванович уж и не знал, как хвалить его. Но тот отмолчался. Только и сказал:

— Чего уж там... Я темноты в избах не люблю. Да и сырость от темноты зело большая.

На том разговор у них и кончился, а слюда вот в оконцах поблескивала и вид особый избам придавала. Ну прямо тебе не зимовья какого захудалого срубы, а дома, что ни охотским, ни даже иркутским не уступят. Сразу видно: люди не на время, а надолго ставили их.

На берегу бухты о причал хороший били волны. Причал тоже из сосны со слезами смолы, вспыхивающими под солнцем. У причала все три галиота, что из Охотска в поход вышли. Догнал-таки «Святой Михаил» ватагу. Пришел на Кадьяк.

Но самая большая гордость Григория Ивановича — за крепостицей, к сопкам ближе: огороды. Грядки, как у хозяина самого старательного. И земля вскопана добро, проборонена — пух, не земля. Ни комочка, ни камушка. Так-то и в деревеньке где ни есть в курском, липецком, рязанском краю не часто встретишь. Глянешь и скажешь: «Да, серьезные здесь мужики живут. И корни пустили глубоко. На зимовье временном так не пахут».

А в огороде — и репа, и лук, и капуста. Мешочки с сухарями сладкими вот и объявились. Урожай на острове был дивный. Репа с ведро хорошее вырастала, кочаны капустные с бочонки добрые. Солнце здесь было какое-то особое. И растения гнало из земли по российским понятиям неведомо споро.

Еще дальше за крепостицу — поле ржи. И рожь высокая, с колосом хорошим. Так и ложится колос под ветром, к земле клонится, отливает живым блеском. А в руки колос возьмешь, вышелушишь на ладонь зерно, а оно тяжелое, полное, крупное. Сердце радуется.

Чуть поодаль свинарник немалый и хлев для коз. Вот так-то. Все, что задумал Григорий Иванович, сделал. И плаху в три сажени врыли у причала. Плаха на века, в два обхвата. Уголком крыша над плахой сбита. А на дереве, тесанном гладко, вырубili и выжгли: «Сия земля Российской империи владение».

Лесину для плахи издалека, из сопok приволокли

Еле дотащили. Ставили плаху тоже не просто. Не так: кол вбили да отошли. Нет. Здесь тоже Григорий Иванович распорядился по-особому. Понимал: дело это особой торжественности требует.

Вся ватага вышла на берег. Капитаны галиотов в мундирах, при шпагах. Шелихов в становом кафтане малиновом, что ни есть самого лучшего сукна. Наталья Алексеевна хранила кафтан сей на самый торжественный случай.

Стояли у плахи, головы подняв высоко. Лица взволнованные. Самойлов спросил Шелихова:

— Ну как, доволен, Григорий Иванович?

Тот не ответил, но глаза его сказали больше, чем голосом можно было бы выразить.

На галиотах ударили пушки. Толпа закричала, зашумела.

— Ура! Ура! — понеслось над островом.

Праздник в ватаге был великий. Сколько по пути ни терпели бед, как ни мучились на долгой зимовке, сколько страху ни набрались в штормы да ураганы, а дошли и свое сказали. Разве не в этом счастье человеческое: свое сказать? И чего уж в случае таком не порадоваться? Шуму было, шуму... И все на крепостицу поглядывали:

— Хороша! Эх, хороша!

Крепостицы такие же поставили на соседнем острове Афогнаке и при Кенайской губе. Тоже из сосны и также с башнями, лемехом крытыми, с избами и для жилья, и для припасов. При каждой крепостице причал и на берегу обязательный знак о принадлежности земель Российской империи.

Нагородили много, но намечали и дальше крепостицы ставить и земли украшать посевами огородными и хлебными. Замыслы были смелые.

Всего этого ни ввек ватаге не сработать, ежели бы Григорий Иванович не приохотил к работе здешних жителей.

Еще на Унолашке приметил, что мужики они крепкие. А взяв с собой десять человек на борт, уверился, что и расторопны и понятливы. То, что морское дело разумели с первого слова, не диво было — всю жизнь люди на воде. Но показали алеуты себя добро и в строительном деле. К языку русскому охоту имели большую, и через самое малое время многие из них уже вовсю лопотали по-русски.

Но здесь, на Кадьяке, не в пример отношениям, добро

сложившимся на Унолашке с алеутами, знакомство началось дракой.

Как только лагерем в бухте расположились, на пришельцев напали коняги, называемые так местные обитатели.

Бой был жестокий. Лагерь стрелами засыпали напавшие, и конец бы всей ватаге пришел, не окажи она мужество. Отбивались, как придется. Уже и в рукопашную схватились. Степан дубиной ворочал — под руку подвернулась с немалое бревнышко, а коняги стеной ломают. На одного ватажника с десятков, а то и более нападающих. Уже и в лагерь ворвались.

Шелихов на галиот кинулся и ударил из пушки. Увидел: там, где упало ядро, — брызнули осколки камней. Торопясь, сунул в ствол картуз с порохом, толкнул пыж, вкатил ядро и ударил во второй раз. Пушка грянула и с «Симеона и Анны»...

Коняги рассеялись.

Шелихов с галиота сошел и сел тут же у трапа на камень. В ушах звон стоял от грохота пушечного. Подошли Самойлов, Измайлов, Устин. Шелихов поднял на них глаза. Измайлов, еще горячий после боя, сказал первым:

— Трех наших ранили стрелами. Но ничего, отойдут мужики. — Заторопился. — Прогнать надо бы коняг в глубь острова. Больше острастки будет.

И дернулся бежать было, но Шелихов остановил.

— Постой, — сказал устало, — не надо.

Григорий Иванович голову опустил и носком сапога камушки ворошил: будто нашел там что-то диковинное. Помолчали.

Тут же рядом, на берегу, Тимофей обмывал окровавленное лицо. Шелихов оборотился к нему, взглянул внимательно. Тимофею лоб расшибли неведомо чем, и из раны кровь обильно текла. Тимофей плескал и плескал в лицо воду горстями. С пальцев падали алые капли. Сильно мужика зашибли, видать. И кровь не так просто было остановить. Почувствовав взгляд, на него устремленный, Тимофей вдруг к Шелихову лицо оборотил, и Григорий Иванович глаза кровью залитые увидел, и его будто бы кто пальцами жесткими за самое сердце взял и сдавил без жалости. Шелихов головой дернул и отвернулся от Тимофея.

Устин смиренно перекрестился:

— Слава богу, отбились от нечестивых.

Григорий Иванович, пока на Тимофея глядел, подумал:

«Дракой ничего не достигнешь» Знал: здесь, на островах, много пострадали ватажники в прошлые времена от нападения коняг. Племя это было воинственное и острова оберегало от пришельцев крепко. Прогнали приставшее лет десять назад к мысу Агаехталику судно Холодиловской компании, позже изгнали оттуда же компании Пановых судно, пришедшее под командой штурмана Очередины. А Очередин отчаянный мужик, которому смелости было не занимать. Прогнали корабли Потапа Зайкова. Этот — знал хорошо Григорий Иванович — тоже не из трусливых был. «Надо,— решил,— что-то измыслить. Не для драки я привел людей сюда».

— Ну,— усами зашевелил Измайлов, торопя,— что делать-то станем?

— Покличь-ка Степана, пускай придет.

Измайлов поспешил в развороченный лагерь. С берега видны были расшвырянные костры, валяющиеся котлы, мешки и коробья разбросанные.

Шелихов повернулся к Устину:

— Со Степаном вместе,— сказал,— двигайте с миром к конягам. Товар возьмите для подарков, какой из лучших. С вами снарядим алеутов. Они к конягам поближе и, даст бог, помогут вам договориться. Кильсея не забудь. Он мужик проворный, да и язык алеутский знает. Как хочешь крутись, а договоритесь с ними и приведите сюда старейшин. Дело это сейчас наиважнейшее. От этого, может быть, зависит все наше житье здесь.

И не сказал, но подумал: «Ежели мира с конягами не найдем, мечтам не сбыться».

Устин, видно, понял его мысли. Хмыкнул в бороду, шапку до глаз надвинул и, лицом посерьезнев, ответил:

— Не сомневайся, Григорий Иванович. Все сделаем.

Устин привел старейшин коняжских. Хасхаками их называли. Мужики все здоровенные, с лицами свирепо раскрашенными. Пришли они в лагерь отрядом — с копьями, луками — и ни на шаг друг от друга не отступали. Стояли, будто ожидали нападения. Глаза недоверчивые.

Подошел Шелихов, остановился шагах в десяти от враждебно насторожившихся коняг. Глянул на стоявшего впереди хасхака, полагать можно было — старшего. И тот глаза поднял на Григория Ивановича из-под насупленных бровей. В глазах не было добра. Злые и смотрят без страха. В одной руке лук, в другой стрела. И вдруг он оскалился,



вскрикнул и, отступив назад, стрелу наложил на лук. Сейчас, казалось, в грудь Шелихову ударит. Среди ватажников произошло волнение. Двое или трое вперед было бросились, но Григорий Иванович руку поднял.

— Пойдите,— воскликнул и так спокоен и уверен был, что коняг и вправду лук опустил. Шелихов еще ближе шагнул к хасхакам.— У нас есть стрелы огненные,— сказал, в упор на старшего глядя,— и такие, что камни дробят.

Кильсей, толмачивший слова Шелихова, выступил вперед. Коняги на него глаза оборотили, и лишь старший, что из лука хотел было стрельнуть в грудь Шелихову, взгляда от Григория Ивановича не отвел. И глаза по-прежнему горели у него недобро.

До того, как конягам прийти, Шелихов велел в камне большом, лежавшем у воды, канавку пробить поглубже. В канавку порох засыпали и к пороху пристроили замок от ружья. К замку веревку протянули в лагерь. Ногой на веревку наступи — и замок ружейный высечет искру.

— О стрелах огненных,— спросил Григорий Иванович у Кильсея,— сказал?

— Сказал.

— Так вот втолкуй еще, что стрел этих у нас много, но мы не для драки сюда пришли, а торговать с миром и земли эти, в забросе лежащие, украсить. Ну, а ежели нет...

Шелихов дождался, пока Кильсей перетолмачил слова его, и наступил на веревку. На берегу грохнул взрыв. Плеснул огонь, и громадный камень подняло в воздух, и он на глазах у пораженных хасхаков раскололся на части. Взрыв был такой силы, что коняги присели, а многие и копыта побросали, луки выпустили из рук. Там, где мгновение назад лежал камень замшелый, только дым пороховой клубился, да медленно-медленно оседала пыль, поднятая разрывом.

Шелихов повернулся к хасхакам, сказал:

— Для мира мы пришли, а не для драки.

Старший из хасхаков первым, ловко, как кошка, с земли вскочил, поднял лук.

И стоял опять прямо и настороженно, лишь опасливо в сторону расколотого камня поглядывая. Но глаза, как и прежде, поблескивали недобро.

Шелихов еще ближе подступил, в лицо ему вглядываясь. В голове мысль толкалась: «Напугать-то их напугал, но вот к миру доброму навряд ли подвинул. А страх — помощник в деле таком ненадежный. На стра-

хе многого не построишь. Страх пройдет. Что-то другое надобно, но что?»

Над головами пролетела низко чайка, хлопая крыльями. Шелихов глаза поднял и проводил ее взглядом. А в голове все одно ворошилось: «Что делать-то? Что делать...»

И тут, от чайки взор отведя, Шелихов увидел стоящих чуть поодаль алеутов, привезенных с Унолашки. Те стояли вместе с ватажниками и хотя выделялись лицами и одеждой, но уверенно можно было сказать, что они с ватагой составляют единое целое. Лица озабоченные, глаза насто-роженные, руки, оружие сжимавшие, говорили: одна с ватагой их сейчас обнимает забота. И без гадания ясно было: заварись сейчас драка, они с ватажниками в стенке пойдут.

Шелихова, глядевшего на алеутов, мысль прожгла: «Вот они-то, мужики эти, и есть мост к миру с конягами». Григорий Иванович Кильсею уверенно кивнул, обретя надежду новую:

— Толмачь гораздо.— Задумался на мгновение и сказал твердо: — Вот перед вами наши друзья.— Показал рукой на алеутов.— Их старейшина — мой брат породненный. Когда мы на Унолашке были, алеуты на нас с копьями да луками не бросились, но пришли с предложением обменять меха, которыми они богаты, на железный товар, нами привезенный в избытке.

Старший из хасхаков, к Кильсею оборотясь, внимательно его слушал, взглядывая через плечо на Шелихова. Длинные черные волосы хасхака отдувало ветром. Взгляд по-прежнему был нехорош, но то, что слушал он внимательно, убеждало Григория Ивановича: слова его отзвук находят в душе хасхака. Не каждому дано чувствовать, какое слово человеком принимается, а какое нет. Какое слово добро сеет, а какое зло. И часто люди обижают друг друга и не желая того, но лишь потому, что сердца их не чувствуют ни боли, ни радости в сердце другого. Глухой стеной отгорожены они от стоящих рядом. И слова их как в стену бьются. Плохие ли слова, хорошие, нежные, грустные, веселые — без разницы. Но Григорий Иванович видел, какое слово человеком принимается и дошло ли оно до сердца. Оттого говорить ему было легко с людьми.

— И не стрелами мы обменялись, а подарками,— сказал он и чуть приметно, так что немногие и заметили, кивнул Наталье Алексеевне. Та тихо-тихо отошла от ватаги. Только подол платья цветного мотнулся между мужичьих серых армяков.— И не поле бранное для встречи мы вы-



брали, но сели к костру и пищу разделили,— продолжил Григорий Иванович и Устину сделал знак. Тот поняливо глазом моргнул и, не мешкая, кинулся в лагерь. Два молодца, поспешая, пошагали за ним. Сообразительный был мужик Устин, два раза одно и то же говорить ему не приходилось.

Кильсей лоб морщил, речь Шелихова толмача. И где слов не хватало, что-то руками показывал и нет-нет — к алеутам обращался. Те соглашались, да и сами вступили в разговор. Засвистели птичьими голосами, подступили ближе к конягам. Лица разгорячились.

— Вишь, Миша,— сказал ватажник в драной шапке,— наши-то тутошних понимают.

— Эх, лапоть,— ответил Миша,— живут-то рядом. Знамо, им легче.

— Ты-то соседскую жену тоже, видать, понимал,— хохотнули в толпе,— через плетень-то не лазил ли, когда сосед в отлучке?

— Придержи язык,— окрысился первый, но вокруг уже засмеялись и смех покатился по берегу.

Кильсей недоуменно оглянулся на хохотавших ватажников, но смех был так заразителен, что он и сам засмеялся, а за ним и алеуты заулыбались.

Мужик, что смеха причиной стал, крутился посреди толпы, как будто его и впрямь на соседском плетне схватили за полу.

— Чяво, чяво всколготились,— тарашил глаза,— пасти раззявили... Гы... гы... Смешно-то как... Ишь разбирает...

Глядя на него, мужики еще пуще ржали. Коняги смотрели, смотрели на хохочущую толпу, и случилось то, чего Шелихов и не ждал, но желал всей душой. Улыбкой вдруг осветилось лицо одного из коняг, потом другого, и дольше всех крепившийся старший из хасхаков, неожиданно по-добрел глазами, а затем и у него губы дрогнули и растянулись в улыбке.

У галиотов закричали:

— Расступись, расступись!

— Дорогу, дорогу дай!

Ватажники расступились, и к конягам вышла Наталья Алексеевна. Спина прямая, платье красное, на голове кика рогатая, в руках блюдо медное, чищенное. На подносе бусы стеклянные яркие горой. Бусы — известно было — любимое украшение алеутов и коняг. Подошла Наталья Алексеевна степенно, остановилась рядом с Шелиховым и поклонилась конягам достойно. На лице у нее улыбка

приятная, глаза сияют приветом. И не захочешь, а улыбнешься в ответ и поклонись. И каким бы ты человеком ни был, с каких бы далеких островов ни вышел, а только, глянув, скажешь или подумаешь: «Вот баба — так баба. Для любого человека счастье».

Григорий Иванович бусы вязками с подноса брал и щедро хасхаков одаривал со словами ласковыми. А к старшему из хасхаков подойдя, отдал и блюдо, горящее нестерпимым блеском. Увидел — глаза у него сверкнули добро.

Тут Устин подлетел.

— Все готово, — сказал, — котлы кипят. — Рожка у него в саже — старался уж, видно, очень, — но довольная. — В лучшем виде, — шепнул Григорию Ивановичу, — все представили.

Хасхаков повели к кострам.

Все, чем только богата ватага была, Устин с молодцами разложил у костра. Тут и мясо вяленое, что сохраняли для хорошего случая, и рыба соленая, и морошка, голубица, брусника из последних запасов и самые лучшие из тех, что оставались, сухари рыжей горюшкой. В котлах, булькая, варилась солонина с колбой, и дух шел от котлов крепкий, чесночный, аж слюна во рту набегала.

— Садитесь, гости дорогие, — сказал Григорий Иванович и широко рукой повел, приглашая...

Через два дня Самойлов толкал поутру Григория Ивановича:

— Вставай, вставай! Ну же, ну...

Добудиться было трудно. Накануне разгружали галиоты и начертоломились до последней крайности. Григорий Иванович сильно ноги побил на прибрежных камнях и сейчас только мычал во сне, но не просыпался. Тянул на себя меховую полость.

Самойлов, обозлясь, потрянул его всерьез:

— Вставай же, вставай!

Тот повернулся на бок, сбросил ноги с рундука. Волосы на голове торчали колом. Со сна спросил хрипло:

— Чего тебе?

— Выйди, посмотри — какие к нам гости.

В каюте было темновато. В оконце бортовое, забранное слюдой, под частой решеткой, едва пробивался свет.

Шелихов башкой помотал, встал. Охнул. Потер щиколотки, морщась.

— Что еще за гости? — ответил недовольно, но пошел вслед за Самойловым из кубрика.

Вышли на палубу. В глаза ударило поднимающееся из-за моря солнце. Плеснуло в лица утренним знобким ветром. Галиот чуть покачивало на волне. День обещал быть ветреным. Шелихов встряхнулся, как собака, всем телом и уже бойко застучал каблуками по влажной от росы и тумана палубе.

— Что за гости? — переспросил озабоченно.

— Увидишь, — неопределенно ответил Самойлов, пряча улыбку в поднятом воротнике.

Шелихов вытянул шею. Увидел на берегу яркие одежды коняг, смуглые лица. Народу у схода стояло с полсотни — не меньше. Шелихов озабоченно оглянулся на Самойлова, но тот по-прежнему помалкивал. Только губы морщил.

Шелихов сбежал на галечный берег. Навстречу шагнул знакомый хасхак. Залопотал что-то непонятное. Из-за плеча его посунулся Кильсей. Сказал, шурясь довольно:

— Вот, Григорий Иванович, детишек своих привели.

— Детишек? — переспросил Шелихов удивленно и увидел, что за хасхаком жмутся на берегу десятка два подростков. Глазенки в узких разрезах бойкие, белозубые ребята, плотные. — Зачем детишки-то? — с недоумением спросил снова. — На кой ляд они нам?

Хасхак зататорил что-то быстро-быстро.

Кильсей тоже заспешил, перетолмачивая его:

— Так у них заведено. Ежели в дружбе с нами состоять будут, то детишки их — аманатами здесь таких называют — у нас жить повинны.

Григорий Иванович оглядел ребятшек и вдруг подхватил одного на руки. Подкинул вверх. Тот засмеялся, показал зубенки. Закрутил головой на тонюсенькой шее. Григорий Иванович поставил мальчика на гальку, заглянул в лицо с любопытством. Глаза мальчика смотрели смело и весело.

Вокруг стояли ватажники и с интересом разглядывали коняжских мальчишек. А кто-то уж из рукава и рыбу вяленую им совал: на, мол, на, попробуй нашей рыбки.

— Смотри, — говорил Устин, — берет. Молодец. Грызи ее, грызи.

Голос у него был умильный и рожа радостная.

— Ребята, — перебил его другой из ватажников, — а хлопчики-то ладные, совсем как наши.

— А что ты думал, они из другого теста? — возразил третий. — Бабы небось рожают.

И видно было, что соскучились мужики по бабам, да и по ребятишкам загрустили. На лицах — думка. А оно и верно — задумаешься: третий год в семьях не были. Легко ли?

Шелихов мальчонку и так и этак за плечи повернул, ушипнул за щеку, сказал, обращаясь к Самойлову:

— А ведь это зело здорово, что они ребятишек к нам привели. Учить их будем языку русскому, грамматике, счету и делу морскому. Мальцы эти через три-четыре года нашей опорой будут. — И как это у него всегда было — загорелся мыслью этой, даже лицо раскраснелось. Нос морщился. — А? Согласен? Тебя да Измайлова, Бочарова с Олесовым определим их наукам учить. Так и сделаем, — еще больше заторопился, — посмотришь — дело выйдет замечательное.

И опять подхватил мальчонку и высоко подкинул вверх. Тот завизжал от удовольствия.

Коняги смотрели на Шелихова, улыбаясь. Щерили зубы. Ватажники заголтели разом:

— Смышленные мальцы...

— Хлопчики хорошие...

С этого дня коняги к русской ватаге прибились крепко. Недалеко от ватажьего стана, в соседней бухте, стойбище устроили. И не было дня, чтобы в русское поселение не приходили. Придут, встанут, смотрят. В узких разрезах глаза интересом наливались. Многие им очень уж любопытно было.

«Вжик, вжик», — пила поет, ствол добрый на плахи разваливая, и коняги языками щелкают, пилу осторожно, как чудо неведомое, пальцами трогают. Плахи готовые разглядывают с изумлением.

У них, чтобы плаху выделать, требовались годы. Железным скребком плаху от ствола отделяли. Канавку в стволе пробьет коняг и скоблит день за днем, месяц за месяцем. Плахи ценились у них пуще драгоценного меха. А тут на тебе: полосу железную люди за рукоятки водят, и она хищными зубами вгрызается в дерево, опилки летят, и оглянуться не успеешь — отваливается плаха. Да ровная, гладкая, во всю длину ствола срезанная. Это ли не диво?

Коняги сядут вокруг на корточки и по-своему переговариваются:

— Сю-сю, сю-сю...

Качают головами. Водят пальцами по сложному рисунку дерева, пересыпают из ладони в ладонь пахучие опилки. И опять свое:

— Сю-сю, сю-сю...

В глазах удивление великое и даже страх.

Кое-кто наладился было их гнать: что-де, мол, сидят глаза паят. И как-де понять еще, хорош ли глаз этот? Сомневались мужики.

Но на таких свои же и шикали:

— Молчи, дура, ежели не разумеешь. Эти люди нам еще великой помощью станут.

Об этом же изо дня в день Шелихов сам говорил, и мужики из тех, что умом поострей, его хорошо понимали.

То там, то здесь, видел Григорий Иванович, к конягам Степан присядет, Устин, Кильсей или кто другой. Толкуют. Что-то показывают: топор ли, рубанок, пилу или какой иной инструмент.

Смеются.

Исподволь коняги к работе приохотились и уже вместе с ватажниками и лес валить ходили, и сплавляли его, и землю копали, и клали избы и стены крепостицы. А на охоте так и не сыщешь их лучше. Шелихов уж и отряжал за зверем ватажки в два-три своих работных да в два-три десятка коняг. Добычу честно делили. За этим Григорий Иванович сам следил. А зверя брали так много, что к построенному поперву обширному амбару для мехов пришлось дважды прирубы делать. Меха были из лучших. С плотной мездрой, высоким, густым ворсом, редкой красоты окраски и блеска. Богатые меха, те, что на большой земле шли за самую лучшую цену. Такой мех и носок необыкновенно, и легок, хотя ты и пальцем подшерсток не разберешь. Плотен подшерсток, волосок к волоску стоит. Не проковыряешь.

Голиков, шкуру песцовую потряхивая на руке, дул в мех, говорил, блестя глазами:

— А? Григорий Иванович... Золото, чистое золото.

Разговаривали в амбаре. Рядами вдоль стен висели шкуры. На что ватажники к мехам привычны были, а и то зайдет в амбар иной, глянет и изумится:

— Смотри, братцы, что наворочали.

Да оно и не странно. Такого и в самых богатых иркутских амбарах не увидишь, а они славятся на всю Россию.

Григорий Иванович слушал Голикова вполуха. Поглядывал в прорубное оконце.



Шла к концу вторая зимовка на Кадьяке. В оконце ветер поросил снегом. Подвывал протяжно. А снег — жесткий, колючий. Нехороший снег. В нем и нога вязнет, как в болотине, и лица он охотникам режет до крови, выхлестывает глаза.

Мимо амбара с двумя бадьями шел ватажник. Скользил лаптями по наледи. Полы армяка зло рвал ветер. Лица мужика не разобрать. Но видно было и по спине — здоровенный шагал человек. С бадей сбивало пар, сваливало вниз.

«В свинарник, наверное, — подумал Шелихов, — пошло тянет».

Мужик шагнет — остановится, опять шагнет раз-другой и вновь бадьи поставит на обледелую тропку. Согнет плечи, стоит, дышит тяжело. Под армяком бока ходят.

Слабели здоровьем ватажники, и это больше всего беспокоило Григория Ивановича. Казалось, и мяса у ватаги достаточно, и рыба есть. Но вот с овощами прогадали. Надо было побольше заготовить, а так хватило только до половины зимы. Уж Григорий Иванович не знал, как и ругать себя. Но ватажники на огороды смотрели как на баловство, и Шелихов переломить этого не смог. А вона как овощи-то показали себя. Пока была капуста квашеная, репа да брюква, морковь — не один ватажник не болел, а как кончились запасы — ватажники начали таять.

Шелихов приглядывался: что местные-то люди едят? Почему их хворь не берет? Ели вроде все то же — рыбу да мясо. И то впроголодь, ежели охота или рыбалка не удавалась. Ели, правда, и рыбу и мясо сырыми. Но русскому-то человеку сырая эта пища и в горло не шла. От нужды, бывало, конечно, на охоте мужик и поест сырого. А так каждый день кого заставишь? Да и нужно ли было заставлять? Кто знал.

По избам между тем уже несколько мужиков лежали пластом. Шелихов велел силой поднимать. Мужики поднимались, но, смотришь, — тот присел у избы на сугроб, посерев лицом, другой к стене приткнулся, третий вроде и ногами двигает, но как неживой.

Ему говорят:

— Давай, ходи веселей.

А он, бледными губами шевеля, еле-еле ответит:

— Оставьте, братцы, я присяду... Силов нет...

И, как куль с тряпками, опустится где придется.

— Посижу чуток, — скажет, — посижу...

И ты такого хоть толкай, хоть бей. Не поднимется.

Голиков все бубнил что-то за спиной, выхваляя мех. Но слов, что говорил он, не слышал Григорий Иванович.

Мужик на тропинке в который уже раз поставил свою ношу на снег и вдруг, ступив неловко в сторону, повалился на бок. Ударился головой о ледяную кочку. Вытянулся.

Григорий Иванович метнулся к двери. Слетел с крыльца, стуча каблуками. Заскрипел по снегу.

Мужик лежал лицом вниз, бросив ноги поперек тропы. Шелихов ухватил его за плечи и перевернул на спину. Охнул от неожиданности. На тропе лежал Степан. Круглое казачье лицо его было белым, зубы сжаты, глаза закрыты.

— Ничего, очухается, — наклоняясь к лежащему, сказал Голиков, — очухается.

Григорий Иванович тряхнул Степана. У того голова безвольно закинулась.

— Степан, Степан, — позвал Шелихов.

Черпнул горсть снега и начал с силой растирать лицо. Снег таял под руками.

Степан застонал и повернулся на бок. Уперся в ледяной наст, начал подниматься. Пальцы скользили по ледяным коростам. В лице ни кровинки.

Шелихов подхватил его под руку. Но Степан разжал зубы, сказал слабо:

— Я сам... Сам... — И поднялся. Стоял, шатаясь. — Вот, — сказал, кривя губы, — бадьи не донес... — Говорил, словно удивлялся своей слабости. — Но ничего, донесу...

Подхватил бадьи и пошел, качаясь. Упрямый мужик был.

3

Пара вороных по Петербурху карету катила. Кони хоть куда: хорошей были породы, подбористые, на высоких, точеных бабках. Идут — снег из-под копыт ошметьями, и дикие глаза косят на прохожих: зашибу! Чиновник какой, что, в шинель нос уткнув, прет со службы пешим и гривенника не имея на извозчика, или кухарка в просиженной юбке, мотавшаяся за ситником, увидев пару эту, с мостовой, как ветром сдунутые, сигали в сугробы. Иные вслед кулаком грозили: ишь ты, лихой какой, власть бы надо на тебя употребить! Другие, напротив, с завистью поглядывали: вот пара, мне бы ее! Но эти — из молодых больше. Из тех, что мечты еще в худосочном, туманном, больном

Петербург не растеряли. У этих все впереди, а пока ходи, играй, твое придет!..

Будочники при виде пары груди из бараньих тулупов выкатывали. Алебарды стремили вверх. Поди знай, кой черт летит на конях сумасшедших. А то еще и беды не оберешься. Лучше уж грудь выкатить да глаза вытаращить старательно, авось и похвалят. И таращились, бороды вперед выставляя.

Карета тоже не из последних. На рессорах высоких, с лакированными щитками над колесами, верх кожаный и ступеньки медные, откидные — дабы хозяину сходить на землю удобно было.

За стеклом кареты угадывался неясный профиль человека в богатой шубе.

Карету ту зрели и на Лиговке, и на Морской, на Гороховской, на Литейном, на Мещанской... И хотя кучер не гнал коней, но видно было, что хозяин поспешает и время ему дорого. И у домов не из лучших, и у дворцов блестящих кучер соскакивал с козел бойко, лесенку для хозяина устроенную отбрасывал и лихо отворял дверцу. Так не проситель подъезжает, а лишь тот, кто уверен, что встречен будет и принят с почтением.

У Строгановского дворца карета остановилась, когда серый петербургский денек догорал чахлым закатом над Невой. Краснели блеклые краски за тучами, и неясно было — не то они сейчас вовсе погаснут, не то нальются светом и высветят запорошенные крыши и обгаженные вороньем кресты на церковных куполах. С неба сеялась мокрая изморось, и зажженные фонари были окружены тусклыми ореолами. Двое или трое зевак — как это всегда бывает в Петербурге — остановившись чуть поодаль от дворца, оборотили серые лица к карете. Смотрели выжидательно. Что зевакам до седока в карете, что седоку до зевак, но вот ведь странно: стоит остановиться карете побогаче — люди столбами вытянутся, носы уставят любопытные. Отчего бы такое? Ну да Петербург свои странности имеет...

Кучер соскочил с высоких козел в слякотную снежную жижу и, неслышно бормоча ругательства сквозь зубы (в такую-то погоду угораздило барину плутать по городу), прошлепал к дверце. Захолодавшими на ветру руками откинул ступеньку.

С широкого подъезда — не разбирая дороги, по лужам — сбежали бойкие молодцы в синих, длиннополых армяках и бросились помогать седоку сойти на землю.

Но тот на них взглянул строго и сошел сам. Седоком оказался Федор Федорович Рябов.

Холопы согнулись у кареты, кося глазами на барина.

Федор Федорович легко взбежал по ступеням подъезда, и двери дворца перед ним распахнулись широко. На лице у Рябова, переступавшего через порог богатейшего петербургского дома, была почтительность.

Строгановы вели свой род от крещеного татарина Спиридона, который якобы ввел на Руси деревянные счеты. Татарин сей был ловок, оборотист и преуспел в торговом деле. Однако переусердствовал в стараниях и в одну из поездок на восток попал в руки к своим соплеменникам, а те «застрогали» его до смерти. Отсюда и пошла фамилия Строгановы.

Потомки Спиридона оказались не лыком шиты и дело предка успешно продолжили. Иоаникий Федорович — внук Спиридона — выбился в толстосумы. И этого уже не строга-ли, а он сам кого хочешь застрогать мог. Завладел богатыми промыслами на Пермской земле, и, не в пример легендарному и неудачливому Анике-воину, чье имя служило обозначением слабости и бессилия, его имя произносили с уважением и страхом.

По дороге, указанной Аникой-купцом, ходко пошли сыновья — Яков и Григорий. Эти заручились грамотой царевой, которая позволяла им воевать земли уральские и держать дружину с «вогняным нарядом». Дальше — больше. Семен Строганов сколотил ватагу под руку Ермаку Тимофеевичу — Сибирь покорить. В деле этом, как известно, атаман сложил голову. Но атаман атаманом, а Строгановы и тут успели и на Сибирь руку положили крепко...

Вот в какой дом вступал Федор Федорович.

На руки лакея чиновник сбросил шубу и, мельком взглянув в зеркало и поправив пальчиком бровь, на которую дождинка неосторожная упала, проследовал в глубину дворцовых покоев. Каблуки его уверенно простучали по паркету.

Хозяина дворца в Петербурхе не было. Отбыл недавно в уральские свои вотчины. Федора Федоровича принимал главный управляющий, с лицом каменно неподвижным, дородный мужчина, хорошо представлявший цену дома, которому служил.

Федора Федоровича встретил он стоя и мягким жестом указал на кресла в уютном углу, вдали от окон, из которых могло бы невзначай продуть гостя сырым петербургским сквознячком.

Есть такие лица, на которые сколько ни смотри — не увидишь, о чем думает человек, чем недоволен или, напротив, рад чему. Трудно утверждать, чтобы обладатели лиц таких были наделены особыми добродетелями или качествами исключительными, но определенно сказать можно — говорить с ними нелегко. Однако Федор Федорович не испытывал видимых трудностей. Голос его, как всегда, был ровен, глаза уверенно взглядывали на собеседника, а руки спокойно лежали на коленях, не выдавая ни волнения, ни беспокойства.

Федор Федорович больше спрашивал, управляющий же отвечал, но видно было, что отвечал без охоты. Мало, видно, интересовал его вопрос, с которым пожаловал чиновник. Оно и правда: не во всякий дом войдя, найдешь слова, которые бы хозяев взволновали. И давно примечено, чем богаче дом — слов таких меньше. Из-под нищей крыши на крик — караул, братцы, караул! — еще, быть может, и выбегут, а вот из-за дверей дворцовых как-то не помнится, чтобы уж очень бегали. Караула, правда, Федор Федорович не кричал, однако заметил холодок в хозяине. Тут же улыбнулся тонко и заговорил о таком предмете, что и мало-подвижное лицо управляющего разом изменилось и даже зарделось, к полной неожиданности, румянцем.

Как дирижер с тонким и изощренным слухом, вдруг уловив в многоголосом оркестре, что медь труб слишком заликовала или, напротив, чересчур скрипки загрузили, единым взмахом снимет ненужный оттенок звучания, так и Федор Федорович, румянец излишний разглядев, двумя-тремя словами изменил направление разговора и довел его до нужного итога. Впрочем, разговор этот продолжался не долее бесед, которых множество провел Федор Федорович в эти дни.

Чиновник поднялся со стула и поклонился почтительно, но с достоинством. Мера почтительности и достоинства в поклоне или в разговоре любом — не всем дается. Нет весов, на которых измерить сии изящные движения можно бы было, и оттого иной то по-дурацки, когда и не требуется, в ноги бухнется, то, напротив, как взнузданный жеребец, голову вскинет и каблуками, словно копытами, забьет. Конфуз один выходит. Люди на него глаза от удивления пялят, а он еще пуще того меру тонкую переступает. И невдомек такому, что дурак дураком в мнении окружающих выглядит.

Не таков Федор Федорович. Голову он склонил и, кивнув коротко, не то чтобы с улыбкой, но и не без того, вышел.

Главный управляющий до самого подъезда его проводил и, руку пожимая, сказал:

— Непременно все будет исполнено.

Шубу накинув, Федор Федорович еще раз свою воспитанность показал. Не торчал столбом, как бывает со многими у дверей при прощании, не сучил ногами, не мямлил слов ненужных, но, шаркнув подошвой крепкого башмака, кивнул и вышел.

На том и расстались.

Федор Федорович сел в карету, и кучер отпустил вожжи. Кони шибко взяли с места.

Уже вовсе в темноте карета остановилась у скромного домика на Лиговке. Федор Федорович прошел к дверям и рукоятью трости стукнул в потемневшую резную филенку. Дверь тут же отворилась.

Слуга суетливо отступил в сторону.

В темноватой прихожей, освещенной единственной свечой в прозеленевшем шандале, Федора Федоровича ждал хозяин, в старом, но хорошо отутюженном мундире.

Хозяин еще и рта не раскрыл, но по бледным, узким, словно закушенным, губам его, по сухости в фигуре и особой механичности в жестах можно было с уверенностью сказать, что человек он не русский, а скорее всего, немец, из тех ученых немцев, каких в Петербурхе всегда предостаточно.

Словно в подтверждение этого Федор Федорович обратился к хозяину по-немецки.

Они прошли в небольшую комнатку, — как все комнаты в немецком доме, убранную с особой тщательностью и с обязательными фарфоровыми безделушками, расставленными тут и там, — и продолжили разговор.

В разговоре этом несколько раз было упомянуто слово «коллекция».

Как и во дворце роскошном Строгановых, Федор Федорович у немца ученого не задержался долго. Со свечой в руке немец проводил его до кареты. Было видно, что оба остались довольны разговором.

В третий раз карета остановилась на Морской.

— Слава Иисусу Христу во веки веков, — смиренно молвил Федор Федорович, входя в дом и крестясь в угол на едва освещающие огоньки лампад.

— Аминь, — ответил сильным баском хозяин в поповской рясе.

Огоньки под лампадами качнулись.

Поп оказался словоохотливым. Говорил он с видимым

удовольствием, показывая ровные, белые зубы. Но Федор Федорович, вроде бы и не прерывая его, ввел разговор в нужное ему русло.

В разговоре этом был назван город Тобольск.

Шурша шелковой богатой рясой, поп проводил гостя. Когда дверь за чиновником закрылась, поп согнал с пышных щек улыбку и крепко взялся рукой за бороду. Лицо его было озабоченно.

Напротив, Федор Федорович, сидя в темноте поспешавшей кареты, улыбался удовлетворенно.

За несколько дней беспрестанных поездок по Петербурху у него лицо заметно осунулось и тени под глазами легли, но он знал, что усилия, предпринятые им, небезуспешны.

За окном кареты мел улицы сумасшедший ветер с Невы, толкал в спины прохожих, кружил в свете фонарей снежные хлопья. Лихое время в Петербурхе — ранняя весна, и не приведи господи остаться в эту пору без надежной крыши над головой.

— Берегись, берегись! — покрикивал кучер, но ветер мял слова, и слышно было только:

«Гись, гись, гись!»

4

Иван Ларионович, повздорив с компаньоном и пообещав шкуру с него содрать, обиды своей не забыл. Не тот был человек, чтобы слова на ветер бросать. И в один из дней, шапчонку надев какую похуже да шубенку драненькую, отправился в присутственное место.

Первое твердо знал Иван Ларионович — мушка чем меньше, тем кусает злей. И не к начальствующим лицам высоким постучался, а в присутственное место придя и незаметненько остановившись, долго-долго к тем чиновным приглядывался, что по углам сидят, да еще и по углам из самых темных.

С валеночек у Ивана Ларионовича лужица натекла на пол, и он, от того будто бы смутившись, совсем уж под стеночку прибился и стоял скромно.

Под сводами тяжким угаром свечным пованивало, прелью сырой.

Вокруг шастал разный народ. И из тех, что в присутственное место входят громогласно, шагают широко и непременно сразу к самому главному. И такие, что тенью колеблющейся вползают, или иные, что войдут и станут

посредине, рот разинув, не зная, не то направо идти, не то налево, а может быть, лучше и вовсе повернуть оглобли назад.

И первые, и вторые, и третьи, знал Иван Ларионович, едва вступив в присутственное место, уже попали в проигрыш.

Первых, кто дуром прет, освежают начальники главные, как тушу баранью, до самых костей. Оно, может, и дело такой выиграет грошовое, а потеряет рубль.

Вторые, крадущиеся тенью по стенам, общипаны будут начальниками пониже, ну а о деле и говорить не приходится. Перышки-то с него оберет начальничек какой, а потом пасть разинет:

— А ты кто таков? А зачем сюда? А ежели тряхнуть тебя, каков ты будешь перед законом?

А зубы у начальничка крупные, частые, и сразу видно — такой укусит и больное место будет саднить долго.

— Нет, уж лучше, — скажет пугливый, — бог с ним, с делом. Сдам-ка я назад. Так-то покойнее.

Третий же, из тех, что глаза тарашит и не знает куда идти, вовсе напрасно пришел в суд. Пока глазами моргать будет, задержают его, затормошат, завертят, закружат. Глядь — карманы вывернуты. А все сидят за столами покойненько и перьями скрипят. Никто и лика не поднимет. Делом заняты. От каждого сильно пахнет пирогом с луком. Экие скромники, скажешь, им ли карманы выворачивать? Недоразуменьице произошло, ошибочка.

Начальство высокое, зная повадки судебные, скромникам этим сирым и жалованье поменьше, чем в других канцеляриях, назначает. А то, ежели им еще и деньги хорошие платить, они и вовсе с жиру с людей мясо клочьями рвать будут. Может, даже и такое случится, что и за старших примутся. И потому мера эта начальством соблюдается строго: дать поменьше. Судебные и так возьмут.

Постояв тихонечко в тени, Иван Ларионович выбрал лицо для себя нужное. В углу самом дальнем, на сквозняке у дверей, сидел чиновничек неприметный. Лицо мелкое, глазки цвета бутылочного, плечики узкие, мундиришко в обтяжку и, видно, даже под мышками жмет.

Все приметы были в строку.

Лицо мелкое, а крупного-то и не надо. Знамо, муха мелкая на что способна. Глаза цвета бутылочного — тоже о многом говорили.

Тихо-тихо — и половичка не скрипнула — Иван Ларионович к такому вот и подошел. Разговор начал туманно.



Дескать, шумновато в месте присутственном, голосов много, топотни бездельной, суеты ненужной.

Чиновник слушал молча, с лицом скучливым, глаза в неопределенность устремив. И непонятно было — не то видит он просителя, не то не видит или вовсе в минуту сию воспарил в высоты государственные, смертным недоступные, и там, в далях заоблачных, с самыми главными общается, судьбы людские взвешивая. Взгляд такой, небожительный, только чиновникам присущ, и ни кому иному — будь ты даже семи пядей во лбу — постичь его не дано. И что еще примечательно. Лицо-то у чиновника мелкое, но в разговоре вдруг морщинки многотумные на него легли. Ну, прямо Цицерон! Не иначе.

Чиновник не столб, но обойти его на Руси трудно. Ох, трудно, чтобы он хвост тебе не прищемил. Ты в одну сторону, а он за тобой, ты в другую — и он там, в третью кинешься, но он извернется и достигнет тебя...

Другого Иван Ларионович и не ждал от лица, им выбранного. Больше того — солидность такая в чиновнике ему все больше и больше нравилась.

Когда же устало моргнули веки чиновничьи, Иван Ларионович ближе подступил. Мол де неплохо от шума присутственного посидеть вдали. Рядком да тишком. Отдохновение, мол, для души тишина мест, ублаговотворяющих человека. И прямо так назвал одну их этих приятнейших пристаней: ряд обжорный.

Чиновник издал некий звук носовой, утробный. Другой из посетителей, может быть, и не понял бы значение звука или истолковал неправильно, но Иван Ларионович тут же поднялся со стульчика и смиренно пошагал к выходу. Дверь за собой прикрыл и, чуть отойдя в сторону, остановился у деревца.

И самого малого времени не прошло, на ступеньки места присутственного вышел известный чиновник. Глазами по небу пошарил и как бы невзначай, именно к тому деревцу, где Иван Ларионович стоял, неторопливо подался. Тут Иван Ларионович и возник как из-под земли. Под локоток чиновника придержал, и они тихохонько к месту, обозначенному в разговоре, устремили шаг.

Немало в Иркутске замечательных мест и заведений было, где человек во всю широту души развернуться мог.

Были трактиры, где все «по-столичному»: столы скатертями голландскими накрыты, и половые в портах снежной белизны, рубахах белых, подвязанных шелковым поясом с заткнутым за него лопаточником. Здесь подавали селянку

рыбную и селянку мясную, селянку из почек и селянку из свиных ушей. Подавали осетрину и белугу, жареного поросенка и телятину, налимяю печенку и костяные мозги в черном масле. Любому вкусу угодить мог хозяин и самому прихотливому купцу потрафить.

Были трактиры попроще. Где стоял общий каток, и на нем что пожирнее да поплотнее: щековина, сомовина, свинина. Тут каленые яйца и калачи, ситнички подовые на отрубях, шаньги и гороховый кисель. И конечно же, и в дорогом трактире, и в самом что ни на есть из захудалых — пельмени сибирские. И тоже на любой вкус — и с рыбой, и с мясом, и с дичиной, и с нежнейшей телятиной, для вкуса особого смешанной и с бараниной, и со свиной, и даже птичьим мясом приправленные.

Были и такие кабацки, где хозяин за стойкой стоит перекур себе шире, а под ногой у него тайный рычаг. Придет старатель из тайги с золотишком в кабак. У стойки выпьет рюмку, другую. Обмякнет. На дворе вьюга, ни зги не видно. Хозяин на рычаг и надавит. Пол под старателем разверзнется, и он охнуть не успеет, как в лоб ему пудовой кувалдой стукнут в подполе. И отпрыгал свое человек. Карманы и тайные похоронки его руки быстрые обшарят, а тело мертвое спустят в Ангару. Благо в Ангаре течение быстрое и лед на реке толст, от глаз людских надежно спрячет зашибленного.

Иван Ларионович выбрал кабацку самую что ни на есть тишайшую. Хозяину моргнул и в комнатку отдельную провел чиновника судебного. Половой захлопотал вокруг стола и в миг единый нанес и жареного, и пареного, и рыбного, и мясного. И хотя Иван Ларионович вина не употреблял, но и бутылочка немалая на столе появилась. Известное дело, какой уж разговор с лицом должностным без вина. Оскоромился купец, знаменем крестным мысленно себя осенив. И тут уж начал разговор. Мол де ошельмован и ограблен компаньоном среди бела дня. Просит помощи и в долгу перед защитником не останется.

5

— А это куда? — спросила Наталья Алексеевна, подняв камень, отливающий на изломе желтым.

— Сюда, сюда, — ткнул пальцем Григорий Иванович в одну из ячеек стоящей на полу корзины. Взглянул на жену.

Наталья Алексеевна, казалось, светилась вся — так была рада, что вот-вот домой. И суежилась, суежилась, чтобы

только побыстрее уложиться и на галиот. Скрывала радость эту, скрывала и то, что спешит собраться, но глаза и торопливость, с которой укладывалась, выдавали ее с головой.

Корзина, на полу стоявшая, сплетена была хитро: как соты пчелиные. Кильсей постарался. Григорий Иванович только намекнул, какую корзину ему надобно, а через день уже Кильсей ее и сработал.

Спросил:

— Такую хотел, Иванович?

Шелихов оглядел корзину, обрадовался:

— Вот молодец. Руки у тебя золотые.

Кильсей только хмыкнул в ответ.

В корзине, в каждой ячее, как яичко в гнездышке, лежали сколы медной руды, точильного, известкового камня, слюда, найденная на островах и на самой матерой земле Америки, хрусталь, глина хорошая.

Все это собрали ватажники, ходившие по всему американскому побережью, достигая уже и сорокового градуса. Строго-настрого Григорий Иванович наказывал, каждый раз работных в поход снаряжая, спрашивать с запискою, где что есть в недрах земных, так же как и о звере или же птице, деревьях, кустарниках или травах. Требовал аккуратную опись вести американского берега, больших и малых островов, которые встретятся. Наказывал описывать бухты, реки, гавани, мысы, лайды, рифы, камни, видимые из воды, свойства и вид лесов и лугов на землях новых.

Кое-кто из мужиков противился: зачем-де это? Чесали в затылках. Но большинство ватажников мореходами давними были и понимали, что опись такая — дело наиважнейшее для промысла морского, и работу выполняли тщательно.

Вот камни многих смущали. Сомневались мужики. Камень — он и есть камень. Его где хочешь набросано предостаточно. Но Григорий Иванович на своем стоял твердо: по цвету, по виду, по весу необычные камни собирать и ему показывать. Объяснял:

— Мы здесь такого наворочаем, ежели руды себя выкажут.

Ватажники поначалу, правда, робели: вот-де, мол, нашел. Не видывал такого раньше... И выложит мужик камешек, другой, порывшись за пазухой. А потом по мешку притаскивали, да еще и спорили:

— Таких не было. Ты взгляни.

Горячились.

Не один десяток корзин Кильсей сплел, и все они были

забиты образцами углей каменных и руд, обнаруженных ватажниками.

Долгими часами Григорий Иванович гнул над столом, записывая, где и когда были найдены сии камни, сколь обширны залежи руд, каковы подходы к месторождениям.

Плавал фитилек в тюленьем жиру, перо скрипело, в стену толкался недовольно ветер, наваливался на дверь, завывал в трубе. А Григорий Иванович все гнул над столом. Откладывая перо, брал камни, подносил к чадающему огоньку. Щурил глаза.

На изломах камни вспыхивали цветными искрами, светили ярче пламени жирового светильника, играли гранями вкрапленных в породу кристаллов. Строчками через камни тянулись цветные прожилки, вились затейливой вязью. И, в эти причудливые письма вглядываясь, Григорий Иванович задумывался глубоко — о прошлом или же о будущем рассказывают они? Верил: строчки говорят о днях завтрашних.

Откладывал камень, тер глаза устало и вновь склонялся над бумагой. Лицо у него серое было, щеки запали, под глазами легли тени нехорошие. Что ж, и сивку крутые горки укатывают. А здесь горки и впрямь круты. Чего уж говорить.

Однажды, вот так вот сидя у плавающего фитилька, Григорий Иванович неожиданно почувствовал, что его будто толкнули в грудь. Это было так неожиданно, что он выронил камень, и тот с глухим стуком упал на пол. Покатился. Григорий Иванович вцепился в край стола и едва удержался на стуле. Острая боль рвала грудь, как ежели бы злые руки впились в ребра и, запустив когти, кромсали, терзали, раздирали тело на куски. Упал грудью на стол. В глазах метнулся желтый огонек фитилька и закрыл собой все. Из опрокинувшейся чернильницы выплеснулась черная струйка, побежала по разлетевшимся бумагам.

Шелихов лежал, уткнувшись в крышку стола, словно от яркого света плотно смежив глаза. Слышно было, как пощелкивает в печи огонь да тяжело падают на пол капли чернил.

«Кап, кап, кап», — будто бил молот.

Сколько длилось забытие, он не знал. Увидел только плавающий в тюленьем жиру фитилек и почувствовал, что все лицо мокро и одежда липнет к телу.

Отстранился от стола и поднес ладонь ко лбу. На руке, казалось, висит пудовая гиря.

Григорий Иванович откинулся на спинку стула. Рвущей

боли в груди не было, но саднило под горлом тупо, сжимало, сосало сладкой немощью. С трудом держась за крышку стола, поднялся, шагнул по щелястым доскам к выходу. Навалился плечом и отодрал дверь от обледенелого косяка.

В лицо пахнуло морозным паром. Притворил за собой дверь и тяжело сел на замеченное снегом крыльцо.

— Ах ты... Будь ты неладно,— выговорил слабым голосом и спиной навалился на перильца.

Ловил открытым ртом студеной воздух. В глазах плыли радужные круги.

— Ух,— перевел дух Шелихов и парку меховую на груди запахнул.

Почувствовал: мороз холодит мокрое от пота тело. Огляделся.

Крепостица спала, и ни в одном оконце не видно было ни огонька. Меж дворов гулял ветер, катил понизу снегом.

«Цинга? — подумал Григорий Иванович, но тут же сказал себе:— Нет, это другое».

Сидел, тер грудь ладонью. Саднящая боль как будто бы уходила. А ветер все катил и катил поземку, навевал сугробы. Мертвая выюга разыгрывалась над Кадьяком. Страшная выюга. Это не тот бешеный порыв ветра, что завертит, закрутит, закружит снежные сполохи, рванет вершины деревьев, прижмет к земле кусты, попляшет на дорогах, да и, глядишь, стихнет через час-другой. Нет. Здесь все по-иному. И ветер вроде не силен, да и не видно пляшущих столбов снеговых, не гнутся деревья, не ложатся кусты, но с одинаковой силой, ровно, из суток в сутки, метет и метет ветер снег, крепчает мороз, и вот уже не видно ни тропки, ни дороги, да и сами дома тонут в растущих сугробах. С крышей, с трубами замечает их мертвая выюга. И плохо охотнику оказаться в такое время в тундре или в тайге. Устанет он тянуть ноги из снежной наметы, убаюкает его ветер, и сядет человек под сугроб. «Отдохну,— скажет,— малость». И все. Весной найдут обглоданные кости. Да и найдут ли еще?..

Шуршание снега было угрюмо, как далекий волчий вой. Пронзительная тоска сжала сердце Григория Ивановича. «Вот, ушел за край земли,— подумал,— и загину здесь». Усмехнулся, искривив отвердевшие от мороза губы, и, схватившись за перильца, начал подниматься. «Негоже,— решил,— сидеть здесь. Еще увидит кто. И так больных мужиков по избам десятка два лежит. Встревожу людей попусту».

Встал. Боли вроде не было.

Еще день-два томила его неловкость в груди, чувствовал он разбитость во всем теле, а потом забыл. Некогда было думать о немощи. Навалились заботы. Только успевай поворачиваться.

И вот теперь, просматривая в последний раз коллекцию перед погрузкой на галиот, Григорий Иванович неожиданно почувствовал, что вновь засосало сладкой болью под горлом. Левая рука вдруг отерпла, словно после мороза отогревшись в тепле. Шелихов оглянулся на Наталью Алексеевну: не заметила ли она немощи его? Наталья Алексеевна от корзины и головы не поднимала.

Шелихов раз и другой шибко ударил ребром ладони по краю стола, но томление непонятное в руке не прошло. Григорий Иванович сжал было пальцы в кулак, но они разжимались бессильно. Подумал: «Ничего, скоро дома будем. А там и стены лечат».

Топая, вошли мужики, взяли корзины. Потащили из избы, кряхтя. Камушки-то тяжелые были. Кильсей, пришедший с мужиками, глянул на Шелихова, и глаза у него насторожились. Спросил с тревогой:

— Что с тобой, Иваныч?

Шелихов, присевший было на лавку, поднялся, и тут его качнуло. Бросило в сторону. С маху ударился он ладонью в стену, но рука поползла, обрывая мох, забитый меж бревен. Мелькнула мысль: «Не удержусь, упаду». Но удержался. Ткнулся боком на лавку. И хоть тесно в груди было, выдохнул:

— Ничего... ничего...

Наталья Алексеевна к нему кинулась испуганно. Но он отстранил ее и поднялся. Еще раз подумал: «Дома стены вылечат».

Вышел с мужиками из избы. Осторожно через высокий порог переступил, чтобы не запнуться, не дай бог.

Наталья Алексеевна, стоя растерянно посреди избы, сказала вслед:

— Гриша, ты бы прилег.

Но сказала неуверенно. Знала, что ничего из этого не выйдет. Ежели только привязать Григория Ивановича к лавке. А так — не удержишь.

Через полчаса Шелихова ветерком обдуло, и теснота и жжение в груди прошли.

Галиот «Три святителя» стоял у причала, лоснясь под солнцем свежесмоленными бортами. Новый бушприт на галиоте, новые мачты. В вантах ветерок посвистывал. Картинка! Как будто и не было долгого и трудного похода, и

не трепали его ветры, не били волны, не валяли с борта на борт ураганы.

Чуть поодаль от галиота Самойлов снаряжал байдары. Пошумливал на мужиков, похаживая по гальке на длинных журавлиных ногах. Но голос у него был добрый, и мужики не очень-то и суетились.

— К конягам пора идти,— крикнул он, увидев Шелихова на борту галиота.— Заждались, наверное.

Шелихов в ответ только рукой махнул и заторопился к трюму — приглядеть, как укладывают корзины с коллекцией камней. Был это для него самый ценный груз, дороже дорогих мехов.

Вылез из трюма довольный. Корзины уложили как надо. Увязали добро, да еще и принайтовали к пайолам, чтобы подвижки какой в качку не произошло. Помнили старый случай, когда груз подвинуло и едва-едва галиот не перевернуло.

С берега Самойлов зашумел недовольно:

— Григорий Иванович, что тянешь-то? Надо идти.

Бороду ему ветер задирает, и он, ухватив ее в жменю, крикнул:

— Ветрило-то, видишь, какой? А ежели еще пуще разыграется?

В байдарах гребцы сидели, разобрав весла.

Шелихов легко — как будто и не было боли в груди — сбежал по трапу и заторопился к байдарам по звонкой гальке. Потеснив одного из устиновских молодцов, сел за весло.

Степан — видно было, как напряглись у него жилы на шее, — оттолкнул байдару от берега и, наваливаясь пузом на борт, крикнул:

— Давай, ребята! Гребите!

Ударили весла, и байдара, преодолев прибойную волну, вынеслась на простор гавани.

Стремя байдару в открытое море, Степан гаркнул мужикам:

— Навались!

Мигнул Григорию Ивановичу: хорошо-де, мол, хорошо!

Оклемался мужик по весне, а то совсем заплошал было. Боялся за него Григорий Иванович, шибко боялся. Свалится, думал. Наталья Алексеевна каких только травок не варила, но подняла мужика.

Шелихов, на весло налегая, глянул на Степана. Тот сто-

ял на корме во весь рост, армяк на груди распахнут, и в ворот открывшийся перла широченная грудь. Об такую грудь хоть кувалдой бей, человеку все нипочем.

За плечами Степана крепостица поднималась, его и таких же, как он, мужиков могучими руками построенная. Да что там крепостица. Человек русский на подъем только труден, а коли до дела дойдет, рядом с ним никому не устоять. В лице кровь разгорится у молодца, глаза заблестят, и нет ему удержу. Что с топором поиграть, что с молотом повозиться, с косой по полю пройти или иную какую работу спроворить.

Шелихов загляделся на Степана, не думая, что с дюжим этим мужиком, меченным каленым железом, уже связала его крепкая бечевочка, и суждено им пройти через тяжкие испытания, и одному на том голову сложить.

Байдара обошла выступающий далеко в море мыс, и глазам открылось коняжское стойбище.

После памятного боя, как пришла шелиховская ватага на Кадьяк, коняги поселились здесь, да так и остались. Стойбище большое, в несколько тысяч человек. Коняжские мальчишки — более полусотни — учились языку русскому, счету, морскому делу, как и задумал Григорий Иванович. Учились прилежно, выказывая большие способности. Лучших из них Шелихов решил взять с собой на большую землю, чтобы определить в морскую школу.

Зимой, когда в ватаге цинга началась и мужики ослабели, из стойбища пришли к Шелихову хасхаки, рассказали, что с соседних островов племена воинственные, прознав про болезнь русов, готовятся к нападению. Но тут же сказали, что их стойбище готово прийти на защиту ватаги и выставить своих воинов.

Шелихов цену предупреждению этому понял.

На стены крепостицы с того дня ватажники встали и смотрели зорко. Мосток через ров разобрали и ворота закрыли. Для пущего страха на башнях угловых поставили пушчонки. Пушчонки плевые, но при нужде свое бы они выказали.

Тогда же Шелихов с мирными конягами направил записочки в крепостицы на остров Афогнак и в Кенайский залив. В записочках сказано было о бедственном положении ватажников, пораженных цингой, и о готовящемся нападении враждебных племен.

Торопливо писал эти тревожные послания Григорий Иванович, не подозревал даже, что они-то, как ничто иное, защитят крепостицу.



Коняги записочки доставили по адресу и поражены были до изумления, что, только взглянув на клочки бумажек, люди и за пять и за десять дней пути узнали о готовящемся нападении. По островам молва разнеслась, что начальник-де и на расстоянии с людьми говорить может, и они приказы его тотчас выполняют, хотя бы даже и в глаза не видели старшего из ватаги. Так странно это было, что враждебные племена рассеялись.

...Байдары до берега не дошли. Коняги, раскрашенные ради праздника особенно ярко, остановили лодки в прибойной волне и, подняв, вынесли на гальку. Тут же подхватили ватажников на руки и потащили к кострам под громкие крики и удары в бубны многочисленные.

Среди встречающих один выделялся особо — толстый необыкновенно и других ростом выше. Пузо у него вздымалось горой. Видно, охотник это было плохой — с таким пузом за зверем не побегаешь много, — но плясать он был горазд. Прыгал, не в пример другим, высоко, и ноги у него ходили — не углядишь как. Юлой вертелся и покрикивал, покрикивал, мол де живей, живей пляшите! И все стойбище и пело, и плясало, и в бубны било. Пестрые шапки на головах у коняг, на бедрах перья и шкурки цветные, на щиколотках и на запястьях разноцветные бусы. Но ярче бус глаза и зубы белые на смуглых лицах. Красно, весело — ну, прямо княжий поезд.

Встреча такая для коняг была обычна, уважение же к гостям выказывалось особенно громкими криками и частыми ударами в бубны.

Но как только гости были усажены вокруг костров, шум и крики смолкли. Лица хозяев озаботились, и уже ни одной улыбки нельзя было увидеть.

Тихо ступая, мальчишки разнесли студеную воду, налитую в рогатые раковины. А потом только подали в чашках, долбленных из дерева, жир и рыбий, и звериный, толкуши из китового же жира, тюленьего, и сивучьего, ягоды и коренья разные, сушеную рыбу — юколу, звериное и птичье мясо.

Чашу с той или иной пищей старшему из хасхаков подносили, и он, отведав блюдо, с поклоном гостю передавал. Чаши ходили по кругу.

И пятая, и десятая перемена блюд прошла по кругу, но никто не проронил и слова. Тяжко доставалась конягам пища, и они с величайшим почтением относились к каждому куску. Когда же вновь обнесли всех студеной водой в приметных раковинах, хасхак старший хлопнул в ладоши, и

толстяк, уже известный своим мастерством плясать, вскочил в круг, ударил в бубен и закружился юлой. Все заговорили разом.

Хасхак наклонился к плечу Шелихова. Лицо его блестело в свете костра.

— Мы пожелать хотели бы старшему из русов,— сказал он высоким голосом,— много охот впереди.

Кильсей сунулся было переводить, но Григорий Иванович остановил. За два года на Кадьяке сам достаточно научился по-коняжски.

— Луна взойдет, как истаявшая в половодье льдинка,— шуря глаза в косых разрезах, продолжил хасхак,— но день ото дня бока ее вновь покруглеют, и она предстанет как дымчатый песок, который вот-вот в нору принесет щенят. Сколько лун ждать нам до возвращения на остров старшего из русов?

Шелихов выслушал хасхака и задумался, глядя в огонь костра: «Сколько лун? Трудно сказать... Как там обернется на большой земле?»

И перед Шелиховым отчетливо встали Голиков и Козлов-Угренин, Лебедев и Кох...

Григорий Иванович тряхнул головой, будто отгоняя дурное сновидение, и сказал:

— Дух зла коварнее росوماхи и свирепее раненой рыси. Ежели он будет знать тропу охотника, то подкараулит и отнимет жизнь. Я не назову дня возвращения, чтобы не указать мою тропу духу зла.

Хасхак опустил глаза и с пониманием покивал головой.

— Ты поступаешь как мудрый и осторожный человек. Он помолчал недолго и заговорил вновь:

— Старший из русов! Оставь белую шкурку неизвестного нам зверя, которая передает твои слова и через много дней пути. Пусть она скажет всем, что мы под рукой у тебя живем и ты, возвратившись, защитишь нас от злых людей, если они вздумают нас обидеть в твоё отсутствие.

Вокруг костра уже плясали десятки людей. Прыгали, кружились, косолапо шли друг другу навстречу, как вставшие на задние лапы медведи.

— Хорошо,— ответил Шелихов,— я оставляю то, что ты просишь, но вы теперь не под моей рукой, а под рукой державы Российской... А это сила, большая сила.

Старший хасхак в знак благодарности склонил голову.

Погода была ветреной. Может, слишком ветреной для выхода в море, но Шелихов, объявив о дне отплытия, не хотел отменять принятое решение. Склоняло его к тому многое, но прежде всего то, что с галиотом уходили мужики, сильно страдавшие от цинги, и он видел, как ждали они отплытия.

Управителем русских поселений Григорий Иванович оставлял Самойлова. Мужик он был твердый, и Григорий Иванович верил — с делом справится. Здоровенный мужичина Самойлов, лицом груб и глаза, повидавшие много, как льдинки стальные. Такой не оплошает. А главное, что знал за Самойловым Григорий Иванович: в зашее не тот чесать не будет, случись какое лихо. Ум у него был острый, а это для жизни на островах дальних наиважнейшим качеством выказывалось. Но все же перед отплытием наставление на многих листах составил и слово с Самойлова взял, что исполнено оно будет верно.

В день отплытия Шелихов до света проснулся и, никого не потревожив, спустился к берегу.

Чайки еще не поднялись на крыло. Качались на волнах бело-сизыми комочками, спрятав головы в оперенье. Галька на берегу была сыра и не гремела под ногами, но только шуршала глухо. Море было беспокойно, и волны, набегая на берег, падали тяжело, разбиваясь в брызги, шипели зло, скатываясь с камней.

Шелихов остановился и долго стоял, глядя в море. Бесконечная даль открывалась перед ним. Наклонился, взял камушек, побросал на ладони. Что-то томило его всю эту ночь, беспокоило, какие-то слова искал он и найти не мог. Вдруг из-за горизонта выглянуло солнце, и мрачное, серое море вспыхнуло ослепительными красками, заискрилось, заиграло, и чайки разом снялись с воды. Шелихов неожиданно подумал: «Что ж, я сделал все, что мог, все, что мог...» И как-то сразу ему стало легко. Он еще раз подкинул на ладони камушек и далеко зашвырнул в море.

Через час началась погрузка на галиот.

Некоторых мужиков на судно вели под руки. Слабы были шибко. Еле лапти волокли. Виски запавшие, бородавки по вылезшие клочьями торчат, в разинутых ртах десны голые. Первое дело для цинги — зубы съесть. Новые-то земли трудно давались. А оно все в жизни так, что дорого то трудно.

Об ином говорят — смотри — легко живет, широко шага

ет. А оно и правда — весел мужик; улыбка во всю щеку, да и локти у армяка не драные, шапка хорошая на голове, в кармане денежки бренчат. Посмотришь — завидно даже. А ты не завидуй. Разве известно, как дается жизнь эта легкая? Да и легкая ли она? Ты ночи его недоспанные знаешь, в мысли его проник? Ты сделать можешь, что он делает? Хозяин, работника выбирая, десятерых за стол посадит и смотрит со стороны глазком хитрым, кто ложкой быстрее орудует. И самого бойкого возьмет. Иной и в плечах пошире, и руки у него поухватистее, спина покрепче. Весь резон вроде его взять. А хозяин все же выберет другого. И тот в деле себя выкажет. Почему так? Сил отмерено всем равно. И все на одном поле пашут, но у одного лемех поверху идет, а у другого пласт выворачивает могучий. Но земля-то вся взрыхлена, и не видно сразу, кто на чапыги посильнее налегает. Потом, когда пшеничка заколосится, увидеть можно будет, кто и как по полю ходил. Но когда она заколосится-то, пшеничка? А говорят — легко живет, но вот сколько сил он тратит, что себя не щадит, на плуг налегая, этого-то не всем видеть хочется. А сказать, что ж — все можно. Языком брякать ничего не стоит.

Шелихов смотрел, как мужиков на галиот вели, и думал: «Вот они-то попахали. И цену немалую за новые земли заплатили».

Но эти еще были живы. А вот за крепостицей, к сопкам поближе, кресты стояли. И тем, кто под ними лежал, на галиот уже не взойти. И их цену за земли новые никаким золотом оплатить невозможно. Нет еще такого золота на земле, которым бы оплачивалась жизнь.

Из здоровых мужиков на галиоте Степан был, Измайлов-капитан ничего себе еще таскал ноги, да Шелихов. Ежели в расчет не брать хворь его сердечную. Ну да о том он только и знал, а прочие лишь догадывались. На такую команду в море слабая надежда. И Шелихов полагался лишь на коняг, которых до сорока человек брал с собой на галиот. По приходе на большую землю хотел определить их учить-ся, а пока в деле показать они должны себя.

Все готово было к отплытию.

В Коммерц-коллегии чиновники многозначительно брови вздергивали, когда спрашивал их кто-нибудь — что это в ящиках и рогожах со всего Петербурха в главную залу коллегии свозят? Но ничего иного, кроме фигуры этой — бро-

ями, от чиновников добиться было нельзя. Губы отклячив, чиновник поглядывал на спрашивальщика такого, как на глупого, и ни гугу. А коробья и ящики все везли и везли и, внося в залу с осторожностью, там и оставляли, заперев дверь на замок надежный.

Кстати, ящики не разбирали и рогож не разворачивали. Так что чиновники дурака валяли зря, изображая многозначительность в лицах. Они-то и сами не знали, что скрывалось в коробьях.

Шептались чиновники по углам:

— Шу-шу, шу-шу...

И каждый намекал на осведомленность свою и близость к высокому начальству. Но и, конечно, на губах чиновничьих улыбочки, улыбочки тонкие, мне-де, мол, Павел Павлович, кое-что сказывали, а вам-де и невдомек то... Ну да это разговор для чиновников привычный.

Зала заполнилась таинственными сими предметами, и Федор Федорович проводил в нее президента Коммерц-коллегии графа Александра Романовича Воронцова.

Каблуки графских башмаков с серебряными пряжками сухо простучали по звонкому кафелю пола. Чиновники в коридорах к стенам липли. Федор Федорович щелкнул ключом в замке и склонился почтительно, пропуская графа вперед. Граф вошел и дверь затворил.

В секретных покоях Александр Романович пробыл более часа.

В тот же день президент Коммерц-коллегии испросил аудиенцию у императрицы Екатерины. К подъезду коллегии подали знаменитый графский выезд. Александр Романович сел в карету, и кони — по обыкновению — с места взяли в карьер.

Какой состоялся разговор у графа в царском дворце, не знал даже и Федор Федорович. Однако Александр Романович, возвратившись от императрицы, повелел в коллегии приборку сделать генеральную.

С тем, как приказать он изволил Федору Федоровичу, чтобы ни сучка и ни задоринки... Да и бумажки какой ненужной где не оказалось.

В коллегии российской приборку сделать генеральную да еще и так, чтобы бумажки ненужной не оказалось, задача не в пример другим — наитруднейшая: пыли-то, пыли сколько накоплено на полках, сколько дрязгу всякого, со-ру, хламу, дряни различной в углах, каморках, кладовых собрано. Да что там углы и каморки! А в столах чиновничьих?.. Не непременно проплесневелые корки сыру, огрызки

хлеба, селедочные головы, манишка, залитая соусом неведомого цвета, старые башмаки, зелепленные грязью позапрошлогодней, или же трудно вообразимый картуз с полыманным козырьком.

Ну, о мелочах, как-то: перчатки ношенные, гнусного цвета воротнички,— и говорить не приходится. Это все вещи обыкновенные. Но вот у одного из чиновников из стола явилась дамская шляпка. Да и это бы обошлось, но шляпку вдруг, с бледностью в лице, признал столоначальник. Руки опустил и с дрожанием в голосе сказал:

— Эта самая вещь супруге моей принадлежать изволила...

Все руками развели. И чиновник, в столе которого шляпка эта — будь она неладна — объявилась, как уже только ни бился, загадочность ее появления объясняя, а конфуз все одно вышел. На хиромантию ссылался, о переселении душ говорил, о многом другом из потустороннего сказывал красноречиво, но у столоначальника только челюсти играли и остатки волос, почтенно так вокруг лысины расположенных, дыбом стояли. Все же он сказал, обведя всех глазами склеротическими:

— Жена-то у меня молодая...

Так вот уборки генеральные оказывают себя. Опасно, ох, опасно дело это.

В Коммерц-коллегии окна все были растворены, и гул плотный из них на улицу выливался. Соседи спрашивали: уж не пожар ли случился?

Александр Романович, на эти усилия взглянув, постоял с минуту и, видно было, сказать что-то хотел, но промолчал. Только морщинки около рта прорезались у него глубже, однако тут же и разгладились. Полагать надо, граф решил: «Чиновник российский богом дан и богу его только и переделывать». Граф же Воронцов, в отличие от многих лиц начальственных, богом себя не считал.

Но, обойдя молчанием бурную деятельность подчиненных, он все же их огорошил:

— Ее величество, императрица,— сказал,— соизволят быть в коллегии нашей.

— Ах,— пролетело единым вздохом, и чиновники на пятки сели. Давно ведомо — чиновник российский смел, лих и дерзок.

Один лишь Федор Федорович, выслушав графа, чуть голову опустил и улыбнулся едва приметно. Понял, что поездки его многочисленные по петербургским домам не пропали втуне.

Качнулся Федор Федорович с каблука на носок и даже ру-

ками, заложенными за фалды мундира, некое движение сделал. Вроде бы даже пожал одной рукой другую и пальцы тонкие переплел.

Крючок судейский, Иваном Ларионовичем Голиковым присмотренный, дабы укорот компаньону навести, дело свое выполнял исправно. Ходил, ходил ножками многотрудными вокруг Лебедева-Ласточкина, нюхал носом чувствительным все, что пахнет дурно, и таки вынюхал нужное.

Перво-наперво подкатился крючок к старшему приказчику Ивана Андреевича. В минуту удобную подошел и разговор начал смирный. Лобик морщил, как человек, озабоченный делом и интересующийся разным, а в глазах у него почтение и испуг вроде бы от большого уважения к лицу, с которым пришлось разговаривать.

Известно, что помощник самый ближний и есть враг первейший. Такой всегда считает, что и хозяина-то он умней, видит дальше и работает несравненно лучше. Но, судьбой злой обиженный, обязан вот за хозяином выносить урыльники. Голос у такого смиренный, с особыми бархатными нотками. Гнется старательно, но чем ниже гнется, тем обидная жжет его сильнее. А всякому своя обида горька и он, себя жалея, не пощадит обидчика.

Крючок судебный заговорил о хорошей торговле, и умненько так, со знанием дела. Видно сразу было — человек понимающий. Из разговора с таким пользу несомненную всегда почерпнуть можно. Покаялкали так, обоюдно приятно, да и разошлись.

Приказчик, один оставшись, подумал невольно: «Угу.. Человек полезный...»

Но тут дела его отвлекли — в амбар невежа какой-то ввалился — и о разговоре приказчик забыл. Но потом, однако же, опять вспомнил с наимприятнейшим чувством. Так уж в разговоре получилось, что-де, мол, голова он всему лебедевскому делу.

Приказчик даже за нос себя взял и постоял так, в позе глубокомысленной, некоторое время.

«Голова... Хм-хм... Ишь как люди-то понимают,— подумал,— голова...»

И вслед хозяину, прошедшему по амбару, позволил себе взглянуть даже и недружелюбно. Набычил глаза.

На другой день приказчик в город вышел, глядь, а новый знакомец навстречу Случайность любезная. Но здесь, как

водится, улыбки, ласкания разные, и уж далее пошли они вместе, придерживая за локотки друг друга, как счастливые кумовья. И, конечно, разговор продолжили о том да о сем, о пятом и десятом. Только и слышно было:

— Да, да...

— Очень хорошо, очень славнo...

И все больше выделялся голосок крючка. Тоненький, ележный.

Погодка, наудачу, самая что ни на есть распрекрасная была. Солнышко мягко светит, припекает, лица приятно щекочет. Приказчик и вовсе разомлел, картуз снял и шел вольно, платочком обмахиваясь. Видно было каждому: самостоятельный человек идет. Рядом с ним другой — тоже, заметно, не из слабых, однако первому этот, второй-то, явные знаки почтения выказывает.

Все об этом говорило.

Дайте себе заботу приглядеться к идущим по улице начальнику и его подчиненному. Пускай даже начальник этот недалеко ушел от идущего с ним рядом. На одну всего ступенечку или даже на половину ступенечки, на четверть, а все одно разница есть.

Ну хотя бы то, что будь подчиненный и ростом начальника выше, а смотрит он на него, как ни прикинь, а снизу вверх. И хотя это загадкой может являться для наук естественных, изучающих различия величин, но никуда не попрешь: снизу вверх, и все тут. Да что там науки. Они, известно, отстают, и неведомо, когда еще шагать будут в ногу со временем. Что же касательно до человека, он вообще явление во многом загадочное и наукам его не скоро объяснить.

Опять же шаг. Начальник ногу ставит смело, выбрасывает ее перед собой вольно, а вот подчиненного ты хоть в зад колом толкай, а вперед начальника он не выступит. Тоже загадка.

Приметим голоса. У подчиненных редко бывают басы. Но будь у него и бас, а у начальника жесточайшая фистула, но подчиненный так горлом сделает, что обязательно голос у него окажется тоньше начальственного.

Другое многое, — известно, приглядевшись, — приметить легко, да не об этом речь.

Крючок судейский и голосом играл, и шел неторопливо, и приказчик, понятно, рос прямо на глазах. Знаки такие — человеку масло благоуханное на душу.

Туда-сюда знакомцы новые прогулялись и у церквушки на скамеечку, стоящую в уголке, присели. И опять издалека, губы сладко сложив, крючок судейский начал разговор



хороший. Что-де мол, соболя почитай не стало, а о белке не хочется и говорить. Что за мех ныне, не в пример годам прошлым: рыж, короток, как ежели бы его общипали. Лицом выразил что-то крайне неприятное. Сморщил щеки, нос на сторону своротил, и ежели не плюнул, то исключительно из почтения к собеседнику и от большой воспитанности.

Заметил, однако, что есть, правда, и неплохие меха, особенно из тех, которые везут с севера. Знал, что приказчики Ивана Андреевича на севере только и скупают меха. Тащат через всю Сибирь.

— Вот эти-то меха,— сказал крючок как бы невзначай,— сейчас людям умным придержать самый резон.— И глаз на приказчика искоса закинул. Увидел: у приказчика шевельнулась бровь. Крючок наподдал пальчиком озабоченно на полё у себя пятнышко незаметное, ковыряя.— Человек, ежели ум у него есть, за эти-то меха, по минувании известного времени, денежки сможет взять хорошие.

Попал в точку.

Приказчик заторопился. Каждому ум свой хочется выкачать. И особливо тем, у кого не шибкий с ним недостаток. Да и хозяина уж очень приказчику хотелось пнуть. Помнил, что знакомец новый в прошлом разговоре головой его обозначил в лебедевском деле.

— Я уж третий год,— сказал,— хозяину своему талдычу беспрестанно, что меха надо придержать.

Губы надул барабаном.

— Ну и как? — судейский склонился к плечу приказчика.

— Придерживаем.

И опять надул губы.

Заслуги в том, что амбары Лебедева-Ласточкина от мехов ломились, старшего приказчика не было. Но человеку слабому как по головке себя не погладить.

— Меха,— пел приказчик, на солнышке распаяясь,— сказочные. Цену не сложишь.

Крючок сообразил сразу же: три года купец меха держит, три года людей снаряжает на север, а на какие денежки? Какими шишами платит за меха? Чтобы товары на север сплавить, а потом меха наверх поднять, большие нужны капиталы. А купец не расторговался, и денег у него нет. Но все же взял он их где-то. Где?

Мыслишки закружились в голове у крючка, как мыши в стогу лежалого сена, когда вилы туда сунут.

Так и так прикинул в момент крючок и сообразил, что к чему.

Тучка тут набежала на солнышко и ветерком свежим потянуло. Приказчик картуз надел, передернул плечами. Крючок забеспокоился:

— Как бы не продуло. Здоровьице-то оно того... Дорого. В другой раз поговорим.

Раскланялись любезно. Больше того: крючок приказчику еще и вслед помахал ручкой. Хиленькую ладошку поднял и покивал пальчиками деликатно. Понять жест этот можно было только так: жаль-де, мол, с хорошим человеком расставаться, но что делать? Еще увидимся...

Улыбка обозначилась у крючка от уха до уха. Морщинки у глаз добродушнейшие пролегли лучиками.

И приказчик в ответ улыбнулся мило, головой подергал, но как только он за угол завернул, крючок, подхватив полы, по городу побежал рысью, топая каблуками заметно, хотя только что ходил, мягко ступая.

«Бум, бум», — летели каблуки по мостовой... Ну да крючку сейчас было не до мягкости в походке. Чужая паленая пахнула и денежку немалую схватить можно будет. Из слов, оброненных приказчиком, понял крючок, где собака зарыта. Знал он, где купцы деньги берут, когда нужда приходит. По этой части в Иркутске такие были мастаки, что руками разведешь. Ну, например, Маркел Пафнutyич. Ежели Маркела Пафнutyича человек незнающий встретит на улице, так будь он хоть и жаден до невменяемости, а достанет и отдаст грош. Да и как не отдать: стоит кривобокий старичок в сопревших опорках, глаза слезятся, и по лицу видно — совсем заездили человека, сейчас упадет. Но то, что сунут ему грош, неудивительно. Удивительно то, что Маркел Пафнutyич возьмет его, да еще и поклонится. А у него, у Маркела Пафнutyича, не грошей, а золотых жарких — мешки. И он в рост их дает под вексельки, под вексельки...

Губки сложит бантиком и сладенько, сладенько скажет:

— Процентик с вас будет причитаться, процентик...

На счетах сухонькими, лиловыми пальчиками набросает костяшки так быстро, что и глазом не успеешь моргнуть, а он уже и цифирку назвал. Цифирка вроде бы и небольшая вначале получается, но время пройдет — и она набежит, да еще и так, что штаны снимут последние.

Другой огрызочек — Агафон Фирсанович. Светленький, благостный, голубые глаза безгреховно смотрят на мир. И все больше по церквам, по церквам похаживает Ага-

фон Фирсанович. Богу молиться. Кладет поклоны. А когда домой идет из церкви, в руках трепетных просфору неся, ну, скажешь — ангел. Удивишься даже, почему крыльев не видно у него за плечами. А ангел этот кистенем в годы молодые помахал и не одного старателя зашиб на тропах тайных. Варнак был из самых страшных и золотишка понабрал. Сколько? О том могилы знали в тайге. Так, под сосной холмик безвестный, притрушенный хворостом. А то и вовсе без всякого холмика: человека за ноги, да и в овраг головой вниз. Тайга большая, пойди найди. Ох, понабрал... А теперь вот тоже вексельками баловался да все больше о божественном вел разговоры.

К этим-то голубкам и бросился крючок судейский. Торопился, пена закипала на губах. А как подойти к Маркелу Пафнутьичу, уж ему-то было ведомо.

— Маркел Пафнутьич, жаль моя,—загнул слезливо крючок и золотой положил на стол. Сунул под самый нос: и слепой увидит. У ростовщика в глазах вспыхнул голубой огонек.— Мне бы только, Маркел Пафнутьич, добродетель наш, взглянуть на векселек, выданный вам Иваном свет Андреевичем, дружочком моим незабвенным.

И второй золотой на стол — шмяк. И тоже под нос.

Золотые исчезли, как их и не было.

Через час крючок объявился у Агафона Фирсановича. И, от молитвы праведной оторвав ангела, тем же приемом взглянул на векселек Лебедева-Ласточкина.

«Тайну,— говорят,— тайну ростовщик бережет, деньги под вексель выдав». Ну да тайна эта для дураков только.

Теперь одно и осталось — явиться к Ивану Ларионовичу: так, мол, и так. Вексельки сам видел — нюхал, щупал и, полагаю, скупить их надо... Рожу при этом невинную скорчить. Пошмыгать носом...

Голиков, на что уж битый был мужик, и то ахнул:

— Ну и подл же ты, ну и подл... Это же надо так выкрутить? Истинный ты подлец.

Но крючку слова эти простые, как с гуся вода. Он головку скромно опущенную поднял и спросил постным голосом:

— Сейчас скупать вексельки-то или погодим?

Голиков ладонями шлепнул по коленкам, башкой мотнул, сказал:

— Скупай. Чего уж годить.

Тоже гусь был не из последних.

Вот так петельку на шею Ивану Андреевичу и накинули. Чуть-чуть на себя веревочку потянуть осталось — и язык вывалится.

Из моря Камчатская земля поднялась, и первым ее увидел Герасим Алексеевич Измайлов. За волной зачернело что-то и все явственнее, явственнее начало проступать. Измайлова вдруг будто по сердцу ударило. Толкнул он в бок локтем стоящего рядом Шелихова и, кивнув подбородком вперед, трубку зрительную передал молча. Отвернулся — вроде бы как ветер да солнце ему глаза застят. Земля-то увиденная и из него выжала слезу. Три года в плавание были. Три года — не три дня.

Шеей капитан закрутил, словно воротник ему тесен был, лягнул ногой в ботфорте. Пробурчал неразборчиво, что-де, мол, порошит в глаза невесть чем.

По галиоту пронеслось:

— Земля, земля!

Камчатка, хоть и не Охотск родной, но уже окраина соседняя.

Мужики полезли на полубу, после темноты трюмной глаза тараща. Даже и те поднялись, что весь путь от Кадыяка не вставали от слабости. На карачках ползли по трапам, тянули шеи. Липли к бортам.

— Да где она, земля-то?

— Вона, вона, али не видишь?

— Точно, братцы, земля!

— Земля, земля! — словно стон прошел по галиоту.

Измайлов, комок сладкий проглотив, сказал:

— Григорий Иванович, а нам на якорь бы надо стать. Водички навозить. Наша-то стухла.

И мужики зашумели:

— Да, водички, это бы славно.

— Уж и не веришь, что вода-то сладкая есть.

— По ковшику выпить, глядишь, и ожили бы.

А в запавших глазах боль.

Набедовались, намаялись, сердешные.

Мужики из тех, что посильнее, на ванты лезли землю по-лучше разглядеть.

— Обзеленная, братцы, земля-то. Травка стоит.

— Ветерок по-нашенски пахнет, чуешь?

Пеньки зубов шерились в улыбках.

— Дошли, братцы, дошли, — кричал кто-то, не веря, наверное, до конца, что дойдут все-таки и увидят землю свою.

Велика любовь человека к родной земле. И странно — занесет его судьба в дальние края, где и реки светлее, и

леса гуще, а все нет — не то! Свое небо, пускай даже оно и ниже, видеть ему хочется, по своему лугу пройти, из своего колодца испить водицы.

Живет, живет годами в чужой земле и вроде бы и корни глубокие пустил, навсегда осел, но нет — забьется вдруг сердце и затоскует человек, заскорбит душой, и вынь да положь ему родную землю.

И какие бы моря его ни отделяли от желанной земли, какие бы горы ни стояли на пути, леса преграждали путь — пойдет он, пойдет, бедолага, ноги в кровь сбивая, и пока не дойдет — не успокоится сердцем. Бывает, конечно, что не доходят, в пути свалившись. Но и в остатний час будет он выглядывать избу над рекой, где бегал мальчишкой, плетень и калитку, распаханную в поля. В закрывающихся глазах будет мниться, как кучерявятся, кучерявятся над благодатной этой землей облака и солнце светит, а навстречу путнику, возвращающемуся из дальних земель, идут родные люди и руки несут впереди себя...

— Так что, — спросил Измайлов, — воду брать будем?

И Шелихов, как ни хотелось ему побыстрее до Охотска добежать, только взглянув на мужиков, припавших к бортам, сказал:

— Да, возьмем.

Якорь бросили вблизи Большерецкого устья. За водой отрядили большую байдару, а на малой байдаре Григорий Иванович со Степаном пошли к поселку Большерецкому взять рыбы свежей для команды.

Мужики за водой собирались с такой резвостью, как и на пожар не поспешают. Армяк на плечи, ноги в лапти и, смотри, уже на полубе стоит, да и орет еще:

— Ну, что там, с байдарой-то, пошто тянете?

• Глазами крутит, аж страшно.

И другой, рядом, и тоже в крик:

— Давай, давай! Тряси портками.

Спускаясь с борта, Григорий Иванович и думать не думал, что на «Трех святителей» ему не вернуться. Прыгнул в байдару, веслом оттолкнулся, и Степан тут же парус косой на мачту вздернул. Парус взял ветер хороший, и байдара полетела птицей. Григорий Иванович оглянулся, увидел, как Измайлов треуголкой махнул: мол де поспешайте!

Старый был волк капитан, но тоже предположить не мог, что далее к Охотску путь ему самому придется прокладывать. Много было в походах дальних, и всего — хоть ты и бит десять раз — не учтешь.

Шелихов за борт руку опустил и черпнул горстью воду,

бросил в лицо. Здесь, в море своем, казалось, и вода была голубее, мягче, теплее. Засмеялся. На волосах, на бровях задрожали сверкающие капли.

— Хорошо,— воскликнул,— хорошо-то как, Степан!

Степан придерживал парус, но все же обернулся:

— Хорошо... Лошадка и та, домой возвращаясь, бежит веселее... А мы небось люди...

Байдары одновременно уткнулись в берег. Шелихов, прежде чем пойти за рыбой, решил присмотреть, какую воду будут брать. Дотошный был человек. Все своими глазами видеть хотел.

Мужики байдары втащили на гальку. Глядь, за галечной прибойной полосой, в десяти шагах от моря, трава по пояс. И свежа, и зелена, ну прямо горит под солнцем. Никак не удержаться человеку, пришедшему с моря: ноги так сами в красоту эту и тянут. Войти хоть на минуту в духмяное царство, упасть и закрыть глаза.

Шелихов и сам не помнил, как очутился в травяном раздолье. Только увидел вдруг плывущие в небе облака, у самого лица застывшие стебли трав. Почувствовал — язык щекочет разгрызенная былинка. Не ведал, когда и прикусил-то ее. Вкусная былиночка.

Повернул голову. Рядом, раскинув руки, лежал Степан. Он тоже оборотил лицо к Шелихову, и Григорий Иванович с удивлением отметил, что глаза казачины с нелегкой судьбой совсем не черные и шальные, как казалось ему всегда, а с рыжинкой теплой внутри, с ласковой грустью, с загадочной и нежной думой.

Где-то голосом ударила птица, да звонко, отчетливо, счастливо:

«Пить-пить, пить-пить, пить-пить...»

Ах, сладка минуточка полежать вот так вот, и чтобы обязательно над головой щемящая душу высота неба. Дорогая минуточка. Чтобы и ты никому ничего не должен был, и тебе никто и ничем не обязан. А трава только колышется, колышется перед лицом, плывут кипенно-белые облака и поет тонкая флейта птичьего голоса.

С водой управились быстро. Бочки налили доверху, вкатили на байдару, и мужики отвалили. И часу-то на своей земле не были, а лица у них светились, будто умытые росой. С байдары крикнули:

— побыстрее оборачивайтесь!

— Не тяни, Григорий Иванович, домой душа рвется! Махнули шапкой.

Григорий Иванович со Степаном, проводив мужиков, под

малым парусом пошли вдоль берега к Большерецкому поселку.

Ветер крепчал. Но до поселка мили две было, не более, и Григорий Иванович считал, что они обернутся мигом.

До Большерецка идти не пришлось. На берегу увидели шалаши рыбацьи и сети на шестах. Переложили парус.

Рыбаки высыпали на берег. Мужиков с десяток. Чуть ли не за руки повели в шалаш.

Это на большой-то земле человек к человеку приглядывается долго, прежде чем поздоровается или иное какое скажет слово. Здесь не то. Здесь каждый человек — большая радость. И ему уж и не знают что сказать, как усадить его поудобнее, помягче да половчее.

Мигом рыбаки повесили котел над костром и захлопотали собрать на стол. Гремели ложками.

— Без ушицы нашей,— сказал старшой рыбак — мужчина, бородой заросший до глаз,— не отпустим. И думать не можете.

Засмеялся добро. Видно было сразу: свойский мужик и гостям рад. А костерок уже разгорелся, пахнуло от него сладким дымком и жаркие языки пламени обняли закоптелый котел.

Подали квасу в берестяных жбанчиках. Оно и худой квас лучше хорошей воды, а этот в нос бил, играл, искрился брусничным алым цветом. Такой квас хоть царю подавай на стол.

Мужики обсели мореходов и все расспрашивали, расспрашивали:

— А баяли, ваша ватага пропала-де?

— А каковы земли за морем и как тамошним мужикам живется?

Каждый норовил встрять со своим вопросом. Одному даже и по шее дали:

— Отстань, глупой, вишь люди с моря... Намотались, знать...

И опять квасок поднесли:

— Да вы пейте, пейте! Мы вам и с собой дадим.

Шалаш рыбацкий хоть и не изба, но русским духом и здесь веяло. В углу висела икона, под ней теплилась лампада, лавки чистые стояли, стол скобленный. Домовито рыбаки жили, чисто. Шибко пахло навешанными на шестах поверху травами. От духа трав медвяного, от доброго кваску, а еще больше от тепла людского Григорий Иванович обмяк душой. Так, казалось, и сидел бы в шалаше этом рыбацьем, слушал голоса русские, и ничего больше не надо.

О рыбе для ватаги договорились сразу же. Рыбаки, правда, улов только что свезли в Большерецк, но мешков пять-шесть рыбы доброй оставалось, а этого ватаге до Охотска вполне бы хватило.

— Расстарайся,— сказал старшой одному из мужиков.

Тот — одна нога здесь, другая там — слетал на берег, вернулся, сказал:

— Рыбу мы в байдару уложили, но вот в море-то идти я бы... — Лаптем шаркнул. — Поопасался... Ветер больно силен. Барашки белые по волне пошли. Того и гляди, из-за Курил сорвется тайфун.

И тут на крышу шалаша словно навалился кто-то тяжелый. Рванул, и не устрой жилье рыбаки так прочно, шалаш свалило бы.

Мужики разом повскакивали с лавок и высыпали на берег.

Море было не узнать. За минуты считанные его измяло, раздергало, вздыбило злыми волнами. Валы чугуно-серые стремительно неслись к берегу и, разбиваясь о гальку, с шумом и грохотом, высоко взбрасывались брызгами и пеной. Кипело море, ярилось, и не понять было даже — какая сила за столь краткое время так взбаламутить его могла. Волны, одна обгоняя другую, с шипением и злобой лезли на берег, выкатываясь уже чуть ли не к самым шалашам.

Старшой рыбак крикнул своим мужикам, и те бросились шелиховскую байдару вытаскивать на берег, снимать сети с шестов, покатали подальше от моря, за шалаша, бочки, рядом стоявшие на берегу. Степан кинулся помогать рыбакам. Шелихов, заслоня ладонью глаза от секшего лицо песка, выглядывал в море галиот. Но за поднявшейся над морем пеленой галиота не было видно.

— Вона, вона кораблик-то,— крикнул в ухо Шелихову старшой и показал рукой.

Григорий Иванович увидел галиот среди вздымающихся тяжелых валов. Развернувшись носом на волну, с занайтовленными парусами галиот дрейфовал вдоль берега. У бортов вспучивалась белая пена. Шелихов вмиг понял, что капитан отдал якоря, но они не держались за грунт и ползли. Тут же Шелихов подумал: дно здесь скальное и якоря обязательно зацепятся. Испугало иное: как только якоря за грунт возьмутся, судно потеряет в плавучести и с каждым новым обрушивающимся на него валом все больше и больше будет брать воды на борт и затонет.

— Уходить им надо,— надрываясь, кричал старшой,— беспрерменно уходить.— В рот старшого лезла борода. Он





рукой свалил ее на сторону, крикнул в самое ухо — Уходить, понимаешь, уходить! Смотри, — и, повернув Шелихова за плечо, показал на небо.

С востока, наваливаясь с высоты на камчатский берег, стремительно неслись черные, как сажа, тучи.

— Тайфун, — крикнул старшой.

Неожиданно черноту туч прорезала изломанная стрела молнии, и бешеный удар грома обрушился на землю.

То, что галиоту уходить надо, Шелихов видел и сам. Но дать команду — уходите — не мог. Все, что дорогого в жизни у него было, — там, на судне, пляшущем на волне, оставалось. Все...

Ветер сорвал шапку с головы у Шелихова, обдал градом мелких камней, поднятых с берега. Острый осколок рассек лоб, и кровь залила глаза.

Подбежал Степан:

— Григорий Иванович, зашибло? — Выхватил из-за пазухи тряпицу. — Дай перевяжу!

Шелихов отстранил его, выдавил хрипло:

— Костер, костер давай! — У Степана в лице мелькнул испуг. Он оглянулся на галиот и хотел было что-то сказать, но Шелихов, уже зло, крикнул: — Костер! Не видишь? Погибнут!

Мужики накидали на берег сена, травы морской, придавили раздираемую ветром дрязгу тяжелым плавником. В руки Шелихову кто-то сунул фитиль, и он, заслоняясь полой кафтана, запалил костер.

Поднявшийся столб дыма означал: «Уходите! Немедленно уходите!»

Рыбаки завалили пылающий костер мокрыми водорослями, и дым, хотя и сваливаемый ветром, густо поднялся в небо. Шелихов швырнул фитиль в гудящее пламя и оборотился залитым кровью лицом к морю.

Дым ел глаза.

Черные тучи во второй раз прорезал ослепительный росчерк молнии, и еще более сильный, чем прежде, удар грома расколол небо.

Чернота упала на галиот и скрыла его от глаз стоящих на берегу. Шелихов двуперстно раскольничьей рукой омахнулся: «С нами крестная сила».

— Вы обещали нас удивить, любезный Александр Романович, — сказала императрица, — так удивляйте.

У императрицы в этот день было счастливое, легкое настроение. Проснувшись, она увидела встающее над Невой солнце, так редко балующее Петербурх, прозрачный, как легкая кисея, туман над водой и выплывающие из него челны рыбаков. Идиллическая эта картина и настроила ее так приятно и воздушно. Неожиданно она вспомнила приглашение графа Воронцова взглянуть на редкое собрание камней и посчитала, что посещение Коммерц-коллегии будет хорошим развлечением.

— Удивляйте, удивляйте, Александр Романович,— повторила императрица.

Воронцов склонился в поклоне и указал приглашающим жестом на распахнутые двери главной залы коллегии.

Императрица чуть приподняла унизанными перстнями пальчиками пышную юбку и взошла в залу.

В ее осанке, поступи и жестах выражались отчетливо упрямая воля, твердый характер и резкий ум. Многими пороками наделенная, Екатерина вместе с тем огромной работоспособностью обладала и видела и знала так много, что преподнести ей некую неожиданность представлялось делом весьма сложным. Каким бы императрица ни предавалась излишества, она неизменно поднималась с постели в шесть часов поутру и садилась за стол, мало напоминающий стол первой дамы империи, так завален он был книгами, записками дипломатов, учеными проектами, письмами. Агенты императрицы рыскали по всей Европе, скупая редкости и произведения искусства. И все-таки, войдя в главную залу Коммерц-коллегии, она изумленно подняла брови, и из уст ее вырвалось неожиданное:

— О-о-о...

На столах перед окнами залы были выставлены хрустальные блюда с замечательными по красоте и разнообразию красок самоцветами.

Залитые солнцем, сверкали зеленый малахит и багрово-красный орлец с Урала, нефриты Саянских гор и темно-синие лазуриты Байкала. Голубые, цвета морской волны, сибирские аквамарины и исключительные по глубине цвета уральские изумруды. Белые, голубые, палевые топазы. Зеленые уральские александриты, ярко-розовые сибириты, блестящие, подобно алмазам, фенакиты, изумрудно-зеленые гранаты. Все это горело ярким пламенем, переливалось тысячами красок, вспыхивало огненными искрами, поражая воображение.

— Откуда богатства сии? — воскликнула Екатерина.

Александр Романович, скромно державшийся за спиной императрицы, неслышно выступил вперед:

— Ваше величество, это дары восточных земель империи вашей.

Круглые, немецкие глаза императрицы сузились, и в прозрачной, холодной глубине их вспыхнула настороженность. Императрица, до краски на щеках, пожалела о невольно сорвавшемся с ее уст восторженном: «О-о-о...»

Она услышала за плечами восхищенный щебет придворных дам и довольное побрякивание сопровождавших ее вельмож:

— Божественно!

— Восхитительно!

— Прелестно!

Восторг нарастал, и казалось, еще один-два аккорда — и оркестр голосов загремит так, что и ушам станет больно.

— Какие краски!

Но Екатерина головы не повернула.

Одним из главных качеств императрицы, как отмечали современники, было ее умение мгновенно оценить обстановку, и сейчас Екатерина твердо сказала себе — Александр Романович Воронцов поставил ее в позу, в которой она не вольна распорядиться так, как ей хочется.

Она поняла — о волшебном блеске камней, что были на выставке, сегодня же узнает весь Петербург. Об этом будут говорить на балах и маскарадах, в гостиных и в спальнях, задерживая полог перед супружеской постелью. Молва расцветит эти камни даже более яркими красками, чем наградила их природа: «Ах, вы не были?..» — «Ах, вы не видели?..»

Императрица приблизилась к столам со сверкающими самоцветами и склонила голову, словно бы с восхищением разглядывая выставленные богатства.

Собрание это было плодом трудов Федора Федоровича, соединивших воедино коллекции Демидовых и Строгановых, сокровищницы тобольского духовенства и похороненные в подвалах Академии наук раритеты, собранные многочисленными экспедициями. За этим-то он и ездил по Петербургу от дома к дому, кланялся, улыбался, убеждал сии редкости представить взору венценосной.

Императрица взяла с блюда налитый голубизной топаз и приблизила к лицу. Вся синева весеннего неба, казалось, была перелита в этот камень. Но Екатерина меньше всего сейчас думала об этом.

Императрица угадывала, что собрание сие повернет головы петербургского общества к востоку. В то время как она сосредоточивала все внимание на землях южных.

Мир с Турцией не так уж прочен оказался, и блистательные победы любезного ей Григория Александровича Потемкина не дали тех плодов, каковые ожидались. Крым был присоединен к России, но Порта никак не хотела примириться с этим. На границах было неспокойно.

Екатерина, благодаря многим усилиям, добилась в Европе наивысшего признания и распоряжалась в европейских делах как полновластная хозяйка. Достаточно было только вспомнить, как, желая сохранить равновесие между Австрией и Пруссией, Россия властно потребовала от противников прекращения военных действий, и один лишь окрик из петербургского Зимнего дворца прекратил кровопролитие. Более того: Россия была гарантом заключенного между соперничающими сторонами договора.

Но и Европа уже была тесна для императрицы. Она устремляла свой взор за моря.

Россия вмешалась в борьбу Англии с восставшими североамериканскими колониями, по настоянию Екатерины была принята декларация о вооруженном нейтралитете на морях.

Международная политика была блеском игры умов высоких... В тяжелых канделябрах горящие свечи, пышные залы столиц, изысканные речи, тайные шепоты, полуулыбки, многозначительные взгляды... И только единожды произнесенное имя Екатерины заставляло монархов, повелевающих миллионами, скромно глаза опускать. При одной мысли об этом сердце императрицы наливалось гордыней, пухло от ощущения всесветной славы и могущества.

А что могла обещать ей Сибирь? Колосс, который миллионы и миллионы рублей съест, а отдача будет так отдаленна во времени, что сама она вряд ли когда-нибудь ею сможет воспользоваться. Нет, это не для нее...

Екатерина была хитра, как демон. Она улавливала движение мысли петербургского света задолго до того, как мысль эта приобретала ощутимые формы. И никогда не шла против ветра, но всегда стремилась направить его туда, куда считала необходимым.

И произошло то, что случается обычно на подобного рода встречах. Под расписным потолком залы, залитой солнцем, звучали оживленные голоса, непринужденный смех, глаза людей были ярки и дружелюбны, но говорилось одно, думалось другое, делалось третье.

— Извольте, ваше величество, взглянуть сюда,— граф Воронцов указал с поклоном на стол, заставленный образцами руд.— Эти скромные камни не так ласкают взор, как самоцветы восточные, но именно им предстоит составить славу России. Это металлы, в Сибири обнаруженные. Серебро, медь, свинец, железо...— Воронцов мягко улыбнулся.— Говорят, когда создатель над миром пролетал, рассеивая по земле богатства, над Сибирью у него замерзли руки — и он вывалил на заснеженный дикий край все разом. Нет металла, которого бы не оказалось в Сибири и на востоке империи вашей.

— Вот не ведала,— императрица остановилась возле стола с рудами,— что вы, Александр Романович, мастер сказки рассказывать.

— Сии сказки, ваше величество,— еще шире улыбнулся Воронцов,— науки подтверждают.

Ответ вполне можно было счесть дерзостью. Но Екатерина, преодолев минутное замешательство, под маской своей обольстительной улыбки, лишь покивала надменным лицом графу.

О, эта блистательная улыбка императрицы! Сколько раз она выручала ее. Но больше всего императрица была обязана ей в страшные дни царского переворота. В дни убийства супруга своего — Петра III, вспоминать о которых в империи не смел никто,— улыбка Екатерины была для заговорщиков и сигналом к началу действий, и обещанием победы, и надеждой на неземное счастье. Она была пленительной, нежнейшей и кружила молодые головы гвардейских офицеров, заставляла чаще биться их сердца, к безумствам звала.

Когда кареты с императрицей и сопровождавшими ее лицами отбыли, Александр Романович прошел в свой кабинет.

Здание коллегии гудело, как потревоженный улей. В коридорах звучали излишне восторженные голоса чиновников, на лестницах, в обширном вестибюле раздавались стуки и шумы, но в кабинете президента стояла тишина.

Александр Романович прошагал, поскрипывая башмаками по навощенному паркету, к камину и остановился. На лице графа было раздумье.

Воронцов постоял минуту-другую, взял с каминной доски бронзовый нож для разрезания бумаги и, неспешно крутя его в холодных, с хорошо отполированными ногтями пальцах, кашлянул. Затем, так же неспешно, взял нож за костяную ручку и тускло поблескивающим острием ударил

по каминной доске. Тонкий, высокий звук заполнил комнату. Александр Романович стоял, глядя в окно. Когда звук угас, граф осторожно положил нож на то же место, где он лежал ранее, шагнул к столу и сел. Лицо его изменилось. На лбу и на щеках разгладилось всего две-три складки, но с уверенностью можно было сказать, что лицо графа теперь выражало удовлетворение.

Воронцов понял настроение императрицы, но он видел и то, что выставка в Коммерц-коллегии оставит след в головах людей и придаст ему — графу Воронцову — новые силы. Он играл за одним столом с сильными мира сего, и каждый козырь в этой игре был важен.

## 11

— Подходим,— сказал Измайлов голосом сырым от тумана и указал пальцем,— вона, огоньки видны.

Впереди, в белесой дымке, над оловянно блестящей водой, Наталья Алексеевна увидела неяркий огонек. Но тут же, рядом с ним, вспыхнул второй, третий. И огни выступили отчетливо.

Наталья Алексеевна рукой взялась за мокрые ванты, голову опустила. Было страшно. У Натальи Алексеевны даже зубы стукнули. Впереди — Охотск. Знала: сейчас явятся Козлов-Угренин, Кох... Налетят, как вороны, а защитника, Григория Ивановича, с ней нет.

Она стянула платок на груди, перекрестилась тайно. Стиснула накрепко зубы, чтобы никто не увидел, как дрожит лицо. Прыгают губы. Еще дед говорил ей: слабость-то нечего людям показывать. Слабость не красит.

Услышала: зашлепали по палубе лапти, мужики заговорили:

— Подходим, братцы, подходим!

Вся команда была на палубе. Дождались. Выпало счастье. Каждому на берегу подмигивало свое окошко. Вглядывались мужики: горит свет-то ай нет? Но где там угадать? Вон огней высыпало сколько... А все же всматривались, всматривались до боли в глазах. И уже кто-то и хохотнул:

— Саня, назад сдай! Придержите его, братцы, за борт прыгнет!

«А Гриши-то нет»,— еще раз с горечью подумала Наталья Алексеевна и прикусила губу, чтобы не закричать в голос.

— Что, матушка,— тронул ее за плечо мягкими пальцами Измайлов,— из пушки будем палить или в колокол ударим?

Галиот все подвигался и подвигался вперед по тихим, словно оплавленным волнам, да так еще шел, что и ветра не слышно было и под бушпритом вода не говорила, но только чуть поскрипывал над головой такелаж. Впереди уже было не три, не пять, но множество огней, рассыпавшихся по берегу.

— Герасим Алексеевич,— сказала вдруг Наталья Алексеевна, а что, ежели подойти без пушечной пальбы и колокольного боя?

Измайлов наклонился к ней, хотел лицо разглядеть, но только черные провалы глаз увидел в свете фонаря да плотно сжатые губы.

— Что так? — спросил удивленно.— Да и нельзя. Обязан я при входе в порт обозначить судно.

Наталья Алексеевна к нему ближе шагнула, взяла за руку:

— Боязно мне, батюшка,— сказала голосом тонким,— налетят хуже воронья, сам знаешь. А мне перед Григорием Ивановичем ответ держать.— И еще ближе подступила.— Ты скажешь, коли спросят, мол де хозяйка так велела, а я баба-дура, мне многое неизвестно может быть.— Заторопилась обсказать все, что думала.— Подойдем тихо, груз снимем. Пакгаузы у нас хорошие. Утром я уж как ни есть, а отвечу. Но груз-то под замками будет крепкими. А? Герасим Алексеевич? Так-то надежнее.

И голос у нее стал потверже. И не понять сразу: не то просит она, не то приказывает. Вот как повернулось-то дело.

Измайлов от неожиданности даже заперхал горлом.

— Вот так так,— сказал, повеселев вдруг,— баба-дура...— Головой крутнул.— Я уж и сам думал, как оборониться... Но ты и меня, матушка, обскакала... Обскакала...

И живо велел убирать паруса.

Загремела цепь, с шумом в воду упал якорь, галиот дернулся и стал.

Наталья Алексеевна еще сильнее стянула платок на груди. Трусилась все же, но вот сибирская крепенькая заквасочка в ней сыграла, настояла баба на своем. «Когда товар за дверьми хорошими, за засовами крепкими лежать будет,— подумала,— мне с кем хочешь разговаривать полегче станет. А там, глядишь, и Гриша явится».

И губы сжатые обмякли у нее.



А Измайлов уже дал команду байдару спустить на воду.

Заскрипели блоки, мужики на палубе замельтешились тенями.

— Эк, облом,— крикнул кто-то недовольно,— куда прешь? Возьми на себя, на себя!

— Спускай, спускай! Смелее.

Слышно было, как байдара о борт чирканула и упала на воду. Плеснуло шибко, вниз, в темноте.

— Конец придерживай,— сказали сипло с байдары.

По палубе простучали ботфорты Измайлова.

— Как воры подходим,— сказал он,— как воры, а?

И чувствовалось, крепкие слова с языка у него просились, но он сдержал себя.

— Ничего, батюшка,— ответила Наталья Алексеевна,— лучше сейчас нам воровски-то подойти, чем перед Григорием Ивановичем ворами стать.

Измайлов крикнул.

У борта плескалась вода, да мужики шебаршили в байдаре.

— Слабый народец-то у нас. Силенок немного у мужиков осталось,— вновь начал Измайлов,— я думаю вот, как сделаться...

Он наклонился к Наталье Алексеевне и заговорил тихо.

— Хорошо, батюшка,— ответила она,— это уже ты как знаешь. Здесь тебе лучше распорядиться.

Измайлов повернулся и пропал в темноте. О борт каблучки ударили, тут же внизу весла зашлепали и все тише, тише и совсем смолкли.

Галиот покачивался на тихой воде.

Герасим Алексеевич так прикинул: своими силами, да за одну-то ночь, галиот никак не разгрузить. Но знал он: у фортины, где Григорий Иванович перед отплытием пир давал, всегда вертится народ. Голь портовая. Вот с этими-то, ежели ватагу подобрать поболее, вполне можно успеть.

Народец это был крученный, верченный, но мужики жилистые и на работу злые. И уж точно — эти не побоятся начальства. Напротив — им даже и интересно, что капитан идет поперек портовых.

«Сколочу ватажку,— решил Измайлов,— галиот на байдарках к причалу подтянем — и пойдет работа».

Байдара шла бойко. Мужики вовсю налегали на весла. Поняли, видать, — что и к чему.

— Правее, правее бери,— скомандовал Измайлов, угадывая на берегу огни фортины. Поближе хотел подойти,

чтобы по берегу зря не мотаться, глаза не мозолить никому.

«А и правду,— думал,— хорошо Наталья Алексеевна распорядилась. Мужики животы клали из-за этих-то мехов, а тут нагрянут черти...»

Наталья Алексеевна тоже в огни всматривалась, к борту привалившись. Ноги у нее вдруг отчего-то ослабли, голова закружилась.

Огни, пробиваясь сквозь дымку, дрожали на воде, текли змеящимися струями. «Знобко что-то мне,— думала,— нехорошо. Уж не заболела ли? Вот бы некстати совсем».

Откачнулась от борта, и словно шевельнулось у нее что-то внизу живота, а огни на воде вдруг качнулись в сторону и вспыхнули ярко.

Наталья Алексеевна нащупала на палубе бухту каната и опустилась тяжело. «Что это со мной? — мелькнуло в голове. И пронзила мысль: — Дитяtko будет у меня, дитяtko».

И ждала, и знала давно, что ребенок должен быть, но не верила. И вот шевельнулся он во чреве, властно и сильно стукнул, будто бы просясь в мир.

Холодным потом облило ее: «Дитяtko, а Гриши-то нет. Как я одна-то буду?»

За бортом плеснуло. Голос раздался:

— Эй, на галиоте!

Это был Измайлов.

Наталья Алексеевна подняться было хотела навстречу капитану, но сил не хватило.

Измайлов подошел из темноты, склонился озабоченно:

— Что с тобой, матушка?

— Голова что-то закружилась,— ответила она и, оперевшись на его руку, поднялась.

— А я уж испугался,— заметно обрадовался капитан,— не дай бог, хворь какая. Мне ведь за тебя перед Григорием Ивановичем держать ответ.

Веселый вернулся с берега Измайлов.

— Народец подсобрал,— сказал он,— мигom сейчас управимся.— Крикнул в темноту, за борт: — Концы заводите, братцы, и пошел!..

Через час галиот стоял у причала, как раз напротив шелиховских пакгаузов.

С судна на причал два трапа бросили, и мужики забежали в свете факелов.

Вдруг объявился портовый солдат. Стал спрашивать — что да кто? Но Измайлов на него пузом обширным поднапер:

— Шторма, шторма боюсь, служивый. Видишь? — Махнул рукой на небо. — Знаки плохие, ежели взять в учет науку навигацию.

Солдат поднял лицо, вглядываясь в темноту ночную. Небо, как назло, звездным было. Ни облачка, ни тучки. Месяц ясный и звезды горят одна к одной, как начищенные. Все обещало — дураку ясно — ведро на завтра. Но слова мудрые «наука» да «навигация» солдата смутили. «Кто его разберет, — подумал, — может, и вправду что-нибудь там указывает».

Измайлов еще больше поднапер:

— Завтра, прямо с галиота, к начальнику порта отправлюсь и отпрапортую. Ты уж будь спокоен, милоч.

Солдат поморгал глазами, отошел.

— А мне что, — сказал, — мне как прикажут. Мы люди служивые.

Так и пронесло.

А мужички все бегали и бегали, только скрипели трапы. Измайлов для бодрости покрикивал:

— Веселей ходи, чертушки!

Шелихов проснулся от крика птицы. Открыл глаза и вверх, над собой, на высоком стволе ели, увидел большого пестрого дятла.

Тот, деловито покрутив головой, приспособился поудобнее между сучьями и сильно ударил в ствол острым клювом. Повернул голову, словно прислушиваясь, что-де, мол, там под корой, и, видно, услышав нужное, начал бить так мощно, что только щепки полетели и все дерево запело густо и басовито, как колокол хорошей меди под ветром.

«Ишь ты, работник, — подумал Шелихов и хотел было встать, но, решив, что испугает птицу, остался лежать. — Пусть его, — улыбнулся, — добудет свое, раз так старается». Осторожно, чтобы сучком каким не хрустнуть, на бок повернулся.

Солнце еще не взошло, но видно уже было далеко, и Григорий Иванович хорошо разглядел берег бегущей под горушкой неизвестной речки, густо поросший ивняком и ольшаником, кочковатую кулигу, закрытую высокой осокой, темный ельник за ней, стоящий по пояс в тумане. И эта даль, раскрывшаяся перед ним, вдруг показалась такой знакомой и родной, что сердце защемило. Ну, казалось, раздайся сейчас самая короткая, но неизъяснимо сладкая

песня: «А-у-у! А-у-у-у!» — и совсем бы дома, на Куршине своей почувствовал себя...

Нет поры более красивой на Камчатке, чем осень. Первые холодные росы в великое разнообразие красок оденут деревья, обсыплется земля сладчайшей ягодой — горстями бери голубику и жимолость; в реки войдут неисчислимые стада рыб. И так плотно пойдет рыба, что вода кипит, фонтанами взбрасывается на перекатах под ударами сильных, налитых жиром тел. Тих камчатский край в эти благословенные дни. Сыты рыбой и люди, и звери, и ничто не нарушит покоя, но лишь только вода плеснет в речушке или медведь рыкнет, выхватывая пудовую рыбину на перекате. Но и рыкнет-то не зло, а довольно, радуясь удаче.

Дятел над головой все долбил в ствол, сыпал рыжей корой. И вдруг крикнул громко и метнулся вниз с горушки. Синей молнией сверкнули большие, отнесенные назад крылья.

От потухшего костра поднялся Степан, потянулся, хрустнул суставами, поправил чертову повязку над глазами.

Крепким выказал себя Степан мужчиной в походе. А ведь не сибирский был человек. Казак. Казаки-то, известно, все больше на коне. В этом они молодцы. На таежной же тропе ходоки нужны. Но он не сдавал. Шел как дву- жильный. Шелихов даже и не ожидал от него такого. Степан и старому бы таежнику не уступил.

Бороденку огладил Степан, повернул лицо к Шелихову: — Спишь, Григорий Иванович?

Поскреб под армяком черными ногтями и, не дождав- шись ответа, опустился на карачки перед костром. Дунул в угли. От костра потянуло чуть приметным дымком. Степан поднял лицо, пошарил взглядом вокруг, подобрал кусок бересты, веточки какие-то и стал пристраивать на угли. Опять склонился — так, что видна стала из отставшего ворота армяка жилистая темно-коричневая шея, и дунул на угли так, что серый пепел поднялся столбом. Из-под углей вы- скопили красные язычки, и береста и хворост разом заня- лись пламенем.

Шелихов зашевелился под елью. Степан, разживив огонь, оборотился к нему:

— А... — протянул, — я думал, спишь... Чайку сейчас сгоношим.

— Ты давай, — ответил Григорий Иванович, — насчет чайку расстарайся, а я пойду на коней взгляну.

Начинался пятый день, как вышли Шелихов со Степа- ном из Большерецка. Верховых коней взяли, припас охот-

ний, ружья и, поспешая, пошли на север, вдоль побережья. Дума была такая: подняться до Порапольского дола, соединяющего Камчатку с землей матерой, и далее, миновав узкий этот перешеек, уже по матерой земле, вдоль моря, идти до Охотска. Путь большой. Сотни и сотни верст, да и каких еще верст. Каждая сажень — слезы. Наплачешься. На этом пути ломались многие. Кочкарник, болотины, а то заросли непроходимые или, еще хуже, рассыпной галечник. Вроде и твердо лошадь копыто ставит, а оно скользит, скользит и, ежели не успеешь подпереть скотину плечом, упадет. Раз упадет, два и побьется о камни. С нее тогда какой спрос? Стоит, ноги дрожат, голова опущена — спеклась лошадка. Отдых нужен, иначе не пойдет, хоть ты убей ее. Вот и шагали так-то. Да еще торопились. Григорий Иванович знал: пойдут ветры с Охотского моря — станет много хуже. С опаской на небо поглядывал по вечерам, боясь багровых ветреных закатов. До холодов хотел уйти как можно дальше. Вот оно счастье ватажное: на чужой земле намыкались до пуповой дрожи, а на свою пришли, и тоже не мед.

Григорий Иванович спустился с горушки. Стреноженные лошади ходили по лугу, щипали высокую осоку. Благо еще, что травы стояли в рост человека. И хорошие травы, сочные. Об этом хоть заботы не знали.

Григорий Иванович отпрукал ближнего к себе меринка, рыжего, обгладил и склонился осмотреть ноги. Ноги побиты были немного в бабках, но с вечера Степан по-казацки обвязал запаренными в кипятке травами, и ничего — подсушило ссадины.

Меринок тянулся мягкими губами к склонившемуся перед ним Шелихову, чуть трогал за волосы.

— Но, балуй,— Григорий Иванович поднялся, протер ноздри меринку полый армяка. Потрепал по влажной от росы, но все же теплой шее. Меринок всхрапнул благодарно и сунулся положить тяжелую свою лобастую голову на плечо Шелихову. Григорий Иванович отстранился и, согнав лошадок в табунок, повел к реке.

Пока шел через луг, роса вымочила полы армяка и порты. Ноги обожгло холодком, и Григорий Иванович приободрился разом. Как ни устал за последние дни, как ни вымотался, а подумал: «Ничего, дойдем! Комар забодай!»

Кони по пузо вошли в реку и остановились, припав губами к воде. Пили, не торопясь, поигрывали кожей. Меринок рыжий вскидывал голову, отфыркивался и опять припадал к воде.

Шелихов стоял у склонившейся над берегом старой корявой ивы, поглядывал на коней. И вдруг из-за сопок солнце брызнуло, высветив реку до самого дна — так, что каждый камушек, выстилавший русло, был различим. И Григорий Иванович увидел, что не каждому дано увидеть, ежели он даже и длинную проживет жизнь. В просвеченной солнцем воде шла рыба. Метровые лососи, без усилий преодолевая течение, шли спина к спине, голова к голове. Тела струной вытянутые, ровные, округлые, плотные. Ну, прямо серебро литое. Мощно работали радужные плавники, и чувствовалась в движении рыбьего стада такая первозданная сила, что дух захватывало.

Всего мгновение прозрачна, как воздух, была вода. Солнце поднялось чуть выше, и поверхность реки заиграла тысячами бликов, скрыв под ослепляющим глаза блеском то, что жило в глубине.

Григорий Иванович, отведя коней на луг, поднялся на горшку. Сказал хлопотавшему у костра Степану:

— Кета стеной идет.

— Видел, рыбы пропасть,— Степан снял с костра закопченный чайник. И, перебрасывая из руки в руку обжигающую дужку, разлил кипяток по кружкам. Выложил из котла на разлапистые листья сваренную накануне холодную рыбу. Нежно-розовое мясо лосося, казалось, светилося на темно-зеленых листьях.

Ели молча. Оба знали, что вот эти минуточки — последний отдых перед тяжелым дневным переходом. А уж то, что переход будет тяжел, сомневаться не приходилось. В таком переходе — знал Шелихов — надорваться никак нельзя, и оттого на стоянках не торопил ни себя, ни Степана. Надо было хоть дух перевести. Днем, на ходке, можно было и приналечь, силенки выложить, а сейчас нет — запрягаться следовало без суеты.

Вышли под звонкий перестук дятла на корявой ели. Та ли, что и разбудила Шелихова, птица вернулась, или другая какая прилетела, но с ели вдруг ударила дробь, как барабан, зовущий в поход.

«Тра-та-та-та-та...»

Григорий Иванович поднял голову, взглянул на птицу. Пестрый, яркий дятел, величиной с добрую ворону, вцепившись когтями в рыжую кору и уперев в ствол короткий хвост, как долотом добрым работал.

«Тра-та-та-та-та...» — бойко звенело с ели.

Степан, зубы показав в улыбке, кивнул на ель.

— Как атаман станичный на круг сзывает.

Спустились с горушки, пошли к реке. Но еще долго, долго, все время, пока шли через луг, слышалось вслед: «Тра-та-та-та...»

Шелихов шел первым, ведя в поводу рыжего меринка. Степан в десяти шагах сзади. Расстояние это держали всегда, на случай, ежели первый провалится в трясиину или водомоину, второй вслед не бухнется в бучило, а, остановив коней, слегой, какой ни попало, поможет выбраться.

Миновали луг и травянистым берегом пошли на север вдоль реки.

Так шли часа два. Солнце поднялось в четверть неба, и заметно начало припекать. Шелихов забеспокоился, высматривая пережат, но течение было ровно. Вода, крутя, несла желтые листья ольхи и ивы.

С каждым поворотом река все больше и больше забирала на восток и уходила от моря. Брода не было.

Шелихов придержал меринка. Подошел Степан.

— Вот что,— сказал Шелихов,— переходить надо реку. От побережья уходим. Нам сподручнее вдоль моря идти.

Степан поглядел на реку. Течение несло кривую коряжину ивы. Подмыло где-то и свалило в воду. Коряжина медленно крутилась.

— Здесь глыбь, наверное,— возразил,— смотри, как коряжину несет. Не шибко-то вертит.

Шелихов поднял глаза вверх по реке. Течение на добрую версту впереди было все так же ровно и тихо.

— Нет,— сказал,— надо переходить. Выше поднимаемся, а потом назад идти? Не дело это.

Взял меринка крепче за повод и ступил в воду. Течение толкнулось в сапоги, но под ногами Шелихов почувствовал крепкое дно и пошел смело.

Степан стоял на берегу и смотрел ему в спину.

Мерин вскинул голову, заржал, но Григорий Иванович успокаивающе похлопал его по шее и потянул дальше в реку.

Теперь вода доходила до груди, а Шелихов еще и половину реки не прошел. «Зря сунулись,— засомневался,— глубина большая». Но дно было все так же ровно и крепко, и он пошел дальше. Меринок ступал спокойно. Вода поднялась еще выше. Дошла до горла. Григорий Иванович, сильно огребаясь свободной рукой, ступил на шаг вперед и с головой провалился в водомоину. Выскочил на поверхность и, крикнув: «Ну же! Ну!»— властно потянул за собой меринка. Тот всхрапнул и послушно поплыл. Тут же

Григорий Иванович стукнулся ногами о дно. Встал и, не ослабляя повод, потянул меринка к берегу.

Через минуту они уже стояли на прогретой солнцем гальке, и меринок, крутя головой, отряхивал гриву. Шелихов крикнул Степану:

— Давай!

Знал, раз первая лошадь прошла, другие пойдут смело.

Одежда липла к телу, холодила, зубы стучали. Водичка-то было холодна. «На ходу согреемся,— решил Шелихов,— шагу прибавим и согреемся».

Степан уже выводил лошадей на гальку. Шелихов повернулся и, не говоря ни слова, шибко пошагал вперед.

Через час, обсохнув, они подошли к новой неведомой речушке и, перейдя ее, опять надали в ходьбе, чтобы согреться.

Шелихов нет-нет оглядывался на Степана. Тот, чуть опустив голову и косолапя ногами, шел не отставая.

«Слава богу,— подумал Шелихов,— хоть и попал я в передрыгу, но с крепким человеком. А так бы не выдюжить. Нет, не выдюжить».

### 13

В Охотске перемены произошли. Полковника Козлова-Угренина, портового командира, отозвали в Иркутск.

— Вот дело-то большое,— скажут.— На то он и чиновник. Такого отзовут куда хочешь, призовут к чему хочешь, или хуже того — пошлют куда подальше. Человек подневольный, государственный. А особливо ежели он из военного ведомства или из тех чиновников, которые за порядком следят. Здесь дело известное.

И ошибутся, конечно.

Человек русский приметливый. Отзыв отзыву — рознь.

Иного, действительно, отзовут — и все тут. Ничего не скажешь. А другого отзовут — есть о чем подумать.

Вот что в Охотске приметили. Прибыл в порт посыльный от губернатора, и по всему видно было, что в пути он не дремал. Рожа обтянута, живот впал — гнал, зная, молодец, и гнал шибко. В Охотске, и слова не сказав, прямо к портовому командиру — шась. Тот, кто смотреть умеет, скажет: неспроста такое.

И другое приметили.

Козлов-Угренин пинком посыльного из дома не вышиб, но и вместе с тем из пушки не велел палить, за здоровье прибывшего выпивая, как это обычно бывало.



Нет. Затих полковник. Свечи даже не светили в кнах. И вообще ни звука не доносилось из дома. Можно подумать было, что в доме полковника уже и нет вовсе, а кто-то другой поселился. Собаки полковничьи — на что уж были злы — тоже вдруг подобрели и в тот вечер ни одного прохожего не задрали.

Смешно сказать: мимо дома командира порта люди, как мимо других домов, проходить могли спокойным шагом. Да и больше осмелев, где-то неподалеку, в улице, кто-то на струне забренькал. Сначала тихо, тихо, но потом и громче, громче: мол де гулял молодец по деревне. И даже голос слышался незадушенный:

— Эх, вышла б я, да ножкой топнула...

И ежели иные приметы не каждому в глаза бросились, то этого и слепой не заметить не мог. Все смутились. И среди тех, кто посмелее, пошли разговоры, как это всегда бывает:

— А знаешь ли?..

— А ты подумай, голова?

Ну и не без того, чтобы:

— Шу-шу...

И конечно же:

— Ши-ши...

По углам, разумеется. Шептуны-то эти — народ дерзкий.

На следующий день и вовсе резонов для пересудов явилось предостаточно.

Полковник, ко всеобщему изумлению, из дома вышел и улыбнулся солдату, стоявшему на посту. От неожиданности солдат ружье уронил. И здесь полковник удивил всех еще более: наклонился, ружье поднял и отдал солдату. Больше того, похлопал его по плечу и сказал:

— Молодец!

И опять улыбнулся.

Тут уже весь Охотск решил: Козлову-Угренину пришел конец.

Шаг и тот у полковника изменился. Раньше Козлов-Угренин ходил, как сам себе монумент. Идет — и звон металлический слышится, а тут забегал по Охотску ныркой рысью. Многие даже смотреть стеснялись. Вот какие изменения удивительные с человеком случаются, когда его из штанов с начальничьим рантом вытряхнут. А ведь полковника и не вытряхнули еще, а только чуть за штанишки взяли.

Недели две бегал Козлов-Угренин по Охотску, обоз собирая. И собрал. Много чего на телеги полковничьи было

навалено, но не разобрать под рогожами. Зашпилены возы были надежно. Одно только стало известно — перепутал полковник свое и казенное, ну да в сутолоке как не перепутать? Чиновник и в спокойные дни не отличает казенное от своего

Обоз на Якутск тронулся с намерением оттуда уже податься в Иркутск.

Надо сказать, что провожать полковника охотников немного нашлось, но все же был народ. Люди отходчивы. И хоть у многих из провожавших поротые полковником задницы саднили, но ручкой помахать все же вышли. И бабы у ворот пригорюнились, кулачками подпершись. Ну эти уж, понятно, и вовсе сдуру загоревали.

Обоз ушел, а в Охотске за полковника — Готлиб Иванович Кох, известный ласковостью своей, остался. Но и он, неожиданно, изменился. Правда, никому неведомо было — надолго ли такое.

Капитан Измайлов рано утречком к нему пришел доложить, что-де, мол, так и так, из плаванья дальнего возвратились и по причине предполагаемого шторма в порт вошли и без рапорта начальству поспешно разгрузились.

Замолчал, ожидая грозы, а Готлиб Иванович вдруг бух и предложи ему сесть на стульчик. Да еще сам встал и стульчик подставил.

Измайлов только губами пожевал от неожиданности. Подергал своими китайскими длинными усами. Всего ждал, но такого и во сне не мог представить.

Дальше еще более странно получилось. Кох о здоровье капитана и команды начал расспрашивать. А когда узнал, что Григорий Иванович в Большерецке остался и галиот в Охотск Наталья Алексеевна привела, вскочил и немедленно пожелал проехать к Наталье Алексеевне.

«Вот оно как оборачивается, — испугался Измайлов. — Наталья-то Алексеевна дома одна, и Кох хапнуть хочет по-крупному. — Подобрался весь. Решил: — Нет, не дам такому случиться».

Сели в карету командира порта, известную всему городу, и поехали. Кох палкой торчал на сиденье. Карета ползла по ухабам, по золе, по мусору, наваленному тут и там. И вдруг Кох переломился. Головой вниз нырнул, прохожему кланяясь.

Тот опрометью в ворота кинулся. Да и перепутал, конечно, бедняга, ворота. Не в свои попал.

Карета проехала.

«Ну, — решил Измайлов, — дело совсем плохо».

Но Кох, в дом Шелихова явившись, теленочком себя повел. Прежде всего, как кавалер галантный, ручку у Натальи Алексеевны попросил поцеловать. А та, непривычная к такому обращению тонкому, засмушалась было, но все же подала руку.

Кох к руке припал, как жаждущий к ручью. А когда лицо поднял, глаза у него сияли, как ежели бы он одарен был сверх меры. А дальше только и слышали от него:

— Да как это случилось?

— Да что же это за напасть?

А о взятке ни полслова.

Как будто он и вовсе не знает такого и, больше того, никогда не знал.

Наталья Алексеевна заговорила о том, что-де, мол, вот Григорий Иванович вернется и тогда уж меха, из-за моря привезенные, в амбарах сочтет, суммы денежные, какие положено, в порт внесет и, конечно же, одарит всех. Но на то Готлиб Иванович только замахал руками и глазки у него заморгали:

— Не беспокойся, матушка, не беспокойся.

— А пока,— сказала Наталья Алексеевна,— я решила вам, уважаемый Готлиб Иванович, от себя, со счастливым возвращением из-за моря, преподнести маленький презентик.

Тут в комнату связку белки вынесли. Связку добрую. На два-три хороших тулупчика. Но Готлиб Иванович, мехов этих будто испугавшись, из комнаты выскочил и по крыльцу каблуки его пролетели. Слышно было еще, как кучер кнутом лошадок ударил и карета отъехала, поспешая.

Измайлов, стоя посреди комнаты, ус закусил, сказал.

— Да...— В нос слово это произнес. Так, что у него скорее получилось: — Н-н-нда...— Постоял некоторое время, выплюнул ус, добавил: — Однако бывает... Посмотрим...— И опять повторил свое: — Н-н-нда...

Виной этим необычным переменам в Охотске был губернатор Иван Варфоломеевич Якоби, генерал. Но ежели всю правду до конца рассказывать — оно только для Охотска ветерком потянуло от генерала. Сквознячок издалека пришел, из Петербурха.

Вечер синел за окном, а Иван Варфоломеевич все не уходил из обеденной залы, голову над тарелками китайскими — красоты изумительной — опустил. Лакеи стыли у стены.

Думал генерал Но ведь и так бывает что и губерна тор задумается

Грехов за собой генерал знал немало Но ежели опять же правду сказать за какими генералами грехов нет? Мо-жет быть, только за теми, захудалыми что командуют сол-датиками в войсках дальних от Петербурха У тех, дей-ствительно, какие грехи? Знай себе

Ать, два! Ать, два

Неразумен солдат, привяжи ему сенца да соломки к ногам и по-другому командуй

Сено, солома! Сено, солома

Научится Мужик только с виду глуп, а так голова ни чего у него Других не хуже Еще может и вперед за-бежать

Да таких генералов, вечных вояк, никто, почитай, и не знает Сидят они на окраинах дальних и свое делают молча. Солдат артикулам учат, крепости строят, блюдут рубежи державы Им и этого достаточно

Есть другие генералы — стоящие поближе к дворцу.. Вот таким в душу загляни — и черноты увидишь немало. «А оно почему бы черноте и не быть, — думал Иван Варфо-ломеевич, — ежели и сам царский двор баловать начал?»

И заметил верно. Куда уж далеко ходить: Петра III — супруга правящей императрицы — гвардейские офицеры на-смерть затоптали. Приладились было душить, но он вырвал-ся, тут его и каблучками, каблучками, пока не отдал душу.

Иван Васильевич походя сына своего, наследника пре-стола, зашиб посохом насмерть. Не вовремя сынок-то вошел к нему в залу, ну и взъярился царь и, конечно, хватил цар-ским жезлом по головке сыновьей. Что уж там: царь оно и есть царь. Не входи, когда не надобно А жезл, что дубина тяжкая разбойничья, голову и проломил. Позже, правда, говорят предания, царь шибко горевал. В монастырь хотел уйти, покрывшись скуфьей иноческой, но почему-то не ушел.

Но Иван Васильевич — старина, забытая давно. Вот уж Бирона, при котором Якоби и вступил в русскую служ-бу, — все сильного человека, десяток лет вершившего дела России, в Петропавловскую крепость, в сырой рavelин суну-ли, а позже на простой телеге в Пелым отправили.

И дальше, дальше можно было во множестве сыскать примеры. Но оно и так вопрос следовало задать: что ж, ежели божьи помазанники не щадили никого, за власть борясь, с генералов-то, стоящих к трону близко, какой спрос? Им одно и осталось — то тому, то другому, то всем вместе друг другу в глотку вцепляться. Вот и чернота в

душах. Какие уж там солдаты, крепости, рубежи державы святые? Здесь бы урвать поболее...

Иван Варфоломеевич тяжелое лицо крепкой ладонью потер, поправил букли парика. Подумал: хорошие для него времена были в дни властвования Эрнста Иогана Бирона. Дни восхождения по лестнице успеха. И вдруг Эрнста — в холодный Пелым...

В те годы хвостом вильнул Якоби, вглубь ушел, и, может, другой и не вынырнул бы, но он не таков был. Нашел лазейку — не без черноты, конечно, пришлось — и опять выбрался на поверхность. При покойном Петре III большую силу стал забирать. Дворец в Петербурхе имел не из худших. Не чета жалкому родовому замку в Курляндии, откуда вышел Иван Варфоломеевич. Сырой был отцовский замок — каменный мешок, по мрачным коридорам которого бегали рыжие, лохматые крысы с отвратительными мокрыми хвостами. Нет, русские мастера умели строить! Высокие залы, стройные колонны, окна во всю стену. Можно только удивляться, как серые мужики создавали такую красоту. Мужики... Тысячей рабов владел он, но другие выскочили наперед. Началось царствование Екатерины, и понял Иван Варфоломеевич — нырнуть вновь надо в глубину, где течение потише, где коней не так гонят. Выпросил место губернаторское в Иркутске. Далековато от столицы, но не голодное местечко, и отсюда скакнуть можно при случае высоко.

«Скакнуть, — подумал Иван Варфоломеевич, — легко сказать». Глаза поднял от стола. Двинул морщинистой кожей на лбу. Лакеи подтянулись. Однако генерал опять опустил глаза. Помнил он, как речь произнес перед купчишками о торговле. Надвое толковать ее можно было. Не знал генерал тогда, откуда ветер дует, и речь его была соответственная: как хочешь, так и понимай. А сейчас человек верный — у каждого губернатора такой должен быть — подсказал, что-де, мол, многие в Петербурхе о востоке заговорили. Заговорили...

Политика — многодумное дело — ведомо было генералу, как и то, что здесь, кто кого опередит, тот и сверху.

Иван Варфоломеевич подумал и решил, что время пришло в губернии проявить власть и громко о том сказать.

Обличители особенно выделялись из крикунов — знал генерал.

Крикнет такой:

— Воры! Воры!

Человек смиренный так и отшатнется к стенке. Ручонки

растопырит, опираясь на кирпичики. Другой тоже к стенке припадет. И крикун сразу убьет двух зайцев. Наверное, скажут: «Вот дерзает!» И второе: «О ворах кричит — значит, сам не вор. Воровство ему душу рвет». И в ладони, от стены отойдя, заплещут. «Ура, — дескать. — Ура герою!» Ну и орден на грудь.

Прикинув так, генерал начал искать вора. Да такого, чтобы видно было всем. А что искать-то: вот он — Козлов-Угренин. Из воров вор. Генерал его и задел по головке. Надул щеки, кровью багровой налился и закричал:

— Под суд! Законы империи и денно и нощно охранять надо!

Оглянулся: слышат ли в Петербурхе, как он бдит? А чтобы голос его дошел лучше до высокого слуха, донос срочно настрочил. Человечку надежному послал словцо. Со словцом, конечно, маслица сибирского в горшочке и с ним золотишко там, рухлядишку меховую. Маслице-то — еще неизвестно, смажет ли горло, чтобы голос явственно прорезался, ну а насчет золотишка давно ведомо, что оно — желтенькое — как ничто иное голос укрепляет и большую придает ему силу. Резонанс особый в голосе — при желтеньком-то — появляется, чарующие нотки и вместе с тем властность, объем, смелость прямо-таки неожиданные.

Хлопнув Козлова-Угренина по башке, генерал затих, ожидая — что из этого выйдет? Генеральская выдержка в таком ожидании нужна и мудрость тоже генеральская...

В зал свечи внесли.

В костре сучья потрескивали, шипели. Угольки падали в снег. Плохо разгорался костер, а иззябли донельзя. Шелихов скрюченными, неслушающимися пальцами остороженько подбрасывал веточки в огонь. Вот-вот, ждал, вспыхнет жаркое пламя, и тогда уж можно будет присесть к огню и обогреться. Кухлянка на спине у него топорщилась ледяным коробом.

Степан, слышно было, неподалеку орудовал топором. Тюкал по мерзлым елям. Стук топора разносился далеко в мертвой тишине заснеженной тайги.

Собаки, голодные после перехода, лезли к огню. Грызлись, скулили. Кормить надо было собак, но Григорий Иванович прежде хотел разжечь костер.

Собаками разжились перед самым снегом, продав коней охотничьей ватаге. Те шли на юг Камчатки, и кони были им сподручнее. Собаки ничего себе — кормленые, в теле.

Наконец огонь взялся хорошо, вьелся в сучья, налился белым жарким цветом.

По хрусткому снегу подошел Степан. Сбросил с рук охапку сучьев. Бороденка была у него в сосульках. В инее Ободрав сосульки, сказал:

— Жмет мороз-то, Григорий Иванович. Ух, жмет!

Наклонился к костру, протянул руки к огню.

Шелихов шагнул к нартам. Торопился накормить собак. Знал: собаки — вся надежда.

Свора сунулась за ним.

Шелихов отогнал собак от нарт и развязал мешок с юколой. Топором рубил рыбин пополам и бросал каждой собаке кусок. Следил, чтобы досталось всем. Вожаку швырнул рыбину целиком. Тот, лязгнув зубами, схватил юколу и отпрянул в сторону. Лег. Вожак был хорош. С крупной, массивной головой, широкой грудью, с пушистым, большим, как правило, хвостом. Мохнатые, мощные лапы вожака необыкновенно высоки для ездовой собаки, и потому идти ему, даже по глубокому снегу, легко.

Шелихов подумал, что надо бы получше собак накормить, измотались, но, взглянув на пустеющий мешок, решил — хватит.

Собаки разбежались вокруг костра и с рычанием грызли мороженую, крепкую, как камень, рыбу.

Шелихов завязал мешок с юколой, достал припрятанных в передке нарт настрелянных днем куропаток. Три белых комочка. Присел к костру и начал навешивать над огнем туго набитый снегом котел.

Делал все это он без видимых усилий, как делал и каждый вечер, хотя бы и устав до того, что впору лечь в снег у костра и лежать без движений. Но этого-то он и не позволял себе.

Григорий Иванович знал — раз так ляжет человек, не напившись горячего кипятка и не съев чего-нибудь, два, а на третий не встанет. Это был закон тайги. Отсюда выходил только тот, кто умел переломить немощь.

Степан, по-прежнему в отдалении, тюкал топором по мерзлому дереву. Вода в котле закипела, и Григорий Иванович — одну за одной — сунул в кипящую воду мороженных куропаток. Затем, обив мокрых птиц об унты, сел и начал ошипывать перья.

Все тело ныло до боли, но Шелихов как будто не замечал этого. Жесткие перья куропаток скользили в одеревеневших пальцах, однако он настойчиво рвал и рвал их, пока не ощипал птиц. Затем ножом развалил тушки пополам и выковырял смерзшиеся внутренности. Свистнул жожаку и, когда тот подбежал, виляя хвостом и блестя глазами, кинул ему розовые кусочки. Три раза швырял он лакомство собаке, и три раза жожак взмывал в воздух, на лету схватывая подачку, проглатывал не жуя.

Остальные собаки, сгрудившись вокруг жожака, лишь жадно поглядывая, стояли и молча и неподвижно, будто понимая, что эту дополнительную порцию жожак заслужил, так как идет первым в упряжке и ему приходится труднее других.

Григорий Иванович опустил куропаток в котел и мог бы наконец присесть и расслабить усталое тело, но он и сейчас не сделал этого. А сняв толстую меховую кухлянку и оставшись только в мягкой рубашке из пыжика, тщательно выколотил палкой кухлянку и коколь и повесил возле костра. Так же тщательно разлапистой еловой веткой выколотил меховые штаны и унты, а затем даже снял унты и, стащив с ног меховые чулки, выворотил их наизнанку, осмотрел, выбил о колено и только после этого, надев вновь, натянул унты.

Подошел Степан, с трудом волоча за собой две только что сваленные здоровенные ели.

Шелихов уступил ему место у костра и заставил снять и выколотить кухлянку, меховые штаны и унты.

Пока Степан возился со своей одеждой, Григорий Иванович, взяв топор, изрубил ели и сложил поленья возле костра с подветренной стороны — так, чтобы, проснувшись, удобно было без особых усилий взять полено и подбросить в огонь.

Из котла начала выбрасываться на огонь пена. Разворошив костер, Шелихов убавил пламя и, принеся с нарт мешочек с сушеной колбой, бросил в кипящую воду горсть кореньев. От котла пахло чесночным духом, так что голодные желудки заныли. Снял котел, поставил на постланную у костра хвою. Торопясь и обжигаясь, они начали хлебать пахнущую смольем и дымом похлебку.

После тяжелого, многоверстного перехода первые глотки горячей похлебки вливались в желудки с ноющей болью, но уже через минуту боль ушла, и каждая ложка пахучей жидкости прибавляла сил. Но вот ложки все медленнее и медленнее тянулись к котлу, а тела едоков наливались сон-



ливостью, валящей с ног усталостью, желанием откинуться головой на мягкую хвою и закрыть глаза

— Все,— сказал Степан и стукнул ложкой о край котла. Лицо у него было залито лаково блестящим в свете костра потом.

«Хорошо,— подумал, глядя на Степана, Шелихов,— теперь его прогреет до костей» Сказал.

— Ложись, ложись. Спи.

Степан натянул на голову куколь так, что он закрыл все лицо, и растянулся на хвое подле костра.

Шелихов убрал котел, накрыв плотно ветками ели и придавив поленьями, чтобы не добрались до остатков похлебки собаки, подтянул ближе к костру нарты и только после того, так же как и Степан, накинул на голову куколь и лег тут же у огня.

Последнее, что он услышал, прежде чем забыться во сне, был сухой, громкий, как выстрел, щелчок. Медленно, медленно в голове родилась мысль: «Мороз крепчает. Деревья рвет».

Нарты шли все медленнее и медленнее, глубже и глубже зарывались в снег. Собаки тянули из последних сил. Вожак, останавливаясь, скалил белые зубы, рычал на упряжку, но собаки были так измучены, что и грозный рык их поднимал с трудом.

Несколько дней назад Шелихов поутру начал было укладывать в нарты немудреный скарб и вдруг упал в снег. Степан подскочил к нему. У Григория Ивановича, как у неживого, рука откинулась на сторону.

— Иваныч, Иваныч! — тряхнул его Степан.

Но тот молчал. Потом застонал, с трудом руку подтянул и полез под кухлянку.

Степан подтащил Шелихова к костру, уложил на лапник. Подсунул под голову поболее ветвей, чтобы было выше. Разживил костер, согрел воды, поднес кружку к губам. И все спехом, спехом. Шелихов с трудом проглотил горячее. Лицо начало розоветь. А рука все тянулась, тянулась к груди, словно бы чувствовал он, что навалился на него тяжкий груз, а ему хотелось спихнуть его с себя, отбросить. Чувствовал, что только тогда можно будет вздохнуть всей грудью и боль, рвущая под горлом, пройдет. Наконец дотянулась рука до груди, вцепилась ногтями в мех.

Степан, желая пособить, хотел было кухлянку с Шелихова стащить, но тот разжал губы и внятно сказал:

— Не надо.

— Что ты, что ты,— склонившись к нему, заговорил то-ропливо Степан,— пугаешь меня? Сейчас полегчает...— Бороденка у него тряслась.— Подожди, кухляночку-то сброшу, воздуху возьмешь в себя...

— Не надо,— еще раз твердо сказал Шелихов. Немигающие его глаза, странно прозрачные, пристально усталились на Степана. Но вдруг выпуклые мышцы по краям рта дрогнули, и он сказал:— Воды, воды горячей.

Степан черпнул из котла полную кружку, поднес к губам Шелихова.

Шелихов глотнул воду, стуча зубами о край кружки. Наконец отсунул от себя кружку, откинулся. Сказал через малое время:

— Легче стало. Посади меня.

Степан, суетясь, поднял тяжелое, кренящееся на сторону тело, подвинул к ели, опер спиной о ствол. Обрывая кухлянской кору, Шелихов поерзал, устраиваясь поудобнее, вздохнул, и только сейчас глаза его ожили. Исчезла пугающая прозрачность, и глаза налились цветом.

— Ух,— передохнул он,— ну, вроде бы отвалило...— Качнул головой.— Отвалило.

Ни тот день, ни следующий и еще три дня не трогались с места. Степан нарубил дров и палил костер вовсю, надеясь, что тепло поднимет Шелихова. Собаки, скуля и повизгивая, с озабоченностью поглядывали на хозяев. Вожак несколько раз подходил к нартам и, вопросительно взглядывая на хлопотавшего у костра Степана, недовольно рычал.

К вечеру последнего дня стоянки Степан изрубил оставшуюся юколу и раздал собакам. Для Шелихова и себя сварил в котле двух подстреленных недалеко от лагеря белок. Варил и думал, отвернувшись от Григория Ивановича хмурым лицом: «Что завтра-то будет, чем собак кормить. Да и что сами жрать будем?» Но о тревоге своей не сказал ни слова.

Шелихов сам заговорил о том, о чем думали и молчали оба все эти долгие дни.

— Плохо дело,— сказал он, не пряча лица,— плохо, Степан.

Посмотрел в огонь.

Степан насторожился.

— Ты,— спросил Шелихов,— когда за белкой ходил, следы хоть какие-нибудь видел на снегу?

— Нет,— ответил Степан,— я уж и сам во все глаза зверя выглядывал... Нам бы сейчас оленя завалить...

Шелихов перебил жестко:

— Оленя сейчас на побережье нет. Ему здесь делать нечего. Он в горы ушел, там ветра потише и снега меньше.

Помолчали.

— Не охотник ты,— сказал Григорий Иванович,— да и я хорош, не приучил тебя. Ну да теперь об этом что говорить.

— Да я в степи ходил за сайгой, за дрохвой.

— То в степи,— хмуро возразил Шелихов,— там другое.

Неприветливо оглянул лагерь. У костра лежали собаки, прикрыв хвостами носы, пустые нарты торчали стоямя в снегу, а дальше — тайга. Отяжеленные снегом ели вздымались в низкое небо, плотно, стеной подступая к стоянке. «Верст двести пятьдесят — триста до Охотска,— подумал,— и вот этих-то пяти дней, что лежу колодой, не хватило».

— Ладно,— сказал твердо,— завтра выступаем.

Степан вскинул голову, спросил обеспокоенно:

— А ты-то как?

— Поднимусь. Нельзя тянуть. Собаки без жратвы ослабнут.

Разговор на этом закончили. Более не о чем было говорить.

Наутро, чуть свет, выступили. И вот сани ныряли, ныряли по глубокому снегу, как лодка по беспокойной воде. Впереди шел Степан, опустив плечи, тропил дорогу. Григорий Иванович тянулся за нартами. Еле вытягивал ноги из снега. И снег-то, казалось, стал другим. Схватывал за унты, как болотная грязь непроходимая, нависал пудовой тяжестью. Григорий Иванович дышал открытым ртом, и перед лицом бился клуб горячего пара, застил глаза радужными кругами.

Степан оглянулся на него и остановился. Остановились и собаки. Степан подошел к присевшему на нарты Григорию Ивановичу.

— Не мучайся,— сказал,— ложись на нарты.

— Глыбь снежную пройдем,— прохрипел тот,— тогда лягу. Все едино свалит сейчас.

— Да я привяжу тебя,— сказал Степан,— надежно будет.

— Нет,— ответил Шелихов, отдышавшись наконец. Махнул рукой.— Пошли.

И опять ныряли, ныряли по снегу нарты. Повизгивали собаки, рычал вожак.

Шелихов, с трудом вытягивая ногу, выбрасывал ее вперед и еле-еле тащил другую. Деревья по краям тропы шатались, валились под ветром и вот-вот, казалось ему, рухнут, накрыв разом и Степана, и нарты, и собак, и его.

Но он все же шел.

В середине дня, выйдя к высоким скалам, теснившимся у побережья черными громадами, Степан решил сделать привал. Скалы заслоняли от ветра с моря, и здесь, в затишке, удобно было отсидеться. «При такой ходьбе,— подумал,— все одно далеко не уйдем».

Вытер рукавом кухлянки мокрое лицо.

Разожгли костер, согрели воду. Глотая кипяток, Степан поглядывал на заснеженные деревья, мямлил бороду, соображая. Поднялся, сказал:

— Ты полежи, отдохни чуток. Я пойду, может, белку стрельну, дупло разворошу. Орехов поедим. Все какая ни есть, а еда.

Шелихов поднял на него глаза. Лицо Степана то приближалось, то отдалялось, уходя вдаль.

— Поближе к побережью держись,— сказал,— и собаку возьми.

Степан вскинул на плечо ружье, свистнул вожаку. Повернулся к Шелихову.

— Поспи,— сказал,— Иваныч, дров не жалея. Я мигом.

И, глубоко утопая в снегу, двинулся к лесу. Туда же скопом пошел и вожак. Неровная стежка следов протянулась за ними по снегу.

Шелихов откинулся на скалу и закрыл глаза. «Полегчало вроде с утра,— подумал,— но вот опять навалилось. А все же идти надо, идти».

Сверху, с вершины скалы, ветер сметал снежок, и он сыпался, сыпался потихоньку, пригашивая костер, накрывая белым покрывалом и нарты, и собак, и Шелихова, прижавшегося к черной каменной стене.

Иван Ларионович вернулся из Кяхты. Доволен был: расторговался прибыльно и товары взял хорошие. Барыш немалый с тех товаров мог выйти.

Кожаный возок во двор въехал, снегом обляпанный до макушки. Коня — трое вороных, впряженные гусем, — дымились паром. Купец вылез из возка бойко, потоптался, распрямляя намятую за дорогу поясницу, взглянул вокруг веселыми глазами.

Мужики, какие были во дворе посрывали шапки Иван Ларионович степенно поклонился дворовым У многих от сердца отлегло хозяин приехал добрым Голиков вразвалочку пошагал к крыльцу Но остано вился и на домишко взглянул искоса Еще потоптался и быстро-быстро пробежал вдоль фасада Встал раскорякой Дворовые приглядываться начали что-де, мол, с хозяином? Бегаёт непонятно А Иван Ларионович все поглядывал да поглядывал на домишко

Дом этот, о шести окнах по фасаду, с крыльцом креп ким, с резьбой затейливой по карнизу и вокруг окон, сло- женный из неохватных цельных стволов, достался Ива ну Ларионовичу от отца и стоял неведомо сколько лет Но был он тепл, надежен и стоять мог, переживя правну- ков. Однако больно уж удачна поездка в Кяхту была, и карман у Ивана Ларионовича от золотишка отяжелел чрезмерно Поэтому ли, или по иному чему, словно бес Го- ликова толкнул под ребро: «А пошто каменные-то палаты не поставить?» Ходил ведь, ходил мимо дома годами и не за- мечал, чтобы худ он стал. А вдруг решил: «Поставлю палаты каменные». И от мысли такой развеселился еще больше.

Поднялся на крыльцо, домашние высыпали навстречу. Не в пример обычному, Иван Ларионович всех обласкал и даже жену в сухую морщинистую щеку клюнул губами. Велел баню затопить.

— Истопили уже,— жена запела,— тебя дожидаясь, свет наш.

Иван Ларионович хмыкнул солидно.

«Что ни говори,— подумал,— а домой вернуться после дороги дальней хорошо».

Бодрость необыкновенная Ивана Ларионовича объясня- лась не только денежным успехом, в поездке ему сопутство- вавшим. Скорее другое поднимало ему настроение.

Съезд купцов в том году в Кяхту, как уже давно не при- поминали, велик был. На ярмарку пришли караваны и из Самарканда, и из Бухары, и из самых дальних аймаков монгольских. И уж видимо-невидимо наехало купцов и из Пекина, и из Шанхая, и многих, многих других городов китайских. Были купцы и из Японии, и Ост-индской компа- нии английской.

Товары навезли — по улицам пройти трудно. По ночам люди с факелами да фонарями тут и там объявлялись, охраняя те товары от лихого народа, так что темнота, по- читай над городом не сгущалась и в ночное время, а все

вокруг светом было залито, и народ толкался в любой час. Глаз веселился смотреть на такое торговое оживление.

Товары выставили купцы на любой вкус. Мука пшеничная и пшено сорочинское, чай байховый с цветами и чай жулан, шелк сученый и железо полосовое, снасти рыболовные, якоря, олово в деле и не в деле, свинец немецкий. Взор поражали ткани разные: дабы пекинские темно-вишневые и дабы синие, сукна голландские и сукна английские, бархат черный и голубой, шелка узорчатые японские цвета василькового, зеленого, жаркого алого. Горами лежали лимоны свежие, цитроны, померанцы, и тут же вина виноградные португальские крепкие в анкерках, водки и спирт в анкерках также, уксус рейнский в бутылках... Всего и не перечтешь.

Купцы звенели золотом на прилавках. Гребли двумя руками.

Припомнив торговлю эту бойкую, Иван Ларионович головой мотнул:

— Хорошо, ах, хорошо...

— Что? — склонился к нему человек комнатный, не поняв, чем надобно пособить хозяину.

Иван Ларионович, от мыслей оторвавшись, взглянул в лицо глупое, но не разгневался. Сказал:

— Кучера позови. Пушай придет, поможет в баньке.

— Ежели прикажете, — засуетился комнатный человек, — с этим и я справлюсь.

— Хы! — хмыкнул Иван Ларионович, оглянув его с ног до головы, — справишься... Сумлеваюсь. Мне рука нужна крепкая, а ты хил.

Поднялся с лавки и пошагал вольно по переходу крытому в баньку в одном исподнем. Сел на лавку в предбанничке, передохнуть перед паром. Похлопал ладошкой по груди и еще раз улыбнулся, Кяхту вспомнив.

Больше денег радовали Ивана Ларионовича услышанные на ярмарке разговоры. Слов, понятно, разных много наговорено, но одно главным было: все уверенно сказывали, что товары кяхтинской ярмарки с великими барышами идут в Россию и спрос на них растет. Это значило для человека, умеющего вперед заглядывать, что торговля на востоке растет, как опара у теплой печи. А как купцу не радоваться, ежели торжище расширяется, этот ветерок только в крылья и поддувает, вздымает выше да выше. И углядывал Иван Ларионович, что при таком-то ветре высоко можно воспарить.

Вошел звероподобный кучер с вениками под мышкой

Иван Ларионович с лавки навстречу ему все морщинки распустил на лице:

— Ты уж уважь, уважь, Игнатыч. Всю дорогу только и мысль была на полке полежать.

Но Игнатыч, как знаток великий банного дела, улыбки себе не позволил.

Скинул молча ненужное из одежды на крайнюю лавку и нырнул в баньку, опарить ее, прежде чем хозяина в работу взять.

Иван Ларионович услышал, как заходил веничек по стенам:

«Шлеп, шлеп, шлеп...»

Это Игнатыч угар ненужный снимал, чад — ежели такие пробились из каменки. Стены грел, чтобы уж хозяину в баньку нежно войти, ничем себя ненароком не потревожив.

Высунул в дверь бороду, буркнул.

— Гм, гм!

Иван Ларионович знал, что означает это. «Входи с богом». Купец поднялся и вступил в баньку.

Говорено о русской бане, что-де, мол, бодрит она, веселит, силы придает, здоровье пошатнувшееся от простуды или иной хвори поправляет. Это так. И вправду баня и бодрит, и веселит, и здоровье поправляет.

Вошел Иван Ларионович, и паром его обняло, как пухом горячим, невесомым, ласковости необычайнейшей. И не то чтобы обожгло где-нибудь или того хуже — припекло — нет! Но облило тело мягко, согрело во всех местах и как бы даже чуть приподняло, неся к полку.

Полок веничками выслан, и пар — боже упаси! — не клубится на нем. Ни в коем разе. Веники, кипятком обданные, упарившиеся, проглядывают каждым листиком.

Но чуть выше полка ровненько, ровненько слоек белый в воздухе намечен и как бы прогибается он вниз пузом мягким, вот-вот, думаешь, ляжет на полк. Но такого-то и не происходит.

Игнатыч опять из себя выдавил утробное:

— Гм, гм!

Это уж означало команду на полк идти. Иван Ларионович на листики лег. И тут же почувствовал, как парок сверху пошел. словно горячие ладошки то там, то здесь тела касались. Вот ладошка чудная на затылок легла, а вот по ребрам прошла, по спине, зашекотала пятки. Это парок, что слойком стоял, вниз опустился.

Игнатыч не торопил. Какая здесь спешка? Человек пе-

ред паром настоящим облежаться должен, обмякнуть. Но вместе с тем и передержать на полке нельзя так-то. Перегреется человек, расслабится, в сон его клонить начнет, какой уж из него парильщик.

Игнатыч, веник держа в протянутой руке, тихо-тихо над полком листиками березовыми трепетнул. На Ивана Ларионовича пар пахнул крутой, кровь горяча. А Игнатыч все шибче и шибче пар гнал, чтобы уж тело до костей пропекло и из самой глубокой жилочки вышла дорожная усталость. И вдруг — шмяк — лег веник на плечи и пошел, пошел гулять по всему телу, бодря и веселя душу.

Из баньки Иван Ларионович вышел, словно вновь на свет народившись. Шел, как ежели бы кто нес его под локотки. Тут тулупчик заячий мягкий, обношенный по телу, Игнатыч на него накиннул, и купец сел на лавку.

Ему кваску холодного — кисленького, брусничного, поднесли.

Иван Ларионович жбанчик двумя руками принял и ртом жаждущим припал к живительной влаге. А когда жбанчик отстранил, дыхание переводя, увидел перед собой рожу мерзкую крючка судейского. Чуть не поперхнулся от неожиданности.

Крючка домашние допустить к хозяину не хотели, но тот сказал, что дело срочное, и сам влез дуром.

— Ты что? — вытаращился на него Иван Ларионович.

— Так и так, — заторопился крючок, моргая, — галиот «Три святителя» в Охотске объявился. Мехами огружен. А Шелихов в Большерецке остался и пеше по побережью идет.

Иван Ларионович и сам заморгал выпученными глазами.

— Вексельки вот, — крючок сунул в руку купцу бумажки желтенькие, — я скупил. Сейчас и ударить надо.

Трясся весь, словно ухватил свое за горло.

Иван Ларионович вексельки принял, взглянул на косо бегущие строчки и руку Ивана Андреевича узнал. За бороденку влажную после бани ухватился. Сжал до боли. И как ни размяк в пару горячем, а сообразил тут же: «Меха-то, знать, Гришка привез хорошие. И не время сейчас замки ломать на лабазах Ивана Андреевича. Пушай туда прежде заморские меха лягут. Тогда и взять можно. Да и на Гришку укорот будет: все пай ко мне перейдут и слово голиковское намного в весе прибавит. Раз уж обложили медведицу с медвежатами — брать надо всех разом».

Хитер, хитер крючок судейский был, но до Ивана Ларионовича все же далеко не достиг.



Голиков вексельки сложил ровненько и спрятал в кармашек. Взглянул на крючка, сказал твердо:

— Пошел вон! Когда нужно, позову.

Собака лизнула Шелихова в лицо и отступила, скуля и повизгивая.

Григорий Иванович, очнувшись от забытья, признал вожака и беспокойно оглянулся, ища Степана. На стоянке его не было.

Костер едва тлел. Шелихов сунул в угли полено. Поднялся от скалы. Первая мысль была: «Степан ушел с вожаком».

— Степан! — позвал Шелихов негромко. — Степан!

Словно в ответ вожак заскулил на высокой ноте, чего не делал раньше, и бросился к уходившим за скалу следам. Призывно оглянулся на Шелихова, заскулил громче.

Григорий Иванович прикрикнул на собаку и уже изо всех сил позвал:

— Степан! Степан!

Голос ударился о скалы, покатился к заснеженным елям и смолк.

«Где же он, — подумал Шелихов, — и почему вожак здесь?»

Увидел стоящее у скалы ружье, шагнул к нему, вскинул ствол кверху.

Громкое эхо выстрела прокатилось по побережью. Григорий Иванович сбросил с головы куколь, отсунул с уха шапку, прислушался. Эхо смолкло вдали, но в ответ не раздалось ни звука. Собаки поднялись и сбились у его ног. Шелихов почувствовал, как вожак тянет его за полу кухлянки. И тут только понял, что случилось несчастье. Он еще не знал какое, но тревога охватила его и влилась в грудь холодом более леденящим, чем жестокий мороз, сковавший тайгу. Впервые за три последних года испытаний, лишений, величайшего напряжения, когда стонет и дрожит в человеке каждая жилка, он остановился потерянно и опустил ружье. Ему стало страшно.

Собаки вились у ног, задирая головы и заглядывая в лицо хозяина. Вожак дернул Шелихова за полу кухлянки так сильно, что тот чуть не упал. Чтобы удержать равновесие, шагнул за собакой и, сделав первый шаг, сделал второй, третий и пошел за вожаком.

Степана он нашел саженьях в трехстах от стоянки. Тот лежал навзничь на развороченном до земли снегу. Рядом с ним темнела туша медведя.

Шелихов понял все. На Степана бросился из-за вздыбившейся чуть в стороне коряжины шатун, а он не успел вскинуть ружье.

Медведя Степан заporол кинжалом, но зверь ухватил его и сломал.

Повалив молоденькую ель, Шелихов уложил на ее ветви Степана и волоком оттащил на стоянку. Потом так же перетаскивал на стоянку медвежью тушу, освежевал и, бросив собакам внутренности, сел к костру.

Оголодавшие собаки, огрызаясь и урча, растаскивали кровавые медвежьи внутренности по снегу. Но Шелихов не слышал собак.

Степана он похоронил тут же у скалы. Сдвинул пылающие поленья в сторону и топором начал рубить землю. Верхний слой поддавался легко, но потом пошла мерзлота, и Шелихов в яме развел новый костер и поддерживал пламя, пока не решил, что достаточно прогрел землю. Завалил снегом костер и опять рубил землю топором и выбирал ее руками горсть за горстью.

Когда с могилой было покончено и у скалы зачернел чуть вздымающийся над поверхностью холмик, Шелихов подбросил поленьев в костер и топором начал высекать на скале крест. Он бил и бил каленой сталью в камень и, хотя топор отскакивал от скалы, почти не оставляя следов, не прекращал работу и на минуту.

Острые каменные брызги обжигали лицо. Шелихов протирает глаза рукавом, взглядывал на свежую могилу. Черный холмик у скалы уже заносило снегом... Все, что оставалось в мире от Степана. Степана, который сабелькой играл под Оренбургскими стенами, пел песни, да так, что у мужиков, многожды жизнью ломанных, вышибало слезу Степана, что однажды, лежа в траве высокой у Большерецка, вдруг взглянул на Шелихова с грустью ласковой, с загадочной и нежной думой...

Шелихов не знал, сколько прошло времени, да и не размышлял об этом. Остановился он только тогда, когда топор, вдруг звякнув, лопнул пополам. Взглянул на испорченный топор и отбросил его в сторону. В разгорающемся свете дня на темной скале отчетливо выступал большой крест.

Костер догорал. Шелихов сидел у затухающего огня и молча смотрел на осыпавшийся серый пепел, на остывающие угли. Сил взять полено и подбросить в костер не было.



Кровь тяжело стучала в висках Горько ему было Ох, горько! Словами не выразить Тоска смертная сосала душу Одно и осталось поднять голову к вершинам молчаливых елей, завывать зверем. Беда Беда И на затерянном на краю света берегу немногим-то и ведомого, закованного льдами моря, один под неохватной громадой низкого холодного северного неба Григорий Иванович подумал «Так в чем смысл жизни человеческой и для чего на свет человек рождается? Чему он служит?»

Меха заструились перед взором Шелихова Дорогие меха. Горностай шелковый, пушистый песец, сказочные шкуры котовые. Засверкало золото.

«Богатством овладеть? — подумал он.— Что же в богатстве том?»

Много, много видел он разных людей. Видел, как бьет, колотится человек из-за богатства, злится, глаза кровью наливая, и все ему мало, и отхватил бы еще, урвал, отнял у другого. Рот разевает шире, и ребра у него от бега сумасшедшего за богатством ходуном ходят. Деревенеют ноги. Язык вываливается, но он все одно: мое! мое! мое! До хрипу. «Остановись! — кричат ему.— Остановись!» Но он не остановится, ежели только в глаза его бьет блеск золотой. А сколько надо ему, слабому, от плоти плоть рожденному?..

Последнее догорающее полено рассыпалось углями, и искры взметнулись к вершинам сосен.

«Тлен богатство,— подумал Шелихов.— Черта последняя у человека есть, и за нее ничего не унесешь. Тлен!»

Губу до крови закусил, вспомнив, как в Иркутск приехав, в лабазе Голикова на меха позарился, позавидовав: вот-де богатство. Мне бы его...

«Так что же,— спросил,— движет человеком? Желание встать над другими?» Знал — хуже золота гонит человека честолюбие. Этот кнут бьет еще сильнее. Ни металл драгоценный, ни камни сверкающие, ни ковры шелковые, ни все богатства мира, которые и не счесть, не обожгут человека так, как эта лютая страсть. Палит она жарче углей, вперед гонит, корчит, мучит, и нет подлости, на которую бы не пошел он, безумием честолюбия охваченный... «Так вот и я гнал,— подумал и, сорвав с затылка кулаки, ударил по коленям,— гнал... чего уж кривить перед самим собой... Но и это тлен, ибо и царей и рабов черта последняя уравнивает... Так в чем же истина?»

И вдруг перед ним встали лица ватажников, увиденные в ту минуту, когда они на Кадьяке столб врыли, границы

державы Российской расширив. Ближе всех стоял Степан, за ним Устин, Кильсей... И глаза их сияли так, как никогда не видел, чтобы сияли они у скупца или честолюбца. Столько гордости было в тех глазах, радости...

«Дело — вот истина, полагаю, — дело, избранное для себя». И уже не от сердечного огорчения, а утверждая, стукнул по колену кулаком: «Дело!»

Черной ночью Наталья Алексеевна слышала, как собаки бешено залаяли у дома и тут же в дверь кто-то ударил. Вскочила с постели и только успела платок накинуть, как в сенях шаги загрели и раздались голоса. Отворяемые двери закричали. Сердце у Натальи Алексеевны забило в волнении. Поспешила навстречу. А едва вышла, увидела — в дверь шагнул человек в заснеженной кухлянке. Шагнул неверно. Ноги, видно, держали ненадежно. Куколь съехал у него с головы, и Наталья Алексеевна ахнула от неожиданности. Это был Григорий Иванович. Кинулась к нему, не помня себя.

Шевельнув спекшимися губами, Шелихов сказал:

— Ну, здравствуй. — Добавил: — Собак во дворе обиходьте, а мне горячего чего-нибудь.

И, закрыв глаза, сел на лавку, не в силах превозмочь усталость.

17

Петербургский день клонился к вечеру.

По расчищенной от снега площадке со следами метлы, у величественного портала воронцовского дворца на Березовом острове, неторопливо прогуливались два человека. Граф Воронцов и его неизменный помощник Федор Федорович Рябов.

Под каблуками башмаков певуче поскрипывал снег. На площадку ложились глубокие синие тени от высоких, стройных сосен, по настоянию графа сохраненных перед дворцом как живописный уголок минувших времен острова. Сосны рисовались на фоне предвечернего потухающего неба тонкими акварельными штрихами. Граф гордился этими соснами, так как их вполне мог видеть Петр Великий, имя которого для Александра Романовича было свято.

— Я был сегодня в Сенате, — говорил он сильным и

своеобычно звучным на морозе голосом,— и указал на цифры, которые, как ничто иное, свидетельствуют о возрастающей роли Сибири во внутренней и внешней торговле державы нашей.

Александр Романович, чуть приподняв подбородок, устремил глаза на разгорающийся за соснами закат. Чеканное лицо его при этом стало особенно значительным.

Федор Федорович Рябов слушал с почтительным вниманием.

— Я говорил этим людям,— «этими людьми» Александр Романович называл высоких сановных лиц, не всегда разделявших его взгляды,— я говорил этим людям, что проволочки и нарочито чинимые препоны в развитии земель восточных — суть косность и ущерб империи.

Опустил голову и, руки за спину заложив, неспешно двинулся вперед. Глубокое раздумье начерталось на его лице. Все говоренное им сейчас, да и ранее по этому поводу, было разумным и справедливым.

Он, граф Александр Романович Воронцов, человек немалой учености, начитанности, знаток европейских языков, смотрел дальше и зорче многих современников. Неразумной и несправедливой была лишь та роль, которую он присваивал себе в огромном, неохватно широком действии, совершавшемся на востоке России. Граф искренне верил, что он историю делает и ее развитие зависит от его настойчивости и последовательности... Но это было не так, да так оно и не могло быть.

К дворцу прошли два мужика, неся плетеную корзину, накрытую белым. От корзины сладко запахло булками свежесвеженными. Мужики поклонились низко и поднялись по широкой лестнице дворца. Булки были выпечены к вечернему чаю с молоком, который неизменно выпивал граф на английский манер. Булки эти — английские — граф научил и заставил выпекать мужиков, хотя до того они выпекали русские калачи, которые были совсем не хуже, но пышнее и вкуснее английских булок, так как само приготовление их исходило из возможностей могучего хлебного зерна, произрастающего на благодатной русской земле, в отличие от тощего хлеба, возвращенного на бедных, каменистых землях туманной Англии.

Александр Романович Воронцов не думал, что мимолетная прихоть его рано или поздно исчерпает себя и мужики вновь вернутся к тем русским калачам, которые они и выпекали прежде, забыв о булках английских. Так же как и не думал, что другие мужики, устремившие шаги к океа-

ну и идущие мощной поступью своей многие годы и десятилетия, так и будут идти, все наращивая и наращивая это необоримое никакими прихотями и случайностями движение.

## Глава четвертая

### 1

В Саари-Сойс — резиденции императрицы под Петербургом — деревья высветились золотисто-красными тонами осени. Листья падали, падали, кружили, ложась на причудливые крыши пагод игрушечной Китайской деревни, заметали лестницы Концертного зала, желтые сугробы наметали на бесчисленных дорожках Старого сада.

По ночам под окнами Большого дворца, в триста сажен растянувшегося по фасаду, голые ветви деревьев шуршали, и ветер с Балтики, как неловкий музыкант на охрипшей флейте, улюлюкал, посвистывал в вычурной лепнине, украшавшей величественное здание.

Шорохи эти как никогда тревожили императрицу, и она подолгу не могла уснуть. А то объявлялась вдруг в глухой, непроглядной сквозь окна, темноте птица со странным голосом и кричала с болью, пугая невесть чем. И это еще больше беспокоило Екатерину. Птицу прогоняли, но она являлась вновь и вновь.

Бравый капрал на вопрос — что это за птица и почему она кричит — вскинул руку под козырек кивера, выпучил до крайней невозможности глаза, но ответить толком ничего не смог. Суровый караульный офицер, сжигая взглядом капрала, готов был сам пойти на поиски злополучной нарушительницы царственной тишины.

— Пусть ее, оставьте, — вяло махнула полной рукой императрица, и губы ее сложились в болезненную гримасу.

Саари-Сойс собственно было Царским Селом. Но Екатерине не нравилось — как она говорила — неловкое русское слово «село», и она предпочитала именно это старое его название: Саари-Сойс.

В одну из ночей ветер с Балтики был особенно злобен, а птица странная, казалось, вовсе сошла с ума и не кричала даже, но хохотала бешено, ухала, словно били в похоронный колокол. Императрица дважды за ночь вызыва-

ла придворную даму, дабы принять успокоительные душистые капли.

Дама эта, немолодая фрейлина с хорошо известной на Руси фамилией, приседая и охая, подносила императрице хрустальную рюмочку со снадобьем и потерянным голосом желала приятных сновидений.

Беспокойно было во дворце.

В соседней со спальней самодержицы зале стоял с многосвечным канделябром в руке старший дворецкий, и канделябр плясал у него в пальцах. Огоньки свечей пугливо вздрагивали, многожды отражаясь в зеркалах, расставленных тут и там.

— Спаси господи,— шептал дворецкий, пугливо вжимая голову в плечи при каждом новом крике птицы,— пронеси господи...

Отсветы свечей прыгали по стенам залы.

Императрица, выпив успокоительные капли, ложилась на белокипенные высокие подушки, но глаз не закрывала.

В неверном свете свечей видно было: лицо у императрицы с желтинкой, у висков и на щеках тени.

Птица за окном кричала все надсадней и страшней.

Императрица вдруг вспомнила, как совсем маленькой девочкой ехала в Россию литовскими глухими лесами и так же вот кричали неведомые птицы. Екатерина сложила руки на груди и, чуть шевеля губами, прочла про себя старую молитву, которой учила ее гроссмуттер.

Царица шептала и шептала наивные и жалкие слова детской молитвы, и ежели бы кто увидел в сию минуту лицо самодержицы всероссийской, то оно бы его изумило крайне. Всегда надменное и холодно царственное, сейчас это было лицо давно уже состарившейся женщины, да и к тому же еще испуганной и растерянной. Но самодержицу никто увидеть не мог, и она это хорошо знала.

Несмотря на волнения, Екатерина оттягивала и оттягивала переезд в Петербург, и на это были особые причины.

В Саари-Сойс никто не смел громко слово сказать. В глазах и у придворных, и у слуг лежала печать озабоченности.

— Т-с-с-с,— слышалось то там, то тут, предупреждающее какой-либо громкий звук.

Но в конце концов ветер и сумасшедшая птица победили императрицу.

Встав однажды поутру, во время туалета она сломала в раздражении драгоценный китайский гребень, усыпанный



бриллиантами и, поджав поблекшие губы, распорядилась о переезде.

По залам и многочисленным переходам дворца пролетел вздох облегчения. Забегали, засуетились слуги, где-то неосторожно хлопнула дверь, звякнуло стекло, а любимица императрицы — белая как снег борзая Ага — залаяла и за металась по залам, пушистым хвостом опрокидывая хрупкие французские стульчики. Когти Аги звонко стучали по паркету.

Императорская карета была подана, и Екатерина вышла на ступеньки парадной лестницы, придерживая затянутой в лайку рукой подол тяжелого, темно-вишневого платья. Лицо ее, тонущее в высоком кружевном воротнике, было теперь, как всегда, высокомерно.

Многочисленные придворные, провожавшие императрицу, не поднимали глаз.

Императрица откладывала переезд со дня на день, зная, что в Петербурхе на плечи ее бремя немалых забот ляжет, а она, несмотря на спокойствие, старательно сохраняемое на людях, не готова была принять этот груз.

Первой в карету прыгнула Ага и, повернувшись, уставилась желтыми преданными глазами на хозяйку.

Екатерина все еще медлила, стоя на широких ступеньках. «Что же ты, что же?» — спрашивали с недоумением глаза собаки. Ага подняла голову кверху и, показывая желтые клыки, недовольно взлаяла. «Ну же, ну, смелее!» — казалось, говорила она.

Екатерина шагнула вперед.

В толпе провожавших произошло быстрое движение, услужливые руки убрали лесенку кареты, захлопнули дверцу, и старший дворецкий, едва разомкнув испуганно сжатые губы, шикнул кучеру:

— Давай! — Отступил на шаг и согнулся, словно сломавшись, в глубоком поклоне.

Карета, шурша по опавшим листьям, покатила по большой садовой аллее. Собака улеглась, вытянувшись во всю длину, на пышном подоле императрицы.

Двенадцать пар крученого китайского шелка вожжей лежали в широких ладонях царского кучера, и он играл ими, как струнами необыкновенных гуслей. За поворотом главной аллеи кучер, напрягшись лицом, тронул плавно коренников, и те, вскинув головы, пошли смелей, но карета при этом не дрогнула, не рванулась, а лишь мягко и неприметно прибавила в скорости. Кучер все бодрил и бодрил коней.

Екатерина повернула голову и взглянула на сидящего рядом, на атласных подушках, спутника. Тот безмятежно следил глазами за мелькавшими за окном осенними деревьями. Екатерине был виден безукоризненно прямой нос, тонкого рисунка скула, округлый подбородок. Белые нежные руки спутника императрицы покойно лежали на коленях, и, хотя он сидел, вся фигура его — легкая и стройная — выказывала изящество поистине необычайное.

Почувствовав взгляд самодержицы всероссийской, он оборотил к ней лицо, и губы его, созданные, казалось, только для поцелуев нежных, затрепетали в улыбке. Это был Александр Матвеевич Дмитриев-Момонов — последняя сердечная привязанность Екатерины. Он один в эти дни в Саари-Сойс был беспечен.

Неожиданно, глядя на прекрасное свежее лицо, императрица с болью в сердце пожалела, что не сидит с ней рядом грузный, одышливый, с перевитым грубыми морщинами темным лицом, но налитой тяжелой, неотразимой силой, светлейший князь Григорий Александрович Потемкин-Таврический. Ох, как он был сейчас ей нужен!

Екатерина с трудом подавила родившийся в груди вздох. Она знала, что Григорий Александрович никак не мог сидеть в летящей к Петербурху карете, ведя в это самое время по грязным, разбитым, разъезженным степным дорогам Причерноморья стотысячную русскую армию.

Императрица сузила глаза и отвернулась от спутника. А он, не прочтя тайную мысль самодержицы всероссийской, вновь оборотил безмятежное лицо к сказочно прекрасным в своем увядании деревьям.

Осенние парки Саари-Сойс были прекрасны. Садовники хорошо знали свое дело. В парках загородной резиденции российской самодержицы породы деревьев и кустарников были подобраны так, что в любое время года — будь то осень или зима, весна или лето — цветовой их ряд складывался в неповторимый рисунок, неизменно восхищавший и самый придиричивый взгляд. Серебряная прелесть берез подчеркивалась и выделялась черной корой мощных липовых стволов, а неувядающая зелень елей опоясывалась светлым кустарниковым кружевом баскетов. Можно было только удивляться искусству мастеров, создавших это чудо.

Александр Матвеевич считал себя поэтом, и вид осенней листвы, обнаженные, печальные ветви, блескующие под дождем, навевали на него мысли лирические, далекие от мирских тягот. Нет, он определенно был в стороне от забот и быстротечных дум.

Императрице же было о чем волноваться и думать в эту осень. Корабль империи входил в полосу бурь.

Ночные тревоги царицы были капризом, и не больше. Прояви она настойчивость — птицу, хоть и странную, поймали бы и представили ей в золоченой клетке, чтобы она пальчиком ей погрозила. Тревожило и пугало царицу хмурившееся над империей небо. Были балы блистательные, фейерверки пышные, и в небе, звездами усыпанном, вертелись огненные колеса, лопались, рассыпались цветными искрами смешные шутихи, трещали швермеры. Но отпел сладкоголосыми гобоями и волшебными флейтами праздник, отплясал бал, откружили в стремительных вихрях на высоких каблуках прекраснотицы дамы, и тучи повисли над головой.

Турция, так и не смирившись с потерей Крыма, объявила войну России. Из Стокгольма грозил кулаком король шведов — Густав. Пока только грозил, но можно было ждать всего. Король не мог забыть пинка, которым Петр Великий вышиб его задиристого предка из Прибалтики. Шишки набитые саднили годами, и король зубами скрежетал, похваляясь отомстить за обиды.

Немало и другого было, что заставляло хмурить брови императрицу.

Во Франции — благословенной Франции, с лучшими людьми которой императрица переписывалась годами, — поднимала голову пугающая ее до дрожи революция.

Нет, осень 1787 года была поистине тревожной. До красот ли увядающих деревьев было здесь?..

Поезд императрицы догнал волочившийся по дороге бесконечный обоз. Костлявые лошаденки в хомутах рваных, в веревочной справе, битые телеги, с верхом нагруженные потемневшими от сырости дровами; мужики, прикрывшиеся рыжими рогожами.

При виде царской кареты мужики срывались с возов, падали на колени: в грязь, в слякоть, в лужи.

Царский кучер разобрал в вытянутых руках алые вожжи и пустил коней во весь мах, дабы не угнетать очи самодержицы видом серого обоза.

Кони — темно-гнедые, в белых чулках чуть выше бабок — пошли широким шагом. Грязь ошметьями летела по сторонам. Спицы золоченые слились в сплошной сверкающий круг.

Карета миновала сырую низину и, набирая скорость, ушла к Петербурху. Только ее и видели: промелькнула, как неземное видение.

— Эко,— отряхивая промокшие портки, сказал мужичонка с клочкастой бородежкой сивой,— вот так карета... Отродясь не видывал... Кто бы это мог быть?

Заморгал глазами на мужиков.

— Дубина стоеросовая,— повернулся к нему ближний,— темнота деревенская. Царица это.

Мужик поперхнулся, кашлянул, закрестился мелко-мелко:

— Господи сусе, а мне и невдомек... Господи...

Чуть не упал. Лапти заскользили по грязи.

В Зимнем императрица, едва ступив на ступени парадной лестницы, затылком почувствовала тяжесть.

Есть та особая тишина, которая громче внятного голоса говорит о предстоящих тревогах и переменах. И хотя так же, как и прежде, в день безоблачный и легкий стоят при входах офицеры, кланяются лакеи, ярко горят свечи, но глаз приметливый видит, что и лица у офицеров напряжены более обычного, и улыбки придворных фальшивее прежних, и даже свечи вспыхивают и мерцают совсем не так, как накануне. А у Екатерины глаз был остер. В чем в чем, а в этом отказать ей было нельзя.

Не переодев дорожного платья, она потребовала к себе личного секретаря, Александра Андреевича Безбородко. Тот вошел и низко склонил голову в пудреном парике. Императрица сидела, вытянувшись на простом стульчике, крепко переплетя пальцы рук на груди. С первого взгляда уловив настроение самодержицы, Безбородко расстегнул тяжелую кожаную папку с серебряными черненными пряжками и начал доклад.

Без лишних слов — Екатерина не терпела многословия пустого — Александр Андреевич заговорил о трудностях южной армии. О дождях, бездорожье, бесстыдном воровстве интендантов. Речь его была плавна и бесстрастна.

В камине постреливали, потрескивали березовые поленья.

Екатерина слушала молча. Лицо ее было неподвижно, но, мысленным взором следя за словами секретаря, видела она колонны солдат, бредущих по степи, серые струи дождя, карету светлейшего, переваливавшуюся в глубоких колеях, мягое, с похмельными под глазами кругами лицо князя, его сбитый набок парик. И видела все так ярко, как ежели бы в башмачках своих атласных снежной белизны стояла под дождем у края дороги в черной навозной грязи.

Все это мгновенно прошло перед ней, и она опять вслушалась в слова Безбородко Тот, прервавшись, переложил листки в папку Поднял глаза на императрицу, но она в лицо ему не глядела Безбородко осторожно прочистил горло

Хм, хм

Любил напитки неслабые, и горло у него по утрам заваливало сырым

Скрипнул башмаками

Императрица расцепила пальцы на груди, положила руки на подлокотники стульчика Перстни стукнули сухо о звонкое дерево.

— Должен сообщить вашему величеству,— Безбородко заговорил о подстрекательстве английского двора в русско-турецком конфликте.

На шее у императрицы выступили багровые пятна.

Теперь перед ней поднялось узкое, со впалыми щеками, лицо английского посланника при русском дворе лорда Уитворта. Губы были сложены в почтительную улыбку.

Однако в фигуре и выражении лица лукавого дипломата угадать можно было мысль тайную. Таков уж был этот человек: говорил одно, делал другое, думал третье.

Екатерина давно вынашивала честолюбивые планы создания Эллинского королевства для любимого внука Константина. Интриги и происки английского двора отодвигали осуществление дерзкого прожекта.

Лорд Уитворт кланялся, кланялся, отступая назад, но Екатерина видела кислые его губы, растянутые неестественно. Улыбка эта колола ее хуже ядовитого жала.

— Из письма, полученного от главнокомандующего, светлейшего князя Потемкина,— говорил между тем Безбородко,— следует, что турки готовятся к диверсии на Кинбурнской косе, тем самым стремясь овладеть устьем Днепра. Князь для отражения удара направил туда дивизию под командованием генерала Суворова.

У Екатерины чуть смягчилось лицо, и она почувствовала в груди тепло. «Молодец Гришенька,— подумала,— хотя говорят, что он сейчас в меланхолии пребывает. Ну да ничего, ум у него светел. Суворов, нужно думать, достойный отпор даст туркам».

Но это были еще не все неприятные вести, которые она должна была выслушать сегодня.

— Ваше величество,— продолжал Безбородко,— смею обратить ваше внимание на прибалтийские земли. Из Стокгольма поступают новости, все более и более тревожные.

Опять же Англией побуждается его величество король шведский Густав к действиям военным. Пруссия и Франция способствуют ему в предприятии этом. Задачей своей мнит король шведов отторгнуть в свою пользу южные финские земли, а также Петербурх и наши прибалтийские владения.

Екатерина на мгновение представила налитое красным вином лицо короля шведов. «Фанфарон пустой,— подумала она,— воитель хвастливый».

У самодержицы всероссийской была цепкая память и пылкое воображение. Увидев раз, она навсегда запоминала лица, и больше того, и через годы могла взглянуться в когда-то запечатлевшиеся в сознании черты и прочесть то, что скрывается за неверной оболочкой человеческой. Она умела выделить из вереницы окружавших ее людей действительно личности выдающиеся и отличила в империи Потемкина и Орлова, братьев Волковых и Державина, Суворова и Румянцева, Храповицкого и Безбородко, сейчас стоящего перед ней. Но ей — при всем ее уме — недоступно было другое... Слушая речь секретаря, Екатерина отчетливо представила шведского короля Густава и верно определила, сказав, что это налитый вином фанфарон, и не больше. Но она не подумала о том, что русская армия отвлечена военными действиями на юге, казна пуста и Густав может хлопот немалых доставить. Она видела факт, но не всегда разглядеть могла, что стоит за ним, и, того более, последствия факта проследить и оборотить их в нужную сторону.

Безбородко все говорил и говорил, перебирая в руках шуршащие листочки, но Екатерина, погруженная в свои думы, не слышала его.

Перстень императрицы постукивал по подлокотнику: «Тук, тук, тук...»

Безбородко время от времени взглядывал на самодержицу внимательно, но не прерывал речи.

В конце доклада в кабинет вошел Александр Дмитриев-Момонов. Безбородко повернул было к нему лицо, но Александр Матвеевич кокетливо прижал к розовым губам пальчик: продолжайте-де, мол, продолжайте.

— Граф Воронцов,— обратился к императрице секретарь,— просит об аудиенции. В своей записке он излагает предложения практические о новых возможностях, открывающихся счастливо в океане Восточном. Извольте выслушать сии прожекты?

Екатерина и в этом случае, как всегда, прежде увидела

лицо графа Воронцова, а потом только вдумалась в смысл услышанных слов. Императрица не жаловала Александра Романовича, но понимала отчетливо, что муж сей империи Российской нужен и пользу службой своей приносит немалую. Однако тут же увидела она и другое лицо: Елизаветы Воронцовой, сестры Александра Романовича, бывшей фаворитки несчастного мужа своего. Когда-то Елизавета Воронцова немало горьких минут доставила Екатерине, и она, помнящая все, забыть этого никак не могла. Глухое раздражение поднялось в груди у Екатерины, и она сказала:

— Позже.

Но Безбородко все же посчитал нужным добавить:

— В заметках графа путь к обогащению казны государственной намечен явный.

Александр Дмитриев-Момонов с интересом взглянул на секретаря, и во взоре его поэтическом появилось нечто весьма далекое от мечтаний, напротив, практический огонек жадный вспыхнул, и видно было — хотел он сказать что-то, но императрица еще раз повторила:

— Позже.

Пристукнула перстнем о рукоятку кресла.

Безбородко с пониманием поклонился и задом выпятился из дверей.

## 2

В такое тревожное время и приехал в Петербурх Григорий Иванович Шелихов. Через всю Сибирь в трясучей тележке промахнул да еще и гнал коней, поспешая уйти от первых зазимков и злых пург поздней осени. Известно, пурга такая страшна. Слякоть, снег. Коней в шубу ледяную одевает, ослепляет жестоким ветром. Какая уж там дорога? Свернуть только и можно куда ни на есть в затишье да перестоять непогодь.

О войне, объявленной Турцией, узнал Григорий Иванович в пути. Люди сказали, когда Урал остался позади. Въехали в деревеньку серую, а посреди улицы толпа волнующаяся. Головы, головы, спины в дырявых армяках, платки бабьи. Ямщик вожжи подобрал:

— Тпру, залетные!

Лошаденки встали, вздымая потные бока.

— Что, дядя,— спросил Шелихов стоящего с краю мужика в сермяжном кафтане, подвязанном лыком,— пожар, что ли, случился?

Мужик повернулся и, хмуро глянув в нахлестанное ветром красное лицо проезжего, сказал голосом с трещинкой слезной:

— Э, барин, война с басурманами. Ребятущек наших забрили в солдаты.— Лицо у мужика болезненно сморщилось, и он, плечом подвинув соседей, полез в толпу. Повернулся, сверкнул злой подковкой зубов: — Беда...

Григорий Иванович услышал бабий вой:

— Головушки бедные... Сложите вы косточки в землях чужедадьн-и-х...

Мужики, стоявшие рядом с возком, отсмаркивались в полы армяков. Отводили глаза от проезжего.

— Барин,— спросил ямщик нетерпеливо,— поедем, что ли?

— Постой,— ответил Шелихов и с возка слез. Мужики подвинулись, уступая место незнакомому человеку.

Под ногами жидко хлюпала грязь, припорошенная снегом.

Шелихов проталкивался к центру толпы, а в голове одно было: «Война... Вот как, значит... Поломают мужиков, поломают». И еще подумал с болью: «Тех самых мужиков, что так недостает на востоке, на землях новых».

Мужики оглядывались на него: кто-де, мол, таков? Смотрели неприветливо. А чего мужику радоваться: новый человек приехал, да еще и по-барски одетый, и ждать от него доброго трудно. Теснясь, ворчали:

— Куды прешь-то?

А кто-то вовсе зло сказал:

— В шею бы надо...

Шелихов оглянулся, ища глазами сказавшего эти не-добрые слова, но мужики сомкнулись плотной стеной и смотрели нехорошо, выставив бороды. Толпа — хотя бы и тысячу людей вместе собрались али поболее еще — одно лицо имеет. Доброе ли, злое ли, но одно. Толпа на улице забытой богом деревеньки плохо смотрела на проезжего человека. Лицо такое хорошего не обещает, и Шелихов понял это. Отвернулся. Обидчика искать не стал. «Тошно мужикам,— только и подумал,— чего уж мне лезть на рожон».

У волостной избы под соломенной клочкастой крышей стояло с десятков парней. На крыльце возвышался мордастый староста, обозначавший свое должностное положение засунутыми за пестрый шерстяной кушак руками. Над головой его из волокового оконца полз белый дым. Избу волостную топили по-черному. Видать, волость небогато жила.



Староста, угрожая кому-то, тряс изрытым оспой лицом, тыкал в толпу растопыренной пятерней.

— Мужики! Мужики! — пытался он перекричать бабий вой.

Парни стояли на миру неловко, руки-ноги не зная куда деть. Гнули головы. Неловко им было на людях. Не привыкли, чтобы на них таращили глаза. Такой вот одно и скажет: «Да мы ничаво...»

Пирогов насовали парням в котомки, портяночки они надели победней, лаптешки подыравее — новые-то в хозяйстве сгодятся, а там казенную обувку дадут — и поведут их, поведут, как скотину убойную. А сколько бы доброго наворочали они руками своими, сколько бы для жизни хорошего сделали. А тут только и скажешь: «Ничаво...»

Другого-то не дано.

Один, отчаянный, видать, самый, на телегу полез, рванул на груди армяк, вытянул шею коричневую тощую, с болтающимся на ней крестом оловянным. Крест в глаза кольнул, как огненная искра. Парень рот разинул и крикнуть, наверное, хотел что-то, но получилось у него только хриплое:

— Э-э-э!

Тут его за полу и стащили:

— Не балуй, малый!

Староста качнулся на крыльце, переступил косолапо, махнул рукой — айда-де, хватит. Засуетился бестолково, затопал по гнилым доскам.

А лицо толстогубое и у старосты кривилось нерадостно, хотя и пьян был он дюже. Тоже мужик, староста-то, хотя и над другими поставленный начальством. Видал, знать: поскучнеют деревни, коли парни молодые уйдут, наголодуются. Чего уж веселиться?

Бабы завывали громче.

Вперед выступил поп в рыжих изброженных сапогах, выглядывающих из-под ветхой рясы. Поднял над головой крест. Возопил гнусаво:

— Господи! Даруй воинству нашему побе-е-е-е-ду над супостатом... — Воинство полезло на худую телегу. Староста стегнул коней. Скрюченными, желваковатыми пальцами сжимая крест, поп тянул руку повыше: — По-бе-ду-у-у и одоление!..

Телега, заскрипев, покатила в улицу. Толпа бросилась следом.

Поп опустил крест, отсморкался и, взглянув на Шелихова старческими слезливыми глазами, сказал.

— На страдания рождается человек, как искры, чтобы устремляться вверх... Так-то...

И, завернув крест в полу рясы, пошел к церкви. Старый, согнутый и, видно было, ненужный сейчас никому.

Староста, руки расставив, расталкивал народ у волостной избы.

— Давай, ребяташки,— уговаривал неуверенным голосом,— так начальство распорядилось. Оно спросит...

Мужиков пожалев, Григорий Иванович и о другом подумал: «Не ко времени в столицу еду». Но за спиной лежали тысячи верст, да и не с пустыми руками он ехал. Ни много ни мало, а приведенные под корону державы Российской земли вез и надеялся — ехать может смело. Да и не пошелиховски было возвращаться с половины дороги.

Отвернули от схода тележку, и ямщик взмахнул кнутом. Тележка побежала бойко. За деревней, на открытом месте, морозец покрепче землю прихватил, и колеса пошли по гладкому.

— Эй, эй! — прикрикивал ямщик. — Шевели копытами, волчья сыть!

А у Григория Ивановича все бабий вой в ушах стоял скорбный.

Ямщик повернул к нему рябое лицо:

— Что заскучал, барин? — И, не дождавшись ответа, добавил: — Мужиков пожалел? А ты не жалеешь. Мужик в России как трава растет. Вытопчут, другая поднимется. — Взялся за кнут и опять глаза на седока скосил: — Россию-то матушку, как овцу, стригут... А то что ж — забалуют еще мужички...

Шелихов промолчал.

Ямщик поднял кнут и ударил коней.

— Эй, эй! — крикнул. — Веселые!

В голосе у ямщика что-то дикое прозвучало.

Кони пошли наметом.

Путь до Петербурха труден, но Шелихов успел окрепнуть после похода и поднабрать сил. Правда, лицом потемнел и в глазах у него появилось новое: тяжелее, пристальнее глаза стали, ну да на каком лице версты пройденные и годы прожитые следа не оставляют? Оно, конечно, бывает и так: ведомо — человек прожил столько, что и двум бы хватило, а он, как отрок, и ногами взбрыкивает. Ну да то люди из тех, что пороку не выдумают и за все прожитые годы рук не обмозолят. Говорят — человек хороший из одного мешка два помола не делает, а такой вот, с личиком розовым, норовит не два, а три выкрутить. Но Григо-

рий Иванович не из этих был — вот лицом и потемнел. А так по-прежнему в движениях размахист и голосом не робок. Да и глаз не оступел у него, не налился мутью белой, незрячей.

Ехали по Сибири, голову чуть не отвертел. И не впервой ехал-то дорогой этой, но, видать, ранее моложе был, рот только разевал от удивления, а сейчас вошел в зрелость, и земля по-другому ему себя показывала.

Богатющие земли лежали вокруг. Смотрел: вон поля раскинулись и ни конца им и ни края. Травы волнами ложатся под ветром. Да и травы какие! Человек на коне въедет, и не увидишь. Лес стоит: деревья неохватные, макушки уперлись в небо. С ветки на ветку прыгает белка, распушив хвост. А другая, какая из игривых больно, и через дорогу махнет, над конями пролетит рыжим платом. Кони всхрапывали, вскидываясь. Белки не счесть было в лесах. А реки, озёра — рыба плещет... А там вот птица косяком потянула, рядом второй косяк. Крылья свистят, голоса курлычут.

Как-то остановились у клина раскорчеванного и поднятого под хлеба. Григорий Иванович в пахоту руку запустил, и она по кисть как в пух ушла. Коричневато-черная земля легка была, рыхла, рассыпчата.

Мужик со стороны подошел, глянул, как Григорий Иванович землю ласкает на ладони, сказал:

— Добрая земля — полная мошна.

— Да,— ответил Шелихов,— с такой земли зерном обсыпешься...

Мужик улыбнулся.

Но ведомо было, что на земле в Сибири лишь половина богатства, а половина вторая под землей лежит. Уголь, железо, золото, серебро. Наверное, и другого чего немало. Да кто знает, кто земли те копал? Так, ковырнули только кое-где.

— Эх,— не раз говорил Григорий Иванович,— край сей — дно золотое.— Хлопал с сердцем по полам пропыленного в дороге кафтана: — Здесь бы живыми руками взяться.

Но знал, что хлопал зря.

Сибирские чиновники спать были горазды и борзы до взяток. А что земля богата — то пусть ее

Еще и говорили иные:

— Эко, удивил! Земли богаты.. Да они на всей Руси не бедны. Возьми, что курские края, что липецкие, у западных самых границ, на юге — Кафтан расстегнет от полноты

чувства и под мышками поскребет с удовольствием. Лицо благодушное, живот сытый вперед прет. Крякнет: — Не обижены богом — слава создателю.

И другое баяли. Дорога длинна, разговоров немало было:

— Неторопно надо... Знай работай, да не потей. Так-то лучше... И у отцов так было, и у дедов...

Шелихов горячился. Но служивый какой человек глянет глазком, жирком заплывшим, и ежели не скажет, то подумает: «Молод... Обтерпишься, али обомнут».

Вот и весь разговор. Поудобнее устроится в возке лицо должностное, а воротник у него бобровый, шапка из песка, и под сиденьице положил он кошель непустой.

«Дубиной их только проймешь,— думал Григорий Иванович,— дубиной».

А дубина-то службу ему уже добрую сослужила.

Вцепились в него компаньоны по возвращении из похода. Зубками ухватили за самое больное, до костей чуть не достав, но он вывернулся. Сам на дыбки поднялся и взъярился. Тут и племяш голиковский наперед выскочил. Из-за пазухи листки желтые достал и затряс ими перед лицами разгоряченными.

— Вот, вот,— крикнул,— у меня опись всем мехам, что заготовлены. До последней шкурки.— Все-таки показал себя. Наконец-то, думал, наверное, время пришло его. Рот перекосил: — Я тоже не дремал,— сказал,— все сюда занесено.

И еще раз листочками помахал.

— А ну,— потянулся к нему Шелихов,— покажь.

Взял листки и, не заглянув в них, пополам разодрал. Бумажки в стороны полетели.

Все ахнули.

— В суд, в суд! — закричали разом.

Григорий Иванович выше голос поднял:

— Что бумажки? Я вам меха покажу.

И Голиков Иван Ларионович понял — здесь не поживишься. А ежели и сорвешь что, то кусок поперек горла встанет и подавиться можно. Башка-то на плечах у мужика была хорошая. Отступился. Решил: вернее будет миром покончить.

Увидел Шелихов: бороденку Иван Ларионович сунул в рот и замолчал, хотя другие и кричали гораздо. А потом и вовсе от крикунов отошел в сторонку. Тихохонько так в тень подался, и видно его не стало. И племяша оттер плечом.

Лебедев-Ласточкин, правда, никак успокоиться не мог. Все урвать, урвать хотел побольше, но его прижать было нетрудно. Вексельки-то, вексельки, крючком судейским скупленные, в шкатулочке голиковской лежали. А вексельком по головке ударить куда как способно.

А все же навалились на Григория Ивановича сильно. Истинно волки. Обсели вокруг, и глаза блестят. Сейчас бросятся. Вот тут-то он поднялся и дубиной хватил: компанию-де американо-российскую основываю и гарантирую капитала удвоение в год. Купчишки назад и сдали. Даже Лебедев-Ласточкин шею вытянул:

— Как так?

В глазах круглых изумление. Борода колом вытаращилась.

— А вот так,— отвечал Григорий Иванович и в тот же час в амбары их провел и меха привезенные показал.— Ну,— сказал,— смотрите, опосля поговорим.

И хотя губы растянул в улыбке, а видно было все же: этого лучше не замай.

В амбар войдя, опешили купчишки.

Кипами меха лежали, и какие меха! Такое богатство разом на торг выбрось, и еще неизвестно — кто выиграет, а кто проиграет. Настаивали-то кредиторы: привезенную рухлядишку мягкую расторгуй-де и долги верни. А тут увидели: меха эти и цену собьют, да и прибыль великую дадут хозяину. Ясно было — за такое чудо что в Кяхте, что в Петербурхе деньги большие выручить можно. Сомлели крикуны. Каждый прикинул: а у меня-то что в амбаре? Гниль... Подумали: здесь без крику надо, чтобы не проиграть. И, разбежавшись-то попервам по амбару, собрались в кучу и закручинились лицами. Стояли, покашливали, побрякивали, чесались. Не у одного мысль пробежала: «Поход-то хоть и долгий был, а не в проигрыше Гришка».

Шелихов на купцов взглянул повеселевшим глазом:

— Как? Лаяться будем али лучше по-хорошему поговорим?

Те из иркутских, якутских и охотских толстосумов, что посмекалистее были, поняли — дело здесь великое. Невиданное.

Голиков первым к Григорию Ивановичу сунулся. Давай-де, мол, присядем, да слово за словом, не торопясь, все дело разберем и обговорим.

Присели. Поговорили. И здесь уж никто не торопился вперед высунуться. Интерес свой помнил каждый.

Лебедев-Ласточкин все еще морду воротил жирную, гла-

зом косил, но и он, приметить можно было, смущен. Сидели долго, разговоры разные были: мол де и то опасно, и то не вдруг получается, да и от другого оторопь берет, но к одному сошлись — быть компании.

Лебедев-Ласточкин — на что уж круто начинал, а и он потеплел от разговоров соблазнительных. Вытирая платком шею толстую, сказал:

— Ну, Григорий Иванович, ты как медведь... Сбил-таки нас с ног... Сбил...

Но сказал это добро. Купцы улыбались. Каждому мнилось: дело начинают большое.

— А что, Сидор Петрович, качнем, наверное, копейку...

— Помогай бог...

— Бог-то, оно, конечно, бог, но и сам не будь плох...

Бороды утюжили. Лица довольные. В глазах любовь. Вот так бывает, а ведь за час до того каждый из этих ласковых, щеки оттягивая, скалил зубы.

С купцами замирившись, Григорий Иванович к губернатору сунулся. Но зная, что сам-то губернатор — Иван Варфоломеевич — больше по представительской части, нежели по делу практическому, кабинет Якоби обошел, а дверь отворил к Селиванову Михаилу Ивановичу — правителю дел иркутского и колыванского генерал-губернаторства. Прикинул: оно, может, у этого-то мундир победнее и не так золотом шит, но рука у него в губернии далеко достает и, главное, за что братья — этот знает.

У Селиванова Григорий Иванович уж не на богатства меховые поднапер, что обещают земли американские, а показал корзины с образцами руд и углей каменных, на американской земле найденных. Распахнул корзину и показал: вот-де, мол, товар каков — и неказист вроде бы, но ты приглядишься и узришь, что эти камушки и над самым красным товаром возьмут верх.

Стоял, шурил глаза.

Михаил Иванович, встретивший купца весьма прохладно, поднялся из-за стола и камни рассматривать начал. А Григорий Иванович все новые и новые образцы подсовывал.

— Вот это поглядите...

— Так, так, — приглядывался Михаил Иванович.

— Вот это еще...

Михаил Иванович молоток достал и несколько камней расколот, оглядел расколы внимательно, прищелкнул языком.

— Так, так...

И все перебирал, перебирал камушки, выказав себярудознатцем добрым. Затем образцы отложил и, взглянув на Шелихова изумленно, сказал:

— Да ты клад, купец, привез.

Тут Григорий Иванович и выложил главное.

— Хочу, — сказал, — за Россией земли американские закрепить. И к тому немалое нами положено начало...

Говорил, а сам словно видел и поля, и огороды, и крепостицы. Вот они — перед глазами. И хлеб под ветром колыхнется, и крепостицы стены вздымают к небу. Краска на лице у Шелихова выступила, голос задрожал. Видно было: жжет мужика мечта. Жжет.

И рассказал и про огороды, и про хлебные поля. В полон искренностью своей Шелихов взял управителя дел генерал-губернаторства.

— Славно, — сказал Михаил Иванович, — ах, славно!

Глаза и у него загорелись. Селионов знатоком Сибири и Востока Дальнего слыл и людей, что служили делу освоения земель этих, ценил.

Оторваться от корзин не мог Селионов. И морщинки у глаз лучились у него счастливо.

— Медь это, а? — поворачивал лицо к Шелихову. — Медь! Да еще и какая. А это уголь... Нет, купец, ты истинно клад привез.

А Шелихов хоть и знал цену своему товару, но восхищение Селионова обдавало его жаром. За все невзгоды, страдания, за все дороги и тропы, на сбитых, кровавых ногах пройденные, — наградой радость эта ему была. А человеку награда нужна. Бодрит она его и сил прибавляет.

Верно говорено: не важно, как встречают, важно, как провожают. Встретил-то Селионов Григория Ивановича не приветливо, а провожая, и до дверей провел.

Еще и сказал, улыбаясь от всей души:

— Заходи, заходи, всегда рад буду видеть.

Дверь за купцом закрылась, и Селионов прошел к столу. Сел. Взглянул на тускловатое солнце за окном. Растревожил его купец. Растревожил. Под мундир упрятанное ретивое заговорило. Будто глоток свежего воздуха Селионов хлебнул, увидел паруса косые, ветром надутые, лица мужиков обветренные, море, измятое волной. За бороду себя ухватил управитель пятерней, крикнул. И захотелось ему стать под парус. Так захотелось... А ведь знал и лучше кого иного, что говорил ему купец слова красные, но походы — не только ширь неоглядная да небо впереди ясное, а — и прежде всего — вонь землянок прелая, болтушка

из гнилой муки, сухари заплесневелые да стоны товарищей, мающихся цинготной немощью. И подумал он: «Отчего так — затихает боль, забываются страдания, но даль радужная, однажды увиденная, пока жив человек, в памяти остается?»

Через месяц, забрав бумаги, написанные Григорием Ивановичем за время плавания, Селивонов составил письмо пространное на имя императрицы и, скрепив его подписью генерал-губернатора Якоби, отослал в Петербурх. Тогда же, призвав Григория Ивановича, передал ему копию письма этого, переписанную губернским копиистом, и присоветовал ехать в столицу.

Вот с этим-то и приехал Григорий Иванович в Петербурх.

На Грязной улице возок запыленный остановился, и Григорий Иванович, кожаный фартук отстегнув, ступил на выстилавшие улицу торцы. Огляделся. За невысокой чугунной оградой, за сосенками зелеными белел дом. Кхекнул Григорий Иванович, прочищая забитое пылью горло, и толкнул тяжелую чугунную калитку.

Перед домом, с четырьмя полуколоннами по фасаду, сад разбит с деревцами ухоженными, с цветочками в клумбах, с дорожками, морским зернистым песочком посыпанными. И хотя цветочки поблекли после первых осенних холодов и вид потеряли, выглядело все это для русского глаза необычно.

«Ишь ты,— подумал Григорий Иванович,— без навозцу во дворе-то, и не по-нашему, а на манер иностранный, видать... Поди ты...» На дорожку шагнул. Песок хрустнул под тяжелыми каблуками.

Из-за дома выглянула девка простоволосая, увидев чужого человека, застеснялась, кинулась в глубину двора. Но была девка с румянцем во всю щеку и бойкими глазами. Ежели по ней судить — здесь не бедствовали.

Григорий Иванович, придерживавший было шаг, подумал: «Двигай смело, приехал — чего уж спотыкаться на пороге».

Ветер с Балтики ворохнул елочки. Бросил в окна, заставленные стеклами прозрачными, капли дождя. Солнца над Петербурхом не было.

Жил в этом доме дальний родственник Шелихова, курский купец Иван Алексеевич. По временам плохим, когда карман был тощ, не обратился бы к нему Григорий Иванович, а сейчас — что же, сейчас можно было в дверь постучаться. Это захудалому родственнику редко рады бывают. Говорят-то как: «Родственничек приехал, бедный...» И на



языке горечь, а губы словно оскоминой свело: «Бе-е-едный...» Повернешь от ворот, ежели нужда вовсе за горло не схватила. А ежели в кармане шелестит — при смело, всяк обрадуется.

Иван Алексеевич — худенький, плешивенький, но с бородой старообрядческой чуть не до пояса, на ступеньках крыльца встретил, руками всплеснул:

— Заходи, заходи, рад душевно... — Губы в бороде растянулись у него добродушнейше: — Заходи, заходи... — Оборотив лицо, крикнул в глубину дома: — Эй, живо!

Выскочили люди комнатные и мигом с Григория Ивановича шубу сдернули заботливыми руками. Под локотки провели к столу. Иван Алексеевич сел напротив, сияя лицом, как ежели бы праздник в дом пришел:

— Ну, поведай, поведай. О тебе, брат, сказки сказывают.

Григорий Иванович бровь поднял:

— Какие уж там сказки?

Положил на стол красные, изъеденные морской солью руки. Огляделся. Комната просторная. У стены башней резной часы, в простенках между окнами поставцы с посудой вызолоченной, потолок высокий, голубым расписан. Да и купец не плох. Борода-то дремучая у него, но одет он в купеческую однорядку богатую, на ногах — еще и на крыльце приметил Шелихов — сапоги из кожи хорошей, с каблуками высокими. «Это мы в Иркутске балуемся, — подумал, — шубенку какую ни на есть на плечи накинешь, а на ноги — обрезочки валяные. По домашнему-то делу так вроде бы и свободнее, а здесь не то. Строго, однако».

— Что рассказывать, — возразил, — приустал я с дороги...

— Нет, нет, — настаивал родственник, — поведай.

И Григорий Иванович, тайны в душе не имея, бухнул:

— В ножки к царице-матушке приехал упасть.

Иван Алексеевич хотел было что-то сказать, но, губы расшлепив, так и остался. Изъян у него даже некий обнаружился в зубах. С недоверием петербургский купец на Григория Ивановича воззрися:

— Хватил! Не по чину, брат!

Бородой пошевелил.

— Кланяться приехал, — вколотил вдобавок Григорий Иванович, — новыми землями.

Иван Алексеевич обмяк на стуле. Посидел так с минуту, кусок этот пережевывая, губы ладонью вытер и, уразумев,

что родственник всерьез говорит, задумался. Морщины глубокие через лоб у него протянулись, губы в бороде отвердели и лицо стало строгим.

— Да... да,— протянул. Ножками потопал, скрипнул сапогами, глаза отвел в сторону.

Григорий Иванович смотрел на него не мигая. А присмотревшись, решил, что родственничек ножками под столом сучит вроде бы по глупости старческой, но мужичок, видать, непростой. Лицо хитрющее у Ивана Алексеевича было, и с советами он не спешил. Дорожил, знать, словом. Еще и так подумал Григорий Иванович: дом с полуколоннами в Петербурхе купцу, видать, не с неба упал. Научился с годами разглядывать: кому, что и почему досталось. Человек ведь не того стоит, *что́* имеет, но того лишь единого, *как* получил нажитое. И чин, и богатство — и в честь могут быть, и в бесчестие. И так ведь бывает — хилая избенка и звание малое о человеке ином лучше говорят, чем о другом дворец и генеральский аксельбант. И что за душой у каждого, разглядеть всегда можно. Глаз только насторожи. Ни колонны мраморные, ни шитье золотое — не заслонят лица.

Григорий Иванович ближе к родственнику подсел. Понял: «Этот глупость не сморозит». И Иван Алексеевич в первый раз взгляд твердый на него обратил.

— Гриша, Гриша,— сказал, покачав головой,— я двадцатка лет в столице проживаю и повидал многое.

Григорий Иванович еще ближе посунулся:

— Ну, так что скажешь?

Родственник в бороде поскреб:

— К царице пробиться не легче, полагаю, чем земли завоевать, что ты привез... Никак не легче...

Тень по лицу у него прошла.

Григорий Иванович откинулся на спинку стула. «Точно,— подумал,— этот даже и Голикову не чета. Тот все задор показать любит, важность свою сунет в нос, а этот — кремушек, видать...»

Сказал:

— А все же пробиться надобно.— Морщины на лоб нагнал.— Пробьемся! Хребет изломаю,— сказал,— но зубами свое выдеру. Мне нельзя иначе.

Ощерился, кожа натянулась на скулах. На силу свою надеялся. Ах, сила, сила... Не подумал Григорий Иванович, что сильному-то кряжи валить в тайге сподручно, а в Петербурхе — где кряжи те? Смотри: проспекты ровные и дом к дому стоит. Иди — не заблудишься.. А все же дороги

надо знать. Это так — видимость одна, что проспекты зело ровны и дорога пряма в столице.

Комнатный человек поставил чашки. Иван Алексеевич в ладошке сахар расколол ножом и, осторожно кусочки подле своей чашки положив, сказал:

— Поговорим давай, поговорим.

Кусочек махонький сахарцу в рот бросил и отхлебнул из чашки. Над чашкой поднимался парок. Любил, видать, купец чаек горячий.

За окном моросил петербурхский дождичек. Брызгала пакость какая-то. Небо серое, и сыплется с него невесть что: пыль сырая. Торцы мостовой блестели, как смазанные.

За спиной кашлянул Иван Алексеевич. Шелихов отвернулся от окна, подошел к столу, сел. Иван Алексеевич поднял на него внимательные глаза.

Неделю промотался Шелихов по чиновникам, а толку не добился.

Придет в место присутственное к лицу должностному, скромненько по половичкам протопает, смягчая тяжесть каблука, и — так, мол, и так, объяснять начнет, купец я сибирский, за океан-море ходил... Дело обскажет. Чиновник встрепенется, вроде бы живой, а потом глаза у него гаснуть начнут, гаснуть, и в конце разговора уже и вовсе вяло проявляет лицо должностное:

— Это не по нашей канцелярии. Пройдите...

И вежливенько скажет, куда пройти именно.

Попервах Григорий Иванович советы такие принимал всерьез, но потом понял, что ходить он так будет, пока сапоги не истопчет.

Коридоры в петербурхских присутственных местах длинные, лестницы круты, и ходить по ним трудно. Так-то идешь, идешь — и думка вдруг стукнет: «Конец-то у хождений таких бывает али нет?»

Тоска, ох, тоска берет шагающего по этим коридорам. Волчица прямо жадная, алчущая. Грызет — без всякой жалости. А коридор все дальше, дальше, дальше ведет!

Ариадна мифическая любезному своему Тесею клубок ниток всего-то и дала, чтобы он вышел из лабиринта. А какой клубок надо, чтобы из коридоров столичных выйти? Да у Григория-то Ивановича даже плохонького не имелось клубочка.

А всего и надобно было ему: бумаги по походу за море выправить. Потому как без бумаг этих похода и не было вроде.

Бумажное дело испокон веку так поставлено, что ты можешь до пупа земли добраться, но вот ежели нет подтверждающей бумаги: дескать, пуп это, а не иное чего, и ты до него дошел, а не другой, — веры тебе не будет. Хоть пуп этот самый вывороти, приволоки и на стол выложи в натуральном виде. Чиновник, глазом не моргнув, скажет:

— Бумагу извольте.

И в сторону взгляд отведет или палец в нос сунет.

Чиновники всякие Григорию Ивановичу встречались: ласковые и злобные, с бакенбардами и без, в мундирах люстриновых и из хорошей английской шерсти, а бумаги все одно вперед не двигались. Григорий Иванович уже и сам сомневаться начал: а и вправду, был ли поход?

На двадцатой, наверное, версте столичных коридоров Григорий Иванович вспомнил, как с отцом в Рыльске, после дня торгового, домой через площадь ходили.

Так же колокола звонили, собирая к вечерней молитве, так же воронье летело в тесном небе на ночлег, и ясно было до жути: упади сейчас посреди площади в грязь, ворот порви и крикни: «Люди! Грабят!» — никто не ворохнется. Даже баба, у забора на скамейке сидящая с подсолнечной шелухой на губах, головы не повернет. Что ей до крика твоего? Так и здесь. Только в Петербурхе площади поболее да дома повыше, и не баба у забора сидит, а чиновник семенит крадущейся походкой, оглядываясь. Шмыгнет мимо, уткнув нос в воротник.

«Словно я в марь вступил, — подумал с отчаянием Григорий Иванович, — подлинно в марь. И под ногами ничего нет. Пустота».

Хрустнул зубами. Сбежал с мраморных ступенек коллегии, бросился в извозчицкую коляску. Мужичонка с облучка на него покосился: что-де, мол, за бешеный такой? А Григорий Иванович себя уже сдержать не в силах: вольное, сибирское в нем заговорило, — привстал в коляске и гикнул на коней, как на сибирских трактах гикали. Кони — нервные, петербурхские, непривычные к голосу такому — на задние ноги сели и, уши прижав, рванули. Коляску в сторону бросило. Ямщик чуть не слетел с облучка.

— Что ты, что ты, барин? — зачастил оторопело. Вожжи натянул.

— Давай! Давай! — крикнул Григорий Иванович. Кони еще пуще пошли. Ветер хлестнул в лицо.

Человек какой-то, замешкавшийся на мостовой, метнулся в сторону. Копыта гремели по торцам. Решетка садовая литая мелькнула сбоку; заржав, отпрянули кони вы-

вернувшегося из переулка экипажа, и понесся навстречу свет фонарей, сливаясь в сплошную полосу.

Будочник из будки полосатой голову высунул.

— Эй-эй! — крикнул. — Ребята, кто шалить позволил? Вот я вам, — и погрозил кулаком.

Но Шелихов уже откинулся на сиденье. Запахнул шубу. Ветер разгоревшуюся кровь остудил.

Будочник удовлетворенно обобрал сырость с усов. Сказал с приметной завистью под нос синий от холода и частого употребления горячительного зелья:

— Хватили, знать, лишку. — Кашлянул и глазом блеснул. — Оно, конечно, по такой погоде в самый бы раз.

Как борзая добрая, берущая верхним чутьем зайца, вслед коляске носом повел и долго-долго приняхивался внимательно.

На Грязную улицу коляска въехала шагом.

Иван Алексеевич, сидя перед самоваром, сухие ладошки потер, сказал:

— Ты, Гриша, по чиновникам, скажу тебе, не прохлаждайся. Не стоит это гроша ломаного. Чиновник что? Ты скажешь ему: купец-де, мол, я сибирский, — он в рот тебе глядит, а сам ждет, что ты из-под полы огненного соболя ему выхватишь.

— Да соболя не жаль! — ответил Григорий Иванович.

— Оно так, может, и не жаль, — возразил Иван Алексеевич, — ежели это поможет делу, но вот то-то и оно, что не поможет. Племя это, богом проклятое, тебя берет на измор. Это уж завсегда так, поверь мне. Они по кругу тебя гонят, как уросливого коня. Ждут, когда пар пойдет. А вот тогда уж возьмутся крепко. Не один соболек из тебя вылетит.

— Понимаю, — сказал Григорий Иванович, — не глупый.

Ладонью хлопнул по столу. А рука у него не из самых слабых была. Не велика, но, чувствовалось, костиста, и уж ежели промеж глаз вlepит — предвидеть можно без гадания — шишку набьет добрую. И самая малость, нужно сказать, осталась до того, как кулаком этим самым Шелихову чиновничка обласкать.

Уж неведомо, какую версту Шелихов оттаптывал по коридорам, но как ни топал, а вышел на чиновника. И в этот-то раз такой ему ухарь попался, что из самых подлейших — наибольший подлец.

Сидел он бочком к столу, а стол, крытый зеленым суконцем, чернилами закапан рыжими, в обитом поставце перья обгрызенные, обмусоленные. В руку взять такое

перышко — душу защежит, куда там до бойкости или лихости какой. Так, от уныния великого, можно по бумаге поцарапать, но не более. Да еще и бумагу порвешь, а она — понимать надо — казенная, так что лучше уж и не браться. А рот разинуть и, зевнув сладко, опять ручки сложить на суконце.

Чиновник и головы не повернул. Крепко сидел в кресле. Кстати, большое это умение, да и не всем дается — вот так вот сидеть устойчиво. Замечено: бывает, люди — в рубашке рождаются, но с уверенностью можно сказать и то, что иные с креслом появляются на свет, хотя креслице это сразу и не разглядишь при таком вот молодце.

Григорий Иванович подошел несмело к столу.

И уж этот чиновник и перышко свое чистил раз с десятков, волоски с него снимая, и в потолок глядел, и к начальничку бегал беспрестанно, ножками за столы и стулья цепляясь, и глазами водил — слева направо и справа налево. Потом удумал бумагу, что Шелихов ему подал, с одного края стола на другой край перекладывать. Переложит и смотрит на нее вдумчиво, потом возьмет и опять переложит и опять смотрит. Морщит лобик. Носиком сухоньким шмыгает.

Видя на купце кафтан хороший, угадывал, что и в кармане не пусто. Боялся продешевить. Над глазами жаждущими веки кровью наливались. И чиновник прятал лицо. «А все же возьму свое, — думал, — возьму».

Шелихов сцепил зубы до судороги, ждал. Желваки на скулах пухли.

Чиновник, видно, и сам понял, что хватает через край, и решил выкинуть новое. Вроде бы ему темно стало, и он, поднявшись, подошел к окну. Державно так голову откинул и вглядывается в буквы. Затем другим боком к окну оборотился и опять вглядывается, а голову все больше назад, назад откидывает. Ну, прямо скажем, из самых столичных — столичный.

В груди у Григория Ивановича что-то екнуло, и он со стула подниматься начал. Медленно так, медленно, но тяжел был — и стул скрипнул под ним.

Чиновник бумагу отвел от глаз и глянул на посетителя.

Бит был чиновник, наверное, не один раз, так как вмиг смекнул, что дело дошло до выволочки. Державное с него слетело разом. Бумагу он выронил и, пискнув, кинулся к дверям. Схватился за ручку медную и заверещал, заверещал во весь голос. Штанишки пыльные тряслись на тощем чиновничьем заду.

Григорий Иванович шагнул к нему:

— Орать и то не можешь... Пищишь... Эх!

И поднял руку. Поперек житье петербургское, разговоры и пришептывания пришлись ему. Насмотрелся он и карет золотых, и дворцов, и нищих вонючих, в лохмотьях, мороженных, калеченных, безглазых и безногих. Стоном виденное стояло в нем. Клокотало под сердцем.

Чиновник голову опустил, и уши у него прижались к затылку. И быть бы чиновнику непременно с шишкой на лбу, но дверь отворилась, и в комнату вошел Федор Федорович Рябов.

3

В осенний остатний месяц океан Великий идет в раскачку. То гладью все вода, гладью — не всплеснет у берега, не взъярится пенной волной, то тихо, с легким шелестом на гальку или на песок золотой взбежит и отхлынет так же негромко. Чайки, играя пером, покойно качаются на волнах. Без крику. Да и что кричать в эти дни птице? Сыта осенью чайка. Бурливыми реками идут косяки бесчисленные кеты, горбуши, сельди, иной рыбы. Вон на волне чайка, гляди, отяжелела. Так наглоталась серебряного морского дара, что у нее из клюва торчит селедочный хвост. До крика ли, до баловства ли? Спит чайка, смежив глаза. Мужики смеются на берегу:

— Гы-ы... Нажралась...

Мужикам в эти дни тоже лестно. И тепло, и сытно. Солнышко светит ярко. Беззаботное время, ленивое. А когда еще выпадет так-то на бережку посидеть, лапти протянув по теплой гальке? Да и выпадет ли? Мужик не медведь. На зиму не заляжет в берлогу.

Раскинулись мужики на солнышке, расстегнув армяки. Морщат носы довольно.

— Солнышко-то, чуешь, ребята, не хуже, чем печь добрая, греет...

— Да... Благодать...

— Сейчас бы еще кваску кисленького... Вот пивал как-то в нашей местности... С урюмом.

Щеки надул, такое вспомнив, как ежели бы хватил полный жбан. В глазах сладость.

Но коротки эти славные дни. И вот уже океан налился темным цветом, барашки загуляли до горизонта, и пошла вода всерьез с берегом говорить.

— У-у-у-х! — хлестнет вал и вскинется к низким тучам. Чайки, согнанные, как выстрелом, разлетятся, перья остав-

ляя на волне. Мужики разбегутся, лаптями дырявыми по-сверкивая, и начнется потеха.

— Хватай мешки, Вася! Зима идет...

И тут уж мужику побегать надо, повертеться, ежели с жизнью не хочет проститься. Оно и житье мужичье не ласково, но все едино никто с края ямы спрыгнуть не спешит, чтобы, лопатой скребя по гальке, засыпали поскорей. Говорят, правда, — там, под камушками, ангелы ладошками обглаживают и черемуха белая цветет цельный год. Да кто тех ангелов видел, кто ту черемуху нюхал? Врут небось. Люди-то врать горазды. А про то, что никому неведомо, соврать, как через губу плюнуть.

В ту предзимнюю, суровую пору и пришел на Кадьяк галиот из Охотска, посланный Шелиховым. Когда в гавань входил, страшно было и тем, кто на палубе галиота стремил паруса, и тем, кто с берега смотрел. На серой воде бросало галиот и мачты тоненькие, думать надо было, вот-вот коснутся волны. Кипя и ярьась, вода заливала палубу, и хотя до галиота еще и не близко было, а все же примечали с берега, как катает по палубе людей. Да где уж там устоять на ногах? Галиот чуть ли не на попа ставило. Днище смоляное обнажалось до киля. Сейчас, казалось, снесет галиот на камни — и конец.

— Эх, погибнут ребятушки, — переживали мужики на берегу.

— Паруса бы убрали...

— Да что там паруса, — за голову хватался иной, на гальке приплясывая, — уваливать, уваливать надо в сторону.

Во всех глазах — беда. Со стороны-то тяжело смотреть, как люди идут на гибель. А помочь нет возможности. Прыгнул бы или руку протянул. Но куда там: вон оно море, через него не подашь ладошку.

Но суденышко, скользя по валам темным, вразрез волне, благополучно вошло в Трехсвятительскую гавань. Ошвартовалось у причала, и паруса упали.

Евстрат Иванович Деларов — новый главный правитель русских поселений в Америке, присланный Шелиховым вместо недомогавшего сильно Константина Алексеевича Самойлова, — обнял капитана на сходнях. Так уж рад был, думал все — к зиме не придет галиот. Ан нет! Шелихов слово держал крепко.

Черными глазами блестя, Деларов и слов не мог найти. Одно повторял:

— Порадовал, порадовал! Да мы за вас и из пушки пальнем!



Вывахнул из кармана красный платок и махнул пушкарям, выглядывавшим с крепостной стены. И минуты не прошло, ударила пушка и плотный клуб белого дыма взвился над воротной башней.

Мужики валом из крепости кинулись к галиоту. Словно вихрь огненный прокатился по поселку:

— Подошли! Подошли! Ошвартовались!

И кто шапку ухватил, тот в шапке поспешал, кто армяк успел накинуть, тот в армяке, а то и так простоволосыми бежали, в рубахах распояской. Одно и надо только — взглянуть в лица бегущих и яснее ясного станет, что такое дальние походы и почему фунт лиха мореходский. Оттого и говорят: «Кто в море не бывал, досыта богу не маливался».

На палубе, на сходнях, на причале, подле галиота мужики вертелись колесом. Только и слышно было:

— Да что там?

— Да как там?

— Моих не видел?

— А моих?

— Эх, Вася!..

Капитану спину отбили, бухая кулачищами.

— Молодец! Вот молодец!

— Лихо, лихо в бухту вошли!

И он уж, бедняга, не знал, куда деваться. Деларов защищать начал мужика.

— Но, но... Хватит, хватит... Забьете так-то от радости.

Тут и холода отступили. Вроде бы роздых ватажникам дали. Вновь море улеглось спокойно, и чайки опять на волны уселись без крика. Чистили перышки, головами ныряя под крылья. Солнышко поднялось.

Евстрат Иванович Деларов загорелся поставить присланные с галиотом чугунные столбы, обозначавшие принадлежность земель державе Российской. То все обходились столбиками деревянными, но всякому ведомо — столбы сии, хотя бы и хорошо сработанные, недолговечны. Смолили их, правда, добро, но тем хотя и прибавить можно годков несколько в службе, а все же ненадежная это память. А тут чугун — как сравнивать? Металл на века сработанный.

Столбы, сложенные в штабель, у крепостицы лежали. Тяжкие, черные. И буквы на них отлиты крупные, четкие — сразу видно: столбики — знаки державные, а не так что ни есть. От одного взгляда на них в душе рождался трепет. И покою они не давали Деларову.

Евстрат Иванович вокруг столбиков присланных уж и

так и этак прохаживался да поглядывал, поглядывал глазом довольным, а потом и сказал:

— Нет, зиму ждать не будем, а сейчас, затепло, здесь, на Кадьяке, вроем.— Руки в бока упер, выставил бороду:— Чего уж ждать? Земля сейчас мягкая. Ставим.

Его отговаривали:

— Чего торопиться?

Но он настоял своей властью:

— Ставим, и все тут!

Застыл лицом.

А и его можно было понять. Рубеж хотел державы утвердить. Ну что, казалось бы, рубеж? Стена, что ли? Нет ведь стены-то? Стоит столб, хоть и чугунный,— обойди его, и вся недолга. Ан нет! Не столб это, а стена истинная. И ты, ежели за ней стоишь, то к державе своей, смело можешь сказать, накрепко прислонен. Скала за тобой. Деревня твоя, изба отцова, милка твоя. Журавли, что поутру сладко курлычут. И нет бури, которая бы тебя свалила. Потому как человеку лишь на земле своей дается сила, любовь и счастье. Не говорил Деларов этого, да и никто иной слов этих не произносил, но горели они в нем, как горят в сердце каждого.

Склонился он над столбиками, пальцем по буквам поводил.

— Ставим,— сказал решительно.

И видно было, что спорить с ним не было резону. Загорелся человек. Уперся накрепко.

Устин с ребятами хитрые сани смастерили. С полдня хрястали топорами. Устин все прилаживался, прилаживался, но наконец, работу осмотрев, сказал:

— Добре.

Сани и впрямь связали надежно. Какой хочешь поднимут груз.

Наутро слегами на сани взвалили столбы и, по-бурлацки впрягаясь в лямки, поволокли.

Сани визжали по камням.

Устюжанин, впрягшийся в лямки коренником, налегал так, что на шее вздувались жилы. Хрипел:

— Давай, давай, ребята, шибче.

Сани перли в гору по-над берегом. Внизу, у скал, синело море, и алмазной пылью над волнами переливался стелющийся полосами туман.

Евстрат Иванович поднял ватагу чуть свет. Пекло, пекло его врыть столбы.

Мужики пыхтели, хриплое дыхание рвалось из глоток.

Тропа все выше и выше поднималась, но тут камней вроде бы стало поменьше — и полозья по траве жухлой легче пошли.

Деларов с Самойловым шагали впереди.

— Вон там,— показал пальцем на вершину торчавшей над самым краем берега скалы Константин Алексеевич Самойлов,— и поставим. Издалека видать будет. И слепой разглядит.

Сани опять завизжали по камням. Деларов за лямки ухватился. И Самойлов, на руки поплевав, встал на подмогу. Уж больно крут был подъем. Навалились. Лямки в плечи врезались. Из-под ног посыпались камушки. Тяжкие были все же сани-то.

— Эх, взяли! Эх, еще раз!

Евстрат Иванович на Самойлова взглянул, сказал:

— Ты оставь, оставь лямку-то. Побереги себя.

У Самойлова грудь ходуном ходила. Как Шелихов с Кадьяка ушел, надсадился Константин Алексеевич. Надворотную башенку в крепостице укрепляли, и он попал под бревно. Так-то неловко повернулось бревно, поднятое на слечах, он изловчился поддержать, а оно и навалилось всей тяжестью. Бревно все же удержал — сила у мужика была большая,— но вот в груди повредилось что-то, и хиреть стал человек день ото дня. Да и старая лихорадка, отступившая было, вернулась. И как вечер, так жар. Горел огнем мужик. Всегда так: когда худо — одна к другой болячки прибавляются...

Сани выхватили на вершину. Бросили лямки, рукавами армяков вытирая пот.

Место и вправду было куда как хорошее. Море распахнулось со скалы до горизонта, а по крутому обрыву пылали красные, прихваченные первыми холодами кусты талины, и белыми искрами вспыхивали над волнами чайки.

Море играло волной под солнцем. То синим волна отливала, то нестерпимого блеска янтарем в глаза бросалась, а то вдруг разом, как подожженная, вспыхивала текучим лазоревым огнем. И широта, широта неоглядная кружила голову. Отсюда, со скалы высокой, видно было, что не зря мужики лихо приняли на себя. Красота такая, подаренная державе, многого стоила.

Кирка со звоном ударила в скалу.

— Паря,— сказал Устин укоризненно,— ты так долго долбить будешь.— И отнял кирку.— В трещину бей, легче пойдет.— Поплевал в ладоши, размахнулся шибко и ударил со всего плеча. Острие вошло в скалу, как в мягкую

землю. Устин отворотил ком и ударил еще раз.— Вот так и ворочай.

Константин Алексеевич стоял, щурясь на море. Ветер трепал полы кафтана

— Григория Ивановича,— подойдя к Самойлову, сказал Деларов,— сей бы момент сюда. Вот рад был бы.

— Да,— ответил Самойлов,— это точно.

Подумал: «Эх, Григорий Иванович, Григорий Иванович, придется ли свидетелься нам? — И сам себе с горечью ответил: — Нет, видать, не придется». Потер ладонью грудь. Щемило уж больно сильно. После подъема тяжкого сердце билось неровно, толкалось под горло сдвоенными ударами. Лицо обветренное у Самойлова, в морщинах крутых. Глаза глубоко спрятаны, не разглядеть, что в них. Да он и не хотел показывать свою боль. Знал: оно всем нелегко.

Хороший мужик был Самойлов. Когда Деларов пришел на Кадьяк, Константин Алексеевич старшинство его над собой всей душой принял. Здоровье ли пошатнувшееся мешало делу вести как хотел, или что иное, но он решил для себя, что согласился место Григория Ивановича в ватаге заступить, а, видать, поторопился. Неизвестно как, но Шелихов всюду поспевал. И на строительстве крепостиц бывал, с охотниками за зверем ходил, к конягам ездил и со старейшинами коняжскими поговорить и уладить то или иное успевал. С лесорубами ходил, а ночами — неизвестно когда и свет гас в его окошке — камни описывал, собранные ватажниками, журнал ватаги вел. «Двужильный, что ли,— думал Константин Алексеевич,— был он? — И сказал себе: — А у меня вот не получилось так-то».

Сказать такое непросто. Редко какой человек согласится, что не по себе взял воз, что не вытянуть ему его, как за оглобли ни хватайся, как ни упирайся ногами в землю, ползущую из-под каблуков. Чаше бывает по-иному. Телега остановилась, и колеса, гляди, вот-вот пойдут назад, а человек, шею раздувая, все ярится, пеной исходит, кричит: «Давай, давай! Вот холм перевалим, а там само покажется!» Телегу и свернут в овраг. По сторонам колесики полетят, затрещат, ломаясь, оглобли; треснет, в щепки разлетится кузовок. Но человек и здесь не согласится, что виной тому он сам. Встанет пугалом на краю оврага, ноги раскорячит и, пятерней скребя пузо и губы своротив на сторону, скажет:

— Эх, ребята... Камушек под колеса попал. Так бы вытянули. Камушек... Самая малость до вершины оставалась. А там хватили бы во весь опор!

Рукой взмахнет или ободряюще игогокнет. И непонятно почему, а глядишь — ему другую телегу дают, хотя ясно, что он и эту в овраг загонит и расшибет...

Кирки били в скалу так, что каменные брызги летели по сторонам — с хрястом, со звоном.

Самойлов повернулся к Деларову, согнав с лица хмурость.

— Да, — повторил, — Григорий Иванович порадовался бы, ты прав.

Кряхтя и переругиваясь, столб поставили в ямину. Комель засыпали. Притрамбовали. Укрепили камнями, да выбирали еще такие камушки, чтобы один к одному ловчее прилаживался. Столб-то навек хотели встремить в землю эту. Старались.

Устин, не доверяя никому, сам камушки подкладывал, киркой вгонял в землю.

Столб поставив, отошли в сторонку, глянули на дело рук своих. И, казалось бы, чего особого? Но в душах что-то захолонуло. Парень из устюжан, что больше других старался, руки по-особому заложил за спину. В родниковой чистоты бесхитростных глазах его вспыхнули искры. Парня под бок пихнули шутейно: что-де, мол, так-то выставился?

— А что, что, — отнекивался парень, — понятно дело-то. Мы, и вот — державы рубеж определили. Скажешь кому — не поверят... Нет, не поверят...

И от уха до уха рот растянул. Ну, только и скажешь, глядя на такого-то:

— Эх, паря! Пляши, коли душа песни просит!

#### 4

Федор Федорович взглянул на чиновника, чуть-чуть голову склонив, и из-под век у него плеснуло стылым.

— Бумаги, — выговорил отчетливо, — сегодня же и выправить.

Ласково так сказал, негромко. И дверь вроде бы не скрипнула, и шагов не слышно было, а чиновника не стало. Лицо различалось, мундир отчетливо виден был, крестик на мундире угадывался, а вот тебе раз — ни мундира, ни крестика, ни лица нет. И внимательнейшим образом вглядевшись в то место, где за мгновение до начальственного слова чиновник обозначался, убедишься — не обман это зрительный, а действительно пусто, как ежели бы и до того место это ничем занято не было.

Федор Федорович с минуту молча глядел в стол. Га-

сил, видать, под веками недобрые огни. Наконец, переломив себя, поднял глаза. Сказал:

— Письмо генерал-губернатора Якоби на имя государыни передано для ознакомления в Коммерц-коллегию и нами изучено.

Слова у него изо рта выходили круглые, ласкающие слух. Такие слова, что хоть на хлеб, как масло, мажь — и корка сухая в горло проскочит, не царапнув.

Темный строгий мундир на Федоре Федоровиче, белые кружева у горла, манжеты белые, паричок новомодный, строгий, с черным бантиком на затылке. Не понять — что за человек.

Григорий Иванович сидел, устремив взгляд на Федора Федоровича, а голова как железным обручем стянута. Не опомнился еще. Все так вдруг случилось. То крик, шум, чуть до кулаков не дошло, а тут — поди же — на «вы» величать его начали. По имени и по батюшке назвали.

— Угу, — сказал осторожно.

Огляделся. На полках, по стенам, книги в корешках золоченых, карты цветные, рисованные искусно, плахи дубовые на полу, натертые до блеска воском. И тихо. Голосов за дверями не слышно — будто и не в канцелярии он, где в каждой комнате чиновников с десятков натолкано, да и иных прочих лиц важных немало, так что какая уж тишина. Размышлял. Говорили ему в Иркутске о Федоре Федоровиче, но туманно. Одно с уверенностью сказывали: большая птица. А как в Иркутск приехал, с чем уехал да и с кем и о чем говорил — неведомо.

А голос добрый журчал:

— О землях обживаемых в Америке наслышаны. Хорошее, хорошее начало положено.

Григорий Иванович уперся покрепче руками в подлокотники кресла.

Федор Федорович хотел знать, как плыли к землям американским, на каких островах останавливались, о звере вопросы задавал, сколько людей, спрашивал, в поход ходило и сколько вернулось.

Григорий Иванович не успевал отвечать.

Рябов слушал со вниманием, но нет-нет на столе стоящую сферу земную пальцами поворачивал. Игрушка эта — бронзовая, литая хитро, видать, денег стоила немалых. Но пуще игрушки затейливой Григорию Ивановичу в глаза пальцы Федора Федоровича бросились. Тонкие пальцы, гибкие, белые. Рука такая о многом говорила, а прежде всего о том, что тяжестей каких или иных неудобств она не

испытывала от рождения. Смушала Григория Ивановича эта рука.

Но слово за словом разгорячился он и заговорил смело. Понял: рука рукой, а человек, сидящий перед ним, разумеет дело. Пустое — гремит, брякает, а здесь не было грома. Говорить говорил Григорий Иванович, а в голове вертелось: «Приехал-то я не для рассказов». Но о главном сказать не мог. Мешало что-то. То ли что Федор Федорович неожиданно мягок оказался, или же то, что сказывали о нем — птица, дескать, большая. А может, и другое что. Скорее же всего коридоры петербургские с толку его сбивали. Уж больно намотался.

Ежился Шелихов, ежился, но наконец, собравшись с духом, навалился грудью на край стола, словно груз непосильный толкая, сказал:

— Сесть-то мы сели на землю американскую, но ежели правде в глаза смотреть, пристроились лишь с краешку. — Федор Федорович руки на стол положил, манжеты кружевные сминая, потянулся лицом к собеседнику. Не понял. — А понимать это так надобно, — продолжил Григорий Иванович, — вот мы крепостицы построили какие ни есть, промыслы разведали, большим, малым ли хозяйством обзавелись, а все ненадежно это.

— Так, так...

— Потому как один купец из-под другого землю рвет, друг друга ослабляя.

Федор Федорович из-за стола поднялся и рядом с Шелиховым присел в кресло. Да еще поторопил:

— Ну, ну...

Глаза к купцу присматривались внимательно.

— Да что говорить, — сказал Шелихов, морщась сокрушенно, — промысел, хоть и самый богатый зверем, опустошить в год-два можно до чистого камня. Бей только колотушкой без ума, и зверя не станет. А разве дело это? — Григорий Иванович наступать уже начал на Рябова. — Дело? Нет, — подбородок вскинул, как взнузданный, — на таком расчете далеко не уедешь. Возьмешь зверя раз, другой — и все. Так?

Федор Федорович улыбнулся. Сибирский напористый купец нравился ему больше и больше.

Григорий Иванович в апартаментах начальственных вовсе освоился. И уж в подкрепление слов своих пристукнул кулаком по краю стола. Само собой как-то это получилось. Разговор за живое его взял.

— Чтобы зверя добыть, — сказал, — караблики надо

строить, а это деньги большие. Людей нанять в ватагу — же недешево. Припас боевой, оружие, харчи — все копейка. А потом возьмешь зверя — окупишь ли это разом?ряд ли... А ежели и окупишь — большая ли прибыль останется? А ведь надо и кораблики подновить и опять же людей нять, да и припасом обзавестись? Алтыном не обойдешься. — Купец ладонь оборотил кверху, будто копейки на ней жали. Побросал корявыми пальцами воображаемую медь. казал убежденно: — Нет, не обойдешься. — Откинулся на инку кресла. — Невыгодное это дело.

— Так, — поддакнул Федор Федорович. — А как на-бно поступать? — Улыбнулся осторожно.

И Григорий Иванович, ожидая этого вопроса, всем те-м ринулся вперед.

— Вот, вот, — воскликнул и пальцем в собеседника нул, — за самое главное мы схватились. Компанию надо ить, и она у нас есть.

— Ну, так что же?

— А и это не все, — вновь поскущел Шелихов. Хитрю-ый стал с годами. Как уж здесь он лицом играл, ему бы Голиков позавидовал, хотя Иван Ларионович мастак был ладывать губы. Иной раз так представит, — ну, скажешь, рота сиротой. Злой заплачет, глядя на такого.

— Не понимаю, — наморщил лоб Федор Федорович.

— Говорил я, что промышленники друг другу крылья дшибают, — наступал Григорий Иванович. — Так вот... мали — объединим в компанию и на этом свару между пцами кончим. Ан нет! Другие находятся, которые, при-со стороны, все так же дело рушат. Монополию надо ть компаниям на земли по Америке.

Сказал это твердо, а в душе защемило. Знал: гвоздь о всему, и ежели его не вколотить крепко — хорошего жди.

Федор Федорович поднялся с кресла и, руки за фалды ложив, зашагал по кабинету. Григорий Иванович с опас-й к нему приглядывался. Разглядел: мужик видный, и тя на сибирский манер бледноват, но не хил, а уж о ердости его имел понятие. Видел, как Федор Федорович с новником обошелся. Теперь ждал, что скажет. Слова говил, ежели возразит.

— Да, — протянул Федор Федорович, — монополия...

Но сказал вяло. Бровь у него поднялась над глазом и юм сломалась. Видя, что сомнение какое-то зародилось Рябова, Григорий Иванович заспешил:

— Пушчонки нужны для крепостиц на случай нападе-





ния, офицеров, хоть самое малое число для команды. Деньги надобны.

Наседал по-купчески. Помнил старое правило: покупатель сомневается, так рви за полу, вдуматься не давай. А уж когда денежку на прилавок положит — все. Товар непременно ему всучишь. Но здесь не лавка была и Федор Федорович не покупателем штуки сукна стоял перед ним.

Взглянул Шелихов на Федора Федоровича, сжав губы:

— Ежели по-настоящему за земли эти взяться — дело для империи полезнейшим может выказаться. Так-то умом своим сирым разумею.

Повадка-то хоть и купеческая у него была, а главное высказал. И Федор Федорович это понял.

— А денег сколько просит компания? — спросил, оставившись против кресла Григория Ивановича, Рябов.

— Двести тысяч, — ответил Шелихов.

Рябов вновь заходил по кабинету.

— Через двадцать лет возвернем, — добавил Шелихов, — и с лихвой. Слово купцов сибирских — у всякого спроси — вернее золотого залога.

Рябов губы смял в невеселой улыбке, но не ответил. Шагал, шагал. Каблуки стучали по вошечным плахам. Остановился. Потер задумчиво сухой, костистый нос пальцами. На руке рубиново вспыхнуло кольцо.

Шелихов следил взглядом за Федором Федоровичем. Хотел мысли его прочесть. Но лицо Рябова не говорило ни о чем. словно глухая дверь захлопнулась в неведомые комнаты. И опять не понять было, что за человек перед ним.

— Так, — сказал Федор Федорович как бы про себя, — пушки, офицеры... Двести тысяч, и вот... Монополия...

Шелихов ему определенно нравился, и чувствовал Федор Федорович в нем силу, которая позволит этому купцу совершить задуманное. Видел он купцов сибирских и уральских, которые брались за дела, казалось, и непосильные, но сдюживали. И понимал, что только и надо — не мешать людям этим сотворить свое дело. Высоко сидел Федор Федорович и многое знал, но молчал о многом. Так и сейчас, похаживая по кабинету и пальцами похрустывая под фалдами, молчал о том, что ему было ведомо.

Взял себя крепко за подбородок и еще раз на купца взглянул. Плечи чугунные, крутые, шея не слабая, лицом узок и лоб высокий. Хорош... Перехватил упорный шелиховский взгляд. «Насторожился, — подумал, — догадлив,

знать... Ну, да это для дела польза великая... Нутром чувствует, где тяжело будет».

— Что же,— сказал,— надо думать. Помогай бог,— добавил,— помогай бог.

Шелихов конфузливо растянул губы:

— Вы уж простите меня, невежу, но у нас на это так отвечают: «Вот и сказал бог, чтобы ты помог».

Федор Федорович ободряюще улыбнулся.

Удача большая — в столице найти человека, который за руку тебя поведет, руку подаст на многочисленных ступеньках и покажет, как двери отворить, закрытые на крепкие запоры. А всего и оказывается, что надо знать, на какую тайную шишечку на дверях следует надавить, и они сами распахнутся перед тобой. А на лесенку в сотню ступеней и вовсе всходить не след, но обойти ее надо по тропинке, неведомой другим. А тропинки такие есть в Петербурхе. И много их. И протоптаны они хорошо. Гладко. Но вот запутаны, как заячий след. Петельками, петельками проложены. Да еще и так, что бежал зайчишка, а потом скок в кустики и дунул в обратную сторонку. Глаз да глаз нужен тропки эти прочесть. А есть, есть молодцы, которым ходы эти доподлинно известны. И они-то и с закрытыми глазами пройдут по этим следам.

После встречи с Федором Федоровичем закрутились дела Шелихова волчком. Бумаги по походу он тут же получил. Хрустящие, с подписями витиеватыми, с печатями орлеными — ворох бумаг. Так в руки ему и сунули — дескать, на, держи. И поход по бумагам тем был, и земли обжитые ватажниками указывались в картах. Не верилось даже. А все выручили тропочки, петельки заячьи. И уже чиновники в коридорах канцелярий с Шелиховым раскланивались, и прелюбезно. Да еще и так: поклонится, не доходя пяти шагов, и нараспев, радостно:

— Здравствуйте, Григорий Иванович.

И улыбка во все лицо, а еще намеренно норку драли и, глазом не сморгнув, поспешали мимо, будто не видя.

А гляди-ко, люди-то, оказывается, милейшие. Сама доброта брызжет из глаз и лица добродушнейшие. Так-то возьмет тебя ласково за руку — ну прямо брат родной. И голоса не хриплые вовсе у этих ребятушек, не осипшие от петербургской сырости, но певучие, звонкие, радостные. Ангелы и то, поди, так не щебечут.

Теперь о Шелихове говорили:

— Сильный. Этому его высокопревосходительство спешествует.

При входе в коллегия как-то два чиновника, глядя вслед Шелихову, говорили:

— И малого времени не пройдет, миллионщиком станет.— Губы сладким бубликом округлил говоривший: — Миллио-о-о-нщиком...

А второй, вытянув шею, даже в рот ему заглянул, будто ждал, что миллион этот самый сей момент прямо так изо рта и вывалится. И под мягеньким набрюшником, соседкой любезной связанным, жар чиновник почувствовал необычайный.

Речь-то шла о миллионе. Сказать, и то жутко!

А Григорий Иванович, бойко стуча по ступенькам каблуками, меньше всего думал в эти минуты о миллионе-то. А правду сказать, и в мыслях не держал вовсе. Другое было в голове. В ушах топоры стучали, пилы пели, слышны были голоса людей, и казалось ему, видел он, как сходят со стапелей новые кораблики, бьют в разлетающиеся волны и в пене и брызгах победно устремляются вперед многочисленные форштевни. Пела душа у него, и думалось, что как никогда близка сказочная дорога, увиденная с колокольни за Сеймом. И кони скачут по ней, и гривы их ветер отдувает. На завтра загадывая, не удержался и слетал на верфь петербургскую. Посмотреть — какие закладывают кораблики. А посмотреть было на что. На стапелях красавцы, лебеди белые стояли. Мастера петербургские, прямо сказать, поразили его своим умением. «Вот,— подумал,— этих-то умельцев к себе перетянуть». С одним, другим перебросился словом и надеждой обзавелся.

— Э, паря,— нажимал,— у нас не край, а рай земной. Дерево — какое душа пожелает. Работай знай, а мы не стоим за благодарностью.

Мастера посмеивались. Но Григорий Иванович понял: ежели постараться — мастеров можно сманить.

Вскорости Григория Ивановича принял президент Коммерц-коллегии. Когда Шелихов вошел в кабинет высокий, граф, кивнув, указал округлым жестом на кресло.

Шелихов неловко приткнулся на краешек. Робел. Как ни говори, а впервой принят был лицом столь вельможным. Не знал, как и начать разговор. Понятно: в мелочной лавке дегтем торговал недавно, а этот делами державными ворочает. Прикусишь язык. Вскинул глаза на графа, увидел: лицо без улыбки, из-под кустистых бровей глаза смотрят неторопоко.

Александр Романович заговорил первым:

— Здравствуй, купец,— сказал голосом, в котором чувствовалось расположение. И сразу же после паузы, выдержанной мгновение всего, продолжил разговор, да так, словно слова читал с писаного, больно плотно складывались они у него.

Шелихов в слова вслушивался и понял: этот говорит, зная для чего. Дело у него есть. Оно всегда понять можно, ежели труд себе задашь, пустой разговор человек ведет или же всерьез произносятся им слова. Многие люди, языка своего не щадя, так — бряк, бряк — зря его треплют. А иной одно слово произнесет, и видно — этот себе на уме. В его речь надо вдуматься.

Заговорил же Александр Романович о том, чего Шелихов и не ждал:

— Развитие мореплавания в океане Великом,— сказал Воронцов,— может послужить не только освоению новых земель, но и должно способствовать торговле обширной с Китаем, Японией, островами Филиппинскими, и там и далее — с Индией. Путь от восточных портов российских в страны эти — кратчайший для нашего флота.

Властно говорил граф, уверенно. Чтобы так говорить, за плечами многое надо иметь, и такому враз не научишься. Здесь годы нужны, да и не просто годы, а прожитые на горé. Голос такой, как одежда царская.

— В Индию,— еще раз повторил граф.

«Эко куда хватил,— ахнул про себя Шелихов,— вот это да...» Такого он не держал и в мыслях. Спине стало зябко.

Заметив смущение на лице Шелихова, Александр Романович подтвердил:

— Да, да, в Индию. Перспектива весьма и весьма лестная и, я думаю, по силам российским негоциантам.

«Ежели, конечно, поднапрячься,— подумал Шелихов,— то оно можно и в Индию... Это, бесприменно, покрепче, чем зверя колотушкой бить...»

Поплотнее сел в кресле. Сказал:

— Англичане в Петропавловск ходят с Гаваев, из Макао товар везут. Торгуют в большую прибыль.

— Вот, вот,— оживился Воронцов,— англичанин прыток. Блохой скачет. А мы на сборы тяжелы.

И заговорил, голос повысив, о том, как наладить морскую линию в страны океана Великого и далее в океане Индийском. Говорил, как рысак гнал, но видно было, что этот всадник повод не распустит и лошадка его копыта ставит точно, куда он и уготовил, обдумав все наперед.

Широко распахнул горизонт Александр Романович, заглядывая вдаль на многие годы.

— Петр Великий путь для России в Европу через Балтику открыл, нам же надобно, заветы его исполняя, проложить дорогу в морях восточных, потому как богатства великие лежат в Сибири и на Востоке Дальнем, и поднять их легче будет, ежели мы пути перед этими славными землями откроем морями.

— Да что уж,— ответил Шелихов, смущение отбросив и глазами заблестев,— нам бы только подсобили, а мы в кашу восточную с головой влезем. Вот как...

Махнул рукой по макушке. «Разговор-то,— подумал,— хороший получается. Вот так бы сразу-то».

Воронцов посмотрел на него, сказал, слова отделяя друг от друга:

— Молодца, купец, молодца...

И пальцами тонкими, с тяжелыми перстнями, по лбу провел многотумному. На виске пальцы затрепетали, будто боль Александр Романович какую-то хотел унять.

— Да уж,— встрепенулся Шелихов,— дороги морские нам многие ведомы, и до слез обидно смотреть, как иноплеменные купцы нас обходят. А мы их не хуже. Наши люди к морскому делу способны. Подучиться малость — и до Индии дойдем беспрерывно. Да и ходили наши мореходы в те моря...

Вперед подался, и крепкое, сильное его лицо отвердело. На такое лицо глядя, с уверенностью можно было сказать: этот не оплошает. И дойдет и до Индии.

— Молодца, молодца,— повторил Воронцов и, поднявшись от стола, указал Григорию Ивановичу на кресло у жарко пылающего камина. Тем, кто близко знал Александра Романовича, ведомо было, что к камину он усаживал тех только, что крайне пришлись ему по душе.

Александра Романовича многое интересовало, и входил он в мельчайшие подробности. Выспросив нужное, еще раз в конце разговора сказал:

— Молодца, Григорий Иванович, молодца! По записке Селиванова доклад императрице составлен. Будем уповать на решение милостивое.

Шелихов начал было:

— Генерал-губернатор Якоби компании нашей действия поддержать готов...

Увидел: Александр Романович согнал улыбку с лица.

— Якоби, Якоби,— невнятно проговорил Воронцов,— что ж Якоби...

Веками прикрыл глаза. Губы у него скучно сложились. Но словно отмахнулся от досадного, кивнул головой:

— Ну да это, купец, не твоя печаль...— Помолчав, добавил: — В Иркутск новый губернатор указом императрицы назначен. Генерал Пиль.

В дверь стукнули осторожно. Александр Романович брови поднял удивленно. В кабинет президента Коммерц-коллегии сунулся чиновник с лицом испуганным, сказал задушенно:

— Ваше высокопревосходительство, Александр Матвеевич Дмитриев-Момонов изволили пожаловать.

Воронцов поднял брови, сказал:

— Проси.

Чиновник исчез, и дверь тут же распахнулась широко. С улыбкой любезнейшей на устах через порог ступил Александр Матвеевич.

— Друг мой,— сказал он ласковым голосом,— решил заглянуть с пустячной просьбицей.

Александр Романович шагнул навстречу:

— Рад, рад...

Александр Матвеевич лицо к Шелихову оборотил восторженно.

— Купец Шелихов,— сказал Воронцов, прочтя вопрос во взгляде неожиданного гостя.

— Ах, как же, как же,— пропел Александр Матвеевич,— наслышан, наслышан... Колумб русский... Небось меха сказочные привез в столицу?

Но тут же оборотился к Воронцову.

Шелихов из коллегии вышел, а сердце у него рвалось из груди птицей. Глянул, а небо — всегда низкое над Петербургом, тесное, серое — вдруг распахнулось голубой далью. Да еще так, что по голубизне, режущей глаз, полоса закатная багровая. Ну, праздник, скажешь, на небесах, не иначе. Снег с деревьев сыплется игольчатый и в закатном этом полыхании играет всеми цветами радуги. В тени стен дворцовых на мостовой наледь сиреневым отливает, а шапки снежные на столбах чугунных оград — алые. «Ну и ну», — только и сказать о такой красоте.

Извозчик к Григорию Ивановичу на саночках:

— Вот на быстрых!

Но Шелихов отмахнулся от него. Пройтись захотелось, по ледочку звеня, по снежку похрустывая. Пело у него в груди.

Заскучал Александр Романович при упоминании имени генерал-губернатора Якоби не случайно.

Петух только, не спрашивая — как-де, мол, там, светает али еще нет — кричит:

— Вставайте, православные, и все тут!

А верноподданному империи, да еще и губернатору, генералу, — так нельзя. Он должен спросить. А вот когда скажет кто-либо из тех, кто повыше сидит на шестке, — да, выглянуло ясное, — тогда и кукарекай. Хуже, ежели невпопад закричишь. Тут уж точно с верхнего шестка клюнут в голову.

А Иван-то Варфоломеевич, не спросившись, крикнул. Заскучал, заскучал в сидении своем иркутском. К дворцу ближе захотелось. А оно-то к солнышку поближе хочется каждому генералу, да не каждому удастся выскочить.

В курятнике своем, заметить надо, жилось ему вольно. Посиживал на шестке не низком — из дверей не дуло, — поглядывал, ежели хотелось, вокруг, а то и, глаза смежив, сладко дремал. Насидевшись так-то, слетал во двор: крылышки размять, пройтись, клюнуть зернышко, другое, испить водички. Ведомо: птица по зернышку клюет, а сыта бывает. Так и он: наклевывался зернышек. А недостаток какой почувствует, чуть-чуть ножкой гребанет — и, глядь, вот они, милые, зернышки-то лежат. Да какие еще: кругленькие, золотистые, свеженькие.

А то вдруг взиграет кровь у него, и тогда он, не спеша, подходил к курочке. Так-то бочком, бочком, гребешок раздув и подняв хвост. Смело подходил, вольно. Не опасаясь отказа.

Днем одним, очень уж солнечным, петушок на заборчик вспорхнул и видит: рядом другой курятник, и тоже курочки похаживают, и не квелье. Зернышки разбросаны, вода прозрачная стоит в корытце. «Ай-яй-яй, — подумал, — и мне бы туда».

Головку поднял и разглядел: а за первым курятником — второй, а дале как будто — третий... Ну и заорал без спросу. Тут его и клюнули с верхнего шестка. Да и клюнули крепко.

Козлов-Угренин, полковник, портовый начальник охотский, — петушок помельче был. Хвост не так у него перышками расцвечен, гребешок не так ал, но он знал свое.

Якоби дружкам в Петербурх послал горшочек с маслом желтеньким, а Козлов-Угренин — два. Да еще из тех, что побольше. Генерал подкинул соболька, а Козлов-Угренин рухлядишки мягкой связочку. Отрывать-то было от



чего. Не зря в Охотске сидел годы. Не обездолил себя, подарочки те передав. Голодным не остался. Сундучишки еще были, и не пусты.

По завидной опытности в делах этих самых подарочками полковник не ограничился. Но поскреб, поскреб в зашеине, и тропочками, тропочками известными полковничьи дружки забегали, зашустрили. Оно, конечно, и Якоби гончих пустил, но, видать, собачки у полковника были проворнее. Успели наперед забежать. А в деле кляузном наперед забежать многое значит.

У окошечка во дворце губернаторском в Иркутске Иван Варфоломеевич сидел и в мечтах уже высоко парил. Крикнул-то он во всю глотку — дескать, вор на воре в империи сидит и кончать-де с этим надобно... Генерал думал, что вот-вот похвалят его за бдение. Надеялся — пред светлые очи вызовут. Расслабился от мечтаний. Так-то сладко в груди зашевелилось что-то. И вроде бы уже и колокольный звон московский слышал. На карете доброй, заставленной прозрачными стеклами, в столицу-матушку генерал въезжал.

Но это в мечтах, а тут въяве под оконцем дворца губернаторского закрипели колесики. «Ну, — решил Иван Варфоломеевич, — курьер из Петербурха с вызовом. Дождался наконец-то!»

Под ложечкой у него сладко екнуло и разлилось по всему телу блаженством неземным. Жаром выступило на лбу и по другим местам.

Ко дворцу подкатила колясочка. И офицер, когда дверцу ему отворили, ступил на мостовую. Шарф офицерский, длинный, закинул назад, шагнул на ступени подъезда. Но что-то больно жестко шпоры у него звякнули, как шилом острым кольнуло.

Якоби, ждать не в силах, кинулся торопливо навстречу. А спешил зря, как оказалось.

Дружки полковничьи одному шепнули, другому на ушко пропели, третьему молвили трепетно, и слова пошли по тропочкам. От человечка верного к человечку еще более верному, из уст в уста, от ушка к ушку — и к даме придворной, что в соседней с императрицей спальне посиживала ночами, дошли. А дама эта самодержице шепнула легко: не уважает-де и высказывает сомнения. А намерни, больше того, орал гораздо и неприлично о ворах...

Отшатнулась, округлив глаза, будто бы испугавшись сказанного.

— Как о ворах? — самодержица подняла брови.

— А вот так... И это в то время, матушка царица, когда стараниями вашими империя процветает. Да еще как процветает! Сказка волшебная! И все — вы, вы, матушка-заступница, и только вы...

Руками всплеснула и дрожащие пальцы прижала к щекам. Помнила, помнила о маслице в горшочке и о шкурах мягоньких.

— Да как он смел? — возмутилась заступница

— Молвить страшно, — дама выразила испуг, — но крик его слышали многие.

— Постой, постой. Да правда ли это?

Губы у дамы придворной запрыгали, лицо жилочкой каждой задрожало:

— Истинно, истинно, ваше величество.

— Да как он на такое решился?

— Из ума, видать, по старости выжил.

Дама присела низко, и худые плечи ее от испуга вроде бы поникли.

Екатерина разволновалась:

— Ах! — И еще более: — Ах! Ах! Поди же ты...

И все. Дальше речь вести пустое занятие.

Иван Варфоломеевич навстречу курьеру петербургскому торопился по переходам и лесенкам. Бухал ботфортами. В оконцах, в наборных стеклышках, цветных, играло солнце.

«Вот радость-то, — шумело в голове у генерала, — во время я рот разинул».

Вышел навстречу офицеру, едва переводя дыхание.

Тот, под шляпу махнув, руку за отворот мундира запустил и подал генералу запечатанный конверт.

Пальцами торопливыми генерал пакет надорвал и выхватил бумагу. Глянул, и вдруг все поплыло перед ним, поплыло, грудь всколыхнулась, и упал бы генерал, но слуги поддержали. Не дали брякнуться оземь. Приняли на руки.

В бумаге коротко, но крепко начертано было рукой всемогущей: «...От дел отставить... В вотчинные имения проводить до особого распоряжения...»

Ниже кривой росчерк, что равно и милость, и казнь определить может окончательно. Судьи нет после этого.

Офицер стоял истуканом. А как только генерал очухался малость, сказал бестрепетно:

— С приказом велено не медлить.

Ну, а что, спросят, полковник Козлов-Угренин выиграл от того? Вопрос такой будет наиглупейшим. Кто крикнул:

вор-де начальник охотский портовый? Губернатор. А где губернатор? Царицей от дел отставлен. Так чего крик его стоит?..

— Генерал Пиль губернатором в Иркутск назначен,— сказал Григорию Ивановичу граф Воронцов.

— Пиль? — переспросил Шелихов.

Не думал в момент сей ни о Якоби, ни о не известном ему еще Пиле. Море видел он синее, и единственным его желанием было поскорее вырваться из серого, разгороженного дворцовыми решетками Петербурха. На берег океана. И чтобы волна била в берег и чайки кричали над головой. Ветра, ветра соленого хотел он.

## 5

Тем ветром соленным, ядреным, бодрящим кровь, наполнены были паруса галиота «Три святителя», с хорошей скоростью шедшего вдоль сумрачных берегов Якутатского залива. Галиот чуть на борт уваливало сильным этим ветром, и, может, следовало рифы на гроте или фокке взять, с тем чтобы уменьшить скорость, но капитан, понимать надо, хорошо знал эти места и команды такой не давал.

Справа по борту тянулись унылые, темные берега. Чуть ли не от прибойной полосы громоздились сопки, поросшие мрачным лесом. За ними, в отдалении, вздымалась вершина горы Святого Ильи, с которой в залив низвергались три огромных ледника. Они скользили вниз грязно-белыми широкими языками, и казалось, что шум прибоя, доносившийся с берега,— не грохот волны, но треск и стон земли, с трудом держащей мощные тела ледников.

Залив полон битого льда, небо над ним нависло низким, серым, клубящимся пологом, и галиот — с тонкими, гудящими под ветром мачтами — на черной воде залива был словно пушинка малая, оброненная чайкой на крутые валы.

Вода, все сильнее и сильнее забрасываемая на палубу, сбегая в шпигаты, скручивалась в воронки, пенилась.

Мужик, стоявший у носового колокола впередсмотрящим, с опаской косился на кипящую в шпигатах воду и нет-нет, оборачиваясь, поглядывал на торчащего неподвижно на мостике капитана. Беспокоился, видать. Да оно забеспокоишься — больно уж берег был неприветлив. Черен.

С опаской взглядывал на капитана рулевой, зазябшими, красными руками ворочавший тяжелое колесо, но капитан, казалось, не замечал этих взглядов. Рулевой перехватывал спицы, наваливался на колесо всем телом, держа галиот

вразрез волне. Лопатки под армяком выступали буграми. Сил немало надо галиот так-то удержать под ветром.

Засунув обе руки по локти в карманы всегдашнего своего тулупчика, капитан Измайлов внимательно, из-под черной, до самых бровей надвинутой шапки, разглядывал берег. Тулупчик у него на спине пузырило ветром.

Галиот поскрипывал, в скулу громко била волна, взбрасываясь под бушпритом.

«Три святителя» возвращался на Кадьяк из дальнего похода. По настоянию Шелихова галиот в это лето под командой двух капитанов — Измайлова и Бочарова — ходил вдоль матерой земли Америки к югу. К концу лета, несмотря на сильные шторма, галиот дошел до залива Льюта, самой восточной точки побережья Аляски, которой смогли достигнуть в то лето русские мореходы.

Ватажники побывали в Чугацком заливе и, обходя лежащий у входа в залив остров Тхалха, торчащий горбом из воды, на юго-западном побережье острова открыли залив Нучек с бухтой Константина и Елены. Бухта славная, от ветров закрытая надежно, с хорошей глубиной. Здесь и при шторме сильном отстояться вполне можно было или зимний лагерь разбить — милое дело. Больше того, место это было весьма удобно для устройства крепости. И хотя ватажники измотались крайне, Измайлов был доволен: дело сделали. Сам чуть не на карачках место, подобранное для крепости, обползал, замерил, подобрал лес. По сопкам с топором лазил, метил стволы. Увериться хотел, что хватит строевого леса на крепостицу. Иначе-то и дело начинать было не след. Лес откуда припрешь? Не с матерой же земли тащить? Вот он и гулял с топором. Оглядит дерево и, ежели найдет, что годится для строительства, тукнет лезвием, отвалит белую щепку — и дальше. Убедился все же — леса достаточно. Теперь одно и оставалось — людей перебросить, и хоть завтра руби крепостицу.

Земли новые обследуя, ватажники повсеместно знаки чугунные ставили о принадлежности владений России. Но это явно и на местах видных. А помимо того, оставляли знаки и тайно, зарывая в землю, где обнаружить их было трудно. На карте схороны метили особыми обозначениями. Помнили наставление Григория Ивановича, переданное Деларовым перед походом: «Отныне секретов никому не открывать и помнить постоянно слова священные: буде мудры, яко змии, а целы, яко голуби».

Предосторожность со знаками о принадлежности земель была на тот случай, ежели бы спор какой возник с держа-

вами иными. А опасаться вполне можно было, что знаки явные дерзнут и переменить.

Доволен Измайлов был и другим. Из похода возвращались с трюмами, рухлядишкой мягкой набитыми предостаточно. Сами промысел имели хороший, да и торговали с колюжами и чучханцами добре. Бобр шел за восемь ниток голубого бисера и, что главным почитать следовало, и чучханцы и колюжи желанием своим к торговле позволяли надеяться на дальнейшее ее доброе продолжение.

— Справа по борту лед! — тревожно крикнул впередсмотрящий.

Измайлов башку к рулевому повернул, велел переложить руль и опять уставился на берег. Место выглядывало для стоянки.

У берега вскипали, били в берег волны. Ударяя в камни, волны высоко вскидывались фонтанами брызг. Их подхватывало ветром и несло навстречу галиоту водяной пылью. Эх, нехорошо место, опасно. Камни острые, злая волна. Шибанет кораблик о берег и разнесет вдребезги. Только щепки поплывут по волне.

«Не подойдешь, нет, не подойдешь», — соображал Измайлов. Морщины собирались у глаз. Брызги из-за борта ударили в лицо. Измайлов утерся рукавом, но глаз не отвел от берега. И вдруг увидел впереди гряду рифов. Острия скал торчали из воды, как хищные зубы. Но в страшной этой гряде, угрожающей неизменной смертью любому, кто бы ни дерзнул через нее пройти, капитан зоркими глазами выискивал узкий проход. За рифами море поблескивало гладкой водой.

И не сказал, а подумал: «Бог милостью не оставил».

Гаркнул паруса перекладывать и, толкнув в плечо рулевого, сам стал на его место. Руки жестко вцепились в спицы. Лицо каменное, ни одна жилка не дрогнет. Из-под надвинутых низко бровей, из щелок узких, монгольских — глаза черные, нацелены как острия ножей.

«Проскочим, — решил, — проскочим!»

Мужики полезли по вантам. На ванты лезть по такой волне — опасное дело, но мужики в канаты вцеплялись мертво, такого и ветер не сорвет и качка не сбросит. На «Трех святителях» команда была отличнейшая, другого не скажешь. Конечно, не без того, что у иного мужика в минуту такую под сердцем холодело, но он и вида не подаст. Других не брал в команду капитан.

Измайлов поставил галиот высокой кормой к волне и велел отдавать шкоты на гроте. Ветер ударил в развернув-

шиеся паруса, и галиот, как нитка в игольное ушко, проскочил сквозь рифы.

Через минуту, убрав паруса, галиот закачался на ровной воде. А еще через самое малое время на берегу запылали три больших костра. Пламя жадно лизало сухой плавник, собранный ватажниками, вздымаясь все выше и выше. Костры эти означали, что пришедшие на галиоте к торгу приглашают всех, кто готов отозваться на их зов.

Герасим Алексеевич, каблуками крепкими стоя на гальке, смотрел из-под руки в сопки — не покажется ли где ответных дымов? И увидел — над черной тайгой поднялся белый факел дыма. Сжатые жестко губы смягчились: будут гости, понял, будут.

Мужики у костра тянули руки к огню. Нахолодались на ветру, а костер-то — тепло, ласка.

## 6

Над Петербургом весенний ветер гулял, и хотя Нева еще не вскрылась, а по утрам мостовые прихватывало ледком, но небо было таким ясным, летящие в город с ночлега вороны так горласты, что сомнений не было — весна вот-вот грянет быстрыми ручьями.

С весной прошли и тревоги императрицы. Но причиной тому были не облака легкие и не ветер шалый весенний.

Светлейший князь Потемкин, преодолев хандру, сильно потрепал грозивших державе турок, и русская армия стояла уже под Очаковым, готовясь к штурму сей неприступной крепости.

— Светлейший-то, — не без игры заметила Екатерина, — чудит, а время пришло трудное, он не выдал свою матушку царицу...

После этих слов перед императрицей склонилось с десятков пудренных париков:

— Как же иначе, ваше величество...

По поводу побед было немало шумств в столице. Фейерверков. Пиров. Празднеств. В Исаакиевском соборе отслужили не один молебен. Раздувая глотки, дьяки ревели так, что стекла вызванивали тонко и пламя свечей колебалось:

— Хвала господу за победы над супостаты-ы-ы...

Народ падал на колени. Растроганная императрица подносила к глазам кружевной платочек.

Император австрийский Иосиф, долго выглядывавший из Вены, как дела России на юге сложатся, наконец объявил войну Турции и под командованием Фридриха Кобур-

га, принца саксонского, направил свою армию в южные степи.

Притих и шведский король Густав в мрачном своем стокгольмском дворце. Не по зубам оказалось ему прибалтийские земли воевать.

Гуляли, гуляли по Балтике кораблики шведские, паруса под ветром стремили, в трубочки подзорные капитаны с мостиков высоких поглядывали и разглядели, знать, что берега на Балтике круты, подходы к ним трудны, а у солдата русского кулак тяжел. И о другом, знать, подумали — солона вода в море сем северном, и хлебать ее не захотелось капитанам. Жестка и горло жжет.

Нет, определенно, тревожиться императрице было ни к чему.

В один из этих дней Безбородко учтиво напомнил самодержице о давно просимой графом Воронцовым аудиенции. Сказал, а сам дыхание затаил, ожидая, как-то еще императрица на напоминание сие посмотрит. Глаза Безбородко настороженно на самодержицу взглядывали.

Выслушав секретаря, императрица нахмурила брови, но, поиграв пером в пальцах, сказала:

— Графа Александра Романовича я приму завтра.— И вдруг добавила: — Справку мне подайте о землях, империей занимаемых.

— Ваше величество,— Безбородко легко передохнул,— справку сию я могу дать немедленно, дабы не затруднять вас ожиданием.— И, словно читая по писаному, продолжил: — Всего Россия имеет сто шестьдесят пять степеней долготы, считая от острова Езель до Чукотского носа, тако же тридцать две степени широты от Терека до Северного океана...

Императрица выслушала секретаря и головой кивнула.

7

Дом Ивана Алексеевича на Грязной улице не узнать было. То все тишь, благолепие, голоса не слышно людского, а сейчас сапоги крепкие стучали в пол, голоса гремели, да еще простуженные, надсадные, табачные. И, человека не увидев, но услышав перханье это горлом, скажешь: «Э-э-э, братцы, веселый народ, знать. Лихой. Молочка испив тепленького, так-то не осипнешь».

Хлопали двери в доме, входили и выходили люди разные и в офицерских треуголках, шпагами звеня, и в зюйд-вестках широкополых, мало кем и виданных, в плащах кожаных, гремевших, как железо. А один ухитрился прийти в

платке, повязанном низко до глаз. Платок голову охватывал туго, а сзади, на затылке, висел длинными хвостами. «Ну этот,— решил Иван Алексеевич,— истинно уж отчаюга. Такому в переулке ночью не попадайся. Запорет, и моргнуть не успеешь». Хотел было сказать своим, чтобы вещички, что подороже, схоронили подальше, но рукой махнул: «Пропадай все пропадом».

Приходил и мастеровой народ, но тоже предезкий, без страха ступавший на крыльцо.

— Да, да,— говорил Иван Алексеевич,— кхм, кхм...

Комнатные людишки Ивана Алексеевича сбивались с ног. Стол в гостиной закусками уставлен, водками, настоячками. Табачный дым — столбом. Невиданное дело. Какое уж благолепие, какая тишина?

Девки дворовые хоронились в чуланах. Опасались — народ нахлынувший и юбки может поободрать. Уж больно размашисты были и смелы. Ежели только великая нужда припрет, да и во дворе никого не видно, выглянет девка из-за угла, глазами все закоулки обшарит и кинется стремглав.

Слова странные в доме звучали: форстенъга, стаксель, триселя. Или вообще, как пушечный выстрел: бом-бом-кливер.

Иван Алексеевич морщился и родным запретил выходить из дальних комнат.

Жена его — купчиха смиренная и набожная, и за ворота-то боявшаяся выйти,— крестилась, шепча сухими губами: — Пронеси господи басурман нашествие.

Мысли у нее совсем спутались, не знала, что и делать. Ключи от кладовых старшему из комнатных людей отдала и отсиживалась, как в крепости, в светелке под крышей. Но и сюда — нет-нет а долетали снизу слова странные и шумы да стуки. Так-то вдруг загрохочут: ха, ха, ха...

Купчиха вздрагивала рыхлым телом, крестилась оторопело.

Григорий Иванович, отмахиваясь от табачного дыма, длинные разговоры вел с приходившими. Сманивал мореходов и кораблестроителей на восток. Смушал.

— Это так только повелось,— говорил горячо,— считать, что англичанин да испанец на море крепки, а я вот думаю: русский мужик не слабее.— Сидевшие за столом капитаны поглядывали друг на друга.— И держава Российская,— напирал Григорий Иванович,— по всем статьям морская.

Капитаны тянулись к штофам, наливали хорошие ста-



каны и опрокидывали огненное питье в глотки. Глаза наливались молодечеством.

Развязывали шарфы, садились плотней к столам, стучали кулаками. Петра вспоминали Великого, имена мореходов известных называли.

Купчиха наверху, в светелке, ложилась на кроватку и голову накрывала подушечкой. Страх ее одолевал.

— А море какое на востоке,— все нажимал и нажимал Григорий Иванович,— глянешь — дух захватывает. Там только и показать русскую удаль.

Манил, манил людей, сам загорался, и оттого слушавшие его сильно сомневаться начинали: а и вправду — чего сидим на берегах истоптанных, чего ждем, идти, идти надо — счастье свое искать.

Оно и Балтика морем, конечно, была, но головы уже кружились, и казалось, что и берега здесь тесны и горизонт вот он, рядом, руку только протяни. Душа просилась на простор.

От вина выпитого, от слов лихих некоторые до того воспалились, что уж и сидеть за столом не могли, вскакивали, ходили по комнате, размахивали руками, будто бы уже на мостике стоя под неведомыми звездами.

— Пойдите,— говорил Григорий Иванович,— малое время пройдет, и мы из северных рек сибирских выйдем в океан Ледовый и к самой матерой земле Америке проложим дороги. И ходили, ходили так русские мужики, но мы их дороги забыли.

Говорил уверенно.

Другое сказывал:

— И южными морями на восток ходить будем. Прямо из Балтики в Камчатку.

Капитаны тарасили глаза:

— Такое невиданно.

Григорий Иванович настаивал:

— Вот и невиданно, а будет.

Капитаны дымили трубками. Слова купца волновали, раззадоривали, соблазняли. В смущение вводил их купец. Вот сидит — ворот распахнут, волосы темные на лоб упали, кулачище упер в край стола, и, только взглянув на него, видишь — стоит он под парусом, ветром туго надутым, за бортом волны бьются и кораблик летит в брызгах. Да и знал каждый из сидящих за столом, что слова словами, но купец-то этот и впрямь к землям новым ходил и неизвестные берега видел. Задумаешься. А мысли-то у капитанов быстрые да пыльные, и каждый думал: «А почему и

мне на просторе не погулять, волны океанской не попробовать? Да и что я — хуже других? Нет, нет, прав купец — не той дорогой идем».

Григорий Иванович словами, как огнивом, бил и искры жаркие сыпал на души.

Дом на Грязной улице бурлил.

— Да, братцы, что уж говорить, на простор надо!

— Известно!

Мореходы шумели. Григорий Иванович, надувая жилы на висках, рассказывал о походах дальних, о штормах, о землях, впервые увиденных людьми. Вот тут-то и звучали слова, заставлявшие опасливо щуриться Ивана Алексеевича: бом-бом-брамсель и даже бом-бом-бом-кливер.

Капитанам виделись нехоженые дороги. Смущающие речи вел Григорий Иванович, и какая душа навстречу им не раскрылась бы?!

Звенели стаканы.

— Что скажешь-то, Петр?

— Да уж молчи, Алексей! Не трави душу...

— Нет, брат, с якорей сниматься надо, а то тиной обрастем, тогда не сдвинешься.

— Эх, была не была...

И кулачищем по столу — бух!

8

Екатерина растапливала камин для утреннего кофю. Приготовление напитка сего императрица считала высоким искусством, которое познается немногими, и это, по ее мнению, занятие наиважнейшее не доверяла никому. Безусловно, это была ее причуда, но причуда, возведенная самодержицей в ежедневный и обязательный ритуал, нарушить который не смел никто.

О том, что она собственноручно растапливает камин и собственноручно же кофий готовит, императрица даже упоминала в своих письмах Вольтеру. Кто же мог сомневаться в обязательности избранного ею порядка?

По утрам, как только императрица заканчивала просмотр спешных бумаг, в личные ее апартаменты в специальной корзине приносились тонко наколотые, подсушенные лучины, над углями в камине ставился бронзовый треножник, в кувшине серебряном подавалась вода, и самодержица, словно священнодействуя, сыпала темно-золотистые, крупно размолотые зерна в прозеленевший медный толсто-стенный кофейник. Внутри кофейника на палец, а то и более, выросла каменная кофейная гуща, но Екатерина не

разрешала отмывать почтенный сосуд, так как убеждена была, что накипь многолетняя придает особый вкус любимому напитку.

Поверенное лицо, личный камердинер Захар Зотов, подавал императрице на фарфоровой тарелочке зажженный трут. Екатерина склонялась к камину и подкладывала уголек под ловко сложенные колодцем лучины. В камине вспыхивал веселый огонь.

Вот и в это утро под старым кофейником вспыхнул огонь и лицо самодержицы осветил теплым, текучим пламенем. Екатерина с минуту следила за разгорающимся огнем и, убедившись, что лучины занялись ровно, повернулась к стоящим у дверей — личному секретарю Безбородко и графу Воронцову.

— Любезный Александр Романович, — сказала она, продолжая прерванный разговор, — я попросила месье Безбородко справку дать о размерах земель, занимаемых империей, и еще раз убедилась, что в новых открытиях нужды нет, ибо таковые только хлопоты за собой повлекут ненужные.

Лицо у Александра Романовича румянцем загорелось, и видно было, что он хотел возразить, но императрица оставила его взглядом.

Воронцов смешался и опустил глаза.

— По рассуждению своему, — продолжила императрица после короткого молчания, — американские селения — примеры не суть лестны, а паче невыгодны для матери нашей Родины.

И не успел Александр Романович ответить, как императрица повернулась к камину и склонилась над кофейником. Вода в кофейнике вот-вот должна была закипеть, и Екатерина поспешно взяла поданные камердинером каминные щипцы и развалила под треножником пылающие лучины. Пламя опало. Под кофейником теперь лишь рдели жаркие угольки.

Екатерина сняла крышку с затейливого сосуда и, не спеша, тоненькой золотой ложечкой, начала помешивать закипающую гущу. Казалось, в эту минуту для самодержицы всероссийской не было ничего более важного, чем шапкой поднимающаяся над кофейником пена. Вполне можно было предположить, что императрица совершенно забыла и о землях новых, и о личном секретаре, и о графе Воронцове, — так сосредоточенно было ее лицо и так точны и внимательны движения руки, с величайшей осторожностью помешивающей пену.

Александр Романович следил за каждым движением ператрицы. И в груди у него рождалось холодное чувство ириязни и сомнения. «Полноте,— думал он,— да и прав я в своих настояниях? Императрица, помазанница жья, отрицает необходимость предлагаемых мной дей-ий, а я упрямо твержу и твержу одно и то же...»

Глубокие морщины на лице графа, казалось, прореза-сь с еще большей отчетливостью, и лицо словно осуну-сь.

Комнату все больше и больше заполнял пряный, слад-й запах закипающего кофия. И этот запах был как-то -особенному неприятен графу.

Екатерина оборотилась к Воронцову:

— Двести тысяч на двадцать лет без процентов про-г мореходы ваши? Подобный заем похож на предложение го, который слона хотел выучить говорить через тридцать г и, будучи вопрошаем, на что такой долгий срок, сказал: это время либо слон умрет, либо я, либо тот, который да-денег на учение слона.

Екатерина с улыбкой погрозила тоненькой ложечкой афу. Сравнение, без сомнения, понравилось императри- , так как, и склонившись над кофейником, она продолжа-улыбаться.

«Да, но не для корысти настойчив я в своих требова-ях»,— думал Александр Романович.

Воронцов вытащил платок и обмахнул лицо.

Безбородко безмолвствовал.

Камердинер Захар Зотов взглянул на графа, и в глазах о мелькнуло нечто вроде сожаления.

«Нет, не корысти ради»,— еще раз подумал граф. будучи мужем в истории весьма умудренным, вспомнил Московском княжестве крохотном в сравнении с Литвой, лотой Ордой и Новгородской республикой. Вспомнил и , что всего в середине шестнадцатого века Иван Грозный ял Казань, а уже к середине семнадцатого века русскими одьми была пройдена Сибирь и большая часть Восто- Дальнего. За сто лет было создано самое крупное в ире государство. Нет, граф Александр Романович знал, на м настаивал, и долг свой понимал перед державой.

— Ваше величество,— сказал он, глядя на склоненный тылок государыни,— земли американские к славе империи ослужить могут, ибо богаты они не только зверем, но и еталлами, углями и иными ископаемыми полезными.— олос его стал тверже.— Просьбы мореходов весьма разум- и более чем скромны. Прежде всего они просят, дабы

на земли, ими освоенные, другие промышленники без их ведома и дозволения не ездили и в промыслах их ущерба, а паче в их учреждениях расстройки не делали. В сем их прощении заключается не единая их польза, но общая, весьма важная и достойная.

Екатерина выпрямилась у камина. И по тому, как поджались у нее губы, сказать можно было определенно, что императрица раздражена настойчивостью графа. Но он, казалось, не видел неудовольствия императрицы.

Четко и раздельно выговаривая слова, что также свительствовало о крайнем раздражении, Екатерина сказала:

— Указ, силою коего были бы предохранены мореходы от всяких обид и притеснений, излишен — понеже всякий подданный империи законом должен быть охраняем от обид и притеснений.

Кофий наконец-то был готов. И императрица, подхватив кофейник, начала разливать густую жидкость по чашечкам. И Александру Романовичу самодержица всероссийская в эту минуту показалась стареющей немецкой мутер, хлопчущей у кофейного стола, дабы угостить близких перед долгим рабочим днем. У императрицы даже морщинки на лбу обозначились, словно она боялась пролить хотя бы каплю кофиа на скатерть.

«Каплю кофиа на скатерть...» — подумал Александр Романович, и огромное напряжение, которое он испытывал, возражая императрице, вдруг спало.

— Присаживайтесь, любезный Александр Романович, — сказала императрица и показала на стул. Это была великая честь, которой удостоивались немногие, но Александр Романович, занятый своими мыслями, не думал сейчас о придворном этикете и молча сел за стол, даже не ответив улыбкой на любезность императрицы. Екатерина брови изумленно подняла: нет, граф ее сегодня поистине раздражает.

А Александр Романович мысленно листал страницы истории государства Российского. Русь Московская ему виделась, собираемая Иваном Калитой, сеча жестокая на поле Куликовом, виделся Иван Грозный, с которым уже Священная Римская империя искала союза.

Голос старца из стариннейшего русского монастыря мнился ему: «Два Рима падоше, третий Рим — Москва и он стоит, а четвертому не быти!»

— Александр Романович, — сказала императрица, — вы забыли о кофии. — И, чуть коснувшись руки графа, добавила с ласковой улыбкой: — С тем, дабы не огорчать вас,

повелю шпаги и знаки отличия дать и Голикову, и Шелиову. Вы довольны?

Воронцов донес чашку до рта и отхлебнул горький напиток.

Воробьи за окном орали по-сумасшедшему. Дрались на ветках, трепеща жидкими крылышками, сталкивались грудью с грудью, разлетались и вновь сколачивались в стаи. Да что воробью не орать да не драться? Солнышко светит, лужица в лужицах блестит — только и осталось воробьям перышки друг другу пощипать. Перышки вырастут. Веселись, воробьи...

Григорий Иванович смотрел через промытое окно на заборы птичьи, а в голове крутилось: «Вот привез земли новые, а кому надобны они? Пуп рвал, и понапрасну получается».

От мыслей таких прыгать с ветки на ветку не хотелось. Башкой вот ежели только о стену треснуться, ну да от того пользы никакой. Шишку набьешь, и все тут. Ел себя, грыз губами злыми. С каждым такое стать может. Бьется, бьется человек, а потом, устав душой, пожалеет сам себя. Скажет: «Да что же это такое, почему валится на меня со всех сторон, роздых когда же?»

Знал Шелихов о визите графа Воронцова к императрице. Знал и то, что самодержица отказала и в деньгах, и в праве охранном на земли новые, и в солдатах для крепости. Во всем отказала. Шпаги серебряные и медаль на Андреевской ленте — вот и вся награда. Ну да не о награде речь. Гвоздем в мыслях сидело: «Как дело-то продолжать? На какие шиши? Залетел-то в мыслях далеко: на верфь петербургскую бегал, на корабли смотрел... Людей смущал... И подумать срамно... На восток сманивал...»

Губы искривил Григорий Иванович. Сжал кулак. Посмотрел — оно ничего, конечно, кулак крепкий. Ну а стену, что жизнь поставила, не пробить. Отобьешь кулак-то. Стена каменная. А то, может, еще и из такого чего сложена, что и покрепче камня. Казнил себя. Шибко казнил. И лицо у него было нехорошее. Почернел даже. В глазах глухая тоска. На такое лицо взглянешь и закусишь губу.

«Правду, выходит, говорили, — думал, — что в столице пробиться куда труднее, нежели земли открыть новые. Так оно и получается. На море все ясно. Силу бог дал, так ты ее не жалея и при. А здесь вот лабиринты, коридоры, тропочки... Начальнички да дяди, чиновнички да тети...»

Человек комнатный Ивана Алексеевича тут же у окна с подносом стоял, переминаясь с ноги на ногу. На подносе — графинчик с прозрачной водочкой, рюмочка, закусочки разные. С жалостью смотрел комнатный человек на купца.

— Выпейте, — говорил, сочувственно морщась, — рюмочку... Оно полегчает. Чего уж себя терзать... Третьи сутки маковой росинки во рту не было... Выпейте. На сердце помягче станет...

Рюмка брякнула на тоненькой ножке. Водочка играла в солнечном луче.

Григорий Иванович на человека комнатного не глядел. Пить не мог — вера не позволяла, да и знал: вино пьют с радости большой — тогда это от силы, а с горя пить вино — от слабости. «Вино людей ломает, — еще отец говаривал, — об стенку размазывает, как навоз коровий».

— Эх, — вздохнул человек комнатный, — со стороны и то смотреть тяжело...

Но Григорий Иванович поднос рукой отвел:

— Оставь, — сказал.

Дверь скрипнула, и в комнату ступил на коротких ножках Иван Алексеевич. Подошел к окну, стал рядом с Шелиховым, покрякивая в кулак. Лысая голова у купца — как шар желтый. На виске жилочка голубенькая бьется, и, глядя на жилочку эту, скажешь: соображает что-то мужик, соображает... И вдруг, губами пожевав, Иван Алексеевич сказал:

— Рухлядишки-то мягкой у тебя много осталось?

— Да что рухлядишка, — вяло отмахнулся Григорий Иванович.

— Нет, нет, ты постой... Много ли, я спрашиваю? — настаивал Иван Алексеевич и ближе к Григорию Ивановичу подступил.

Григорий Иванович, не понимая, к чему клонится дело, ответил:

— Есть еще.

— А ты покажь.

— Да что там...

— Нет, нет, — заторопился Иван Алексеевич, — покажь, покажь.

И на своем настоял.

Развязали узлы. Иван Алексеевич из кипы соболька выхватил. Мех полыхнул огнем, аж в комнате светлее стало. Погладил мех рукой осторожной Иван Алексеевич — купец петербурхский битый — и в глазах у него что-то появилось особое.

— А скажи-ка мне, Гришенька, милоч,— взглянул купец на Шелихова,— какие слова молвил Александр Матвеевич Дмитриев-Момонов, когда ты был у президента Коммерц-коллегии?

— Да я и не припомню,— протянул Шелихов,— о мехах что-то было говорено.

— Вот, вот,— чуть не подпрыгнул Иван Алексеевич,— о мехах!

Постоял, подумал что-то, взглянул еще раз на соболей, будто прицеливаясь, и за кипу рухлядишки взялся всерьез. Соболя и на свет глядел, и мездру рвал, шерстинки пробовал на зуб. Но соболь был отменный. Шкурки темны, цвета глубокого, подбрюшья желты, хвосты — поленом. Языком прищелкивал Иван Алексеевич.

— Красота, ах, красота! — шурился довольно. Лицо у него, словно намазанное маслом, заблестело.

— Ну,— спросил Григорий Иванович, на купца петербургского глядя,— а что дальше-то?

— Увидишь,— неопределенно отвечал Иван Алексеевич.

— Ты что, Момонову, что ли, сунуть соболей-то хочешь? Это уж, извини, совсем очуметь надо. Видел я его. Волчище. У-у-у... Нет, брат, Момонова на таком коне не обскачешь.

Григорий Иванович подхватил из кипы соболька, глянул, да и бросил с досадой:

— Нет, не обскачешь.

— Вот то-то и оно,— вразумляюще сказал Иван Алексеевич,— что волчище.— Руки за спину заложил и не то вздохнул, не то хмыкнул. Сказал: — А волк — он жаден, и глотка у него здоровая, сколько ни жрет — все мало. Есть у меня один человек, высоко вхож и продувной — спасу нет. Поглядим. Наше дело купецкое — товар предложить. А такой товар... — Иван Алексеевич потрянул собольками... — и царице показать не срамно. — Глазки у него утонули под бровями. — А денежки за товар можно и не спрашивать... Как думаешь? С просьбицей только подойти... С просьбицей... А?

Повернулся на каблуках и хлопнул в ладоши. Велел вскочившему в комнату человеку распорядиться, чтобы коней закладывали. Григорию Ивановичу сказал:

— Ничего, Гришенька, не кручинься.

Подмигнул хитро.

Вот как Иван Алексеевич себя выказал. Вроде бы все со стороны приглядывался к земляку, дел его не касаясь, а минута трудная пришла — подставил плечо.



Григорий Иванович сидел, уперев локти в стол и голову уронив в ладони. Ждал не ждал — неведомо. И хотя волосы жесткие ершились у него на макушке, а хрящеватый нос хищно нависал над столом, с уверенностью можно было сказать: так не сидят, когда на душе поют птицы.

В доме стояла тишина. Только и слышно было, как часы стучат. Отрывают минуты. Мыслей не было в голове. Так, ворошилось что-то досадное, горькое, тошное. Знал он, что в жизни за все — и плохое, и хорошее — заплатить надо своей кровью. Но боль тем не унять было.

Неожиданно за стуком часов Григорий Иванович услышал, как калиточка чугунная брякнула, и тут же шаги по песочку заскрипели.

— Кхе, кхе,— кашлянул слабо Иван Алексеевич, входя в комнату.— Кхе, кхе...

Шаркнул ножкой.

Григорий Иванович голову поднял.

Иван Алексеевич, стоя в дверях, ладошкой сухонькой лысину потирал. Одну руку поднял и плешь потер, второй махнул по тому месту, где когда-то росли волосы. Чисто заяц умывался.

— Кхе, кхе,— в третий раз не то горло прочистил, не то засмеялся.

И тут только Шелихов глаза его разглядел. Глаза у купца петербургского прыгали. Смех из них так и плескался. И смех ехиднейший. Ну, бес прямо стоял в дверях. Бес, да и только.

— Что? — к Ивану Алексеевичу рванулся навстречу Шелихов. Надежда вдруг проснулась в нем. Вспыхнула, как пламя. Кровь забурила. Глаза распахнулись широко.

— Ну же, ну! — поторопил он Ивана Алексеевича.

Но тот молча к столу подошел, сел и ладошки холмиком сложил смирно. Худенький, узкоплечий, лицо красное, как яичко каленое облупленное. Помолчал, на ладошки свои хрупкие поглядывая. Потом медленно, медленно поднял голову.

— Вот так-то, родственничек,— сказал,— у нас в столице дела делаются.

В кармашике пошарил и на стол бумажку выложил. Разгладил неторопливой рукой.

Григорий Иванович через стол перегнулся и в бумажку глазами впился. Буквы шатались, но все же прочел написанное поперек страницы: «Президенту Коммерц-коллегии графу Александру Романовичу Воронцову. Выдать по сему двести тысяч рублей ассигнациями. Дмитриев-Момонов».

Шелихов ахнул от изумления. Схватил бумажку, и руки его, никогда не дрожавшие, задрожали. Веря и не веря, поднес бумажку к глазам и вновь перечитал все вслух:

— Выдать по сему двести тысяч рублей ассигнациями...

Поднял глаза на Ивана Алексеевича. Вздыхнул всей грудью — так, что ребра поднялись и опали, словно взбежал на высокую гору. Понял: «Дело задуманное продолжать можно». Со стула вскочил и за плечи охватил Ивана Алексеевича.

— Ну, удивил,— крикнул,— удивил!

— Умерь пыл-то,— отбивался обеими руками купец петербургский,— сломаешь, лапищи-то медвежьи.

А Шелихов купца чуть ли не к потолку подбрасывал. Тот только рот разевал.

— Как отблагодарить-то, рассказывай?

Иван Алексеевич едва из его рук вырвался, сел, бороденку помятую поправил. Опять закашлял по-глупому:

— Кхе, кхе...

Большущей хитрости был мужик. Сказал:

— А ты-то все волк, волк... Вот и я говорю — волк! — Глянул на Григория Ивановича уже без улыбки.— То-то что волк. Собольки-то, видишь, свое сделали. Собирайся, кони у ворот, и с этой бумажкой при денежки получать.

— Как? Тотчас же? — отступил на шаг Григорий Иванович от неожиданности.

— То-то и есть, что тотчас,— ответил спокойно Иван Алексеевич и зашел за стол, боясь, видимо, что родственничек бросится вновь сго качать. Потрогал ладонью бок. В боку побаливало.— Тотчас, тотчас,— повторил,— что медлишь?

Григорий Иванович, забыв шапку, прыгнул в возок. Кони с места взяли шибко. Ударили копытами в мостовую так, что от торцов полетели щепки. Мелькнул шлагбаум, запиравший Грязную улицу, лицо будочника с хохлацкими усами, какие-то решетки, подъезды домов. Григорий Иванович и не запомнил, какими улицами скакали, как в присутственное место вошел, но, увидев, как вокруг засуетились, как забегали, во второй раз подумал: «Ну, развернем мы теперь дело. Развернем». И коридор коллегии, что таким длинным все для него был, теперь короче воробьиного носа показался. Шаг только сделал, и все тут.

Чиновник в мундире добром начал считать деньги. Шелестел бумажками и купцу кивал приветливо. А пачки денежные росли и росли на столе. Бумажки радужные, белые,

с большим портретом императрицы. Лицо чиновничье светилось несказанной радостью по случаю удачи купца. У чиновника пышные рыжие бакенбарды и медные пуговицы на мундире. И бакенбарды уютны, как борода родного дедушки, а пуговицы яркие, улыбчивы, словно и им счастье купца в радость. И как уже чиновник услужить радел. Денежки в пачки ровнял престарательно, бумажками обворачивал крест-накрест, да еще и проверял, ровно ли ложится крест. Потом денежки собрал и аккуратненько уложил в мешки. Иглу достал хорошую и доброй ниткой прошил мешки. Стежок к стежку, стежок к стежку. Нитку откусил с хрустом и, поднявшись со стула, мешки с поклоном подсунул к Григорию Ивановичу:

— Извольте-с получить-с.

И опять лицо у него разулыбалось.

И не захочешь, а сунешь «катеньку». И Григорий Иванович положил ее на ладонь чиновнику. «Катенька» вспорхнула, как птичка, и исчезла в рукаве чиновничьем. Тоже вот умение. Другой дуrom за щеку сунет деньгу и думает — спрятал. Ан нет. Щеку-то и пальцем отодрать можно. Не увернешься. А тут — чудо.

## 10

Дом на Грязной улице воистину зашумел. То все цветочки были, а теперь ягодки созрели. Народу прибавилось, и девки дворовые глубже забились в чуланы, уже и вправду опасаясь за свои юбки.

Жена Ивана Алексеевича во флигелек перешла, находя, что там только и можно найти покой, да и сам Иван Алексеевич в большое беспокойство вошел от шума и неразбе-рихи.

За домом, между сарайчиками, на чурбачке уткам и курам головы секли, тут же ощипывали и во множестве птицу на кухню стаскивали. Кололи кабанчиков. Визг порсячий стоял на хозяйственном дворе несносный, пух птичий летал, и повар с поварятами не отходили от огня. Пламя в печи бурлило, и на сковородках аршинных, сковорода и попыхивая, жарились многофунтовые куски мяса, в золотом жиру плавали утки, тушилась всякая всячина. В кастрюлях кипели похлебки: из тех, что попроще, но посытней.

Гости были непривередливы, но крайне прожорливы. Оголодали, видать. Толстых среди них неприметно было.

Григорий Иванович ныне на слова напирал не особо, а прямо отсчитывал молодцам деньги и договаривался, когда

и куда приехать тому или иному. Моряки и мастеровой люд деньги брали смело и, пообещав явиться к сроку, ухаживали решительно. Расписочек или записей каких Григорий Иванович не просил ни от кого. Так: хлопнут рука об руку — и будь здоров, Иван. Ждем-де, мол, тебя к сроку. И вся недолга. Молодец шапку надвинет поглубже и шагнет через порог. Только его и видели — завьется по улице. А денежки немалые отваливал Григорий Иванович. И на дорогу, и на харч, а то еще и на оплату долгов, числящихся за тем или иным мореходом. Хорошие денежки.

Иван Алексеевич, глядя на все это, страдал. Столько переводилось добра — как думал он — впустую, такие деньги исчезали в карманах чужих — полагать надо — бесследно. Кабанчиков-то с осени молочком отпаивали, уток выборным зерном кормили. А вот сидит за столом дубина: рожа, что вдоль, что поперек, а лапищи такие — ахнешь. Трескает мясо, аж кости хрустят на зубах. А потом — Иван Алексеевич морщился болезненно — поднимется от тола, и Гришка ему выдаст пачку денег. И нет бы подлец этот мордастый упал в ножки, икону поцеловал, что выполнит в срок обещанное — куда там. Деньги, как ворованные, не считая, сунет за пазуху и вон со двора.

Иван Алексеевич пенять было начал за то Шелихову, но Григорий Иванович ответил так:

— Видишь ли, ежели не приедет какой и тем нечестным себя выкажет, то и бог с ним, пущай не приезжает. Нам народ честный потребен. А такой бесстыжий, ежели бы даже его расписка приехать заставила, беды только натворит. Пущай ему — здесь остается. Мы от того еще и в прибыль ойдем.

Иван Алексеевич пожевал губами, потер лысину по привычке и подумал, что в Гришкиных словах резон есть.

Морехода же хорошего или мастерового дельного нелегко было из Петербурха сманить на восток. Хоть слова и ладные Григорием Ивановичем были говорены, но всяк разумел, что не на пироги он звал. Какую махину перетащить надо — тысячи верст. Сибирь пройти, Восток Дальний, океан переплыть... А на дорогах-то не ангелы стоят, лихие разбойнички с ножами острыми, с дубинками тяжелыми. Они вон и под Москвой-то, в лесах, шалют, а уж за Тамнем, что и говорить. Денежки деньгами, а под сердце апустят ножик — бумажки эти, хотя и хрусткие, но неадабны станут. Или по голове шарахнут с отягечкой — уже не праздник. Ножками дернешь в последней пляске затихнешь. Нет, прежде чем на поход такой дать согла-



сие, поскребешь в разных местах, ежели даже блоха тебя не кусает и вошь не точит. Да что разбойнички, они — народ вольный. Дорога эта дальняя кого хочешь и без ножа зарежет, укатает, замордует. С колокольцами-то под дугой хорошо по доброй дорожке к Черной речке или куда еще под Петербурхом прокатиться. В широкую масленицу. Эх, завьются кони! А через Сибирь катить... не то, братцы, задотошь. Да и там, на землях новых, понимать надо, житье не сахар. Отчаянным, ох, отчаянным надо быть, чтобы решиться на такое. Но нашел все же Григорий Иванович людей. И таких нашел, на которых, нужно думать, положиться было можно.

С беспокойным, горластым племенем мореходов и мастеровых управившись, Григорий Иванович занялся с человеком военным. Здесь он встречался все больше с отставными, так как в службе находящиеся в земли дальние никак ехать не могли. Ну, думалось, отставные — люди благородные, какие здесь хлопоты, какой шум и беспорядок, ан нет. Пришлось-то еще более лихо.

Отставника слышно, когда он только к дому подошел. Выдавал отставника лязг калиточки чугуной. Народ отставной движениями обладает решительными. Известно: «Бей, коли, руби!» Так что уж действий деликатных ожидать никак не следовало. А напротив, опасаться можно было, что столбы у ворот, хотя бы и цельно отлитые из металла, вполне своротить могут.

За калиточным лязгом сразу же шаги слышны были. И так:

— Тум, тум, тум!

Серьезный идет человек, понимать следовало, и идет, как на плацу полковом:

— Носок тяни! Шаг тверже!

И еще не успевали жалобно отзвенеть стекла в окнах после появления в калитке нового гостя, как он, войдя в комнаты и пристукнув каблуками, рывкал, глаза из орбит вытаращив до крайней опасности:

— Здрав... жяв... жяв... жяв!..

Ну, скажешь, этот совсем от фрунта обалдел.

Лбы примечательные у людей таких. И не постучав в него пальцем, утверждать можно смело — каменный.

Трудненько, одним словом, с военными пришлось Григорию Ивановичу. Но все же людишек он подобрал и среди этого народа.

Закончив с военными, Шелихов приглашать начал в дом Ивана Алексеевича людей ученых. Люди эти тихие,

сутулые от сидения долгого над книгами, подслеповатые по той же причине и, как говорят в народе, пристукнутые с маковки. Потому как на Руси хоть и жалуют ученого человека, но в душе, почитай, каждый думает: «Папашка мой без арифметики прожил, я ничего себе живу, и, думать надо, Васятка мой вытянет». Так что девки дворовые отнюдь в эти дни прятаться перестали, а, напротив, шастали по дому, кто как хотел. Как кошки мартовские, угорелые, носились. Шашть... Шашть... Мелькали подолаы. Засиделись, знать, в чуланах. Девке сидеть взаперти тяжело. Вот они свое и наверстывали. И видно было, что уж не им бояться надо неожиданностей каких или конфуза, а предостеречь следовало людей приходящих, как бы их с лестниц не спихнули или не зашибли чем.

Комнатный народец Ивана Алексеевича тоже осмелел. И уж какие там закуски, водки или наливки, самовар и то подавали не вовремя. Да ежели и внесут, то швырнут на стол, и все тут. Понятно, ученый — он и есть ученый. Кулаком не стукнет, не даст по загривку. Напротив. Замечено было, что один из этих гостей, войдя в комнату и по близорукости натолкнувшись на стол, извинения у него попросил. Что уж услуживать такому? Так обойдется.

Входили ученые в дом неслышно, ступали мягко, и видно было, что такой человек, ежели на улице даже и толчея будет невообразимая, пройдет и никого локтем не заденет.

Жена Ивана Алексеевича, на что уж береглась неожиданностей, а и то в эти дни из флигеля перебралась в дом и расположилась вполне свободно. Лицом, как прежде, подобрела, и мягкие ее щеки разгладились. Улыбкой купчиха дородная лучилась, кваски да квасочки, медки да медочки, да водички сладенькой попивая. Какое беспокойство, когда в доме долгожданная тишина наступила. Только и слышно, как птички в клетках поют, стучат клювиками, коноплю поклевывая. Благодать...

Ученые потребовались Григорию Ивановичу затем, что хотел он на новых землях школы открыть, в которых бы обучали детишек местных арифметике, навигации и другим полезным наукам. А для того понадобились ему книги и разумные советы. Да и о другом думал купец. Камней с новых земель привез Шелихов в Петербурх добрых два сундука. Знал — камни эти, как ничто иное, о новых землях расскажут, но расскажут только людям сведущим, ученым.

Вот и хотел, чтобы сведущие-то посмотрели на находки ватажников и надоумили, как поступать дальше. Где и что искать, да и как строить этот поиск. А то вслепую ватажни-

ки ходили, брали случайное, что бог бросит под ноги.

Чудной народ ученые. До того обрадовались, что и в них нужда объявилась — а то все больше в забросе да забвении, что книг и даром готовы были нанести. О советах и говорить нечего. Реестры целые Григорию Ивановичу для памяти сочинили.

— Вот это люди,— головой только и покивал Григорий Иванович,— да...

И еще один гость был у Шелихова перед самым отъездом. Федор Федорович Рябов.

Как-то ввечеру перед домом остановилась коляска. Иван Алексеевич тут же на крыльцо выскочил. Вот и многих людей повидал за последнее время и из тех, что на колясках подкатывали к его дому, и из тех, что подходили своими ногами, а понял сразу: этого у дверей надо встретить. Навстречу Рябову и Григорий Иванович поспешил.

Федор Федорович раскланялся учтиво и, плащ оставив в прихожей, вошел в комнату. Сел к столу.

Внесли свечи. Хозяин засуетился накрыть на стол.

Федор Федорович сидел ровно, руки на коленях сложив, и на лице его не то чтобы улыбка была, но и не без радости глаза взглядывали. Главным все же в лице была горечь глубоко затаенная. Горечь. И это Шелихов угадал.

И говорили-то они немного, однако понял Григорий Иванович, что рад, искренне рад Федор Федорович — так же как и патрон его граф Воронцов — успеху купца, но все же горчинка есть у него в душе, как оскомина на зубах после кислого. И горчинка эта оттого, что успех этот случаен и пришел он не благодаря усилиям известной персоны высокой, а вопреки им.

Один из них знал, а другой догадываться мог только, что недавно под звуки музыки нежной, на придворном балу, склонившись изящно к плечу императрицы, Александр Матвеевич признался о своем распоряжении относительно суммы, Колумбу русскому, как выразился он, выданной.

Императрица оборотила к нему полное лицо и, чуть помедлив, ответила: «Ежели это удовольствие вам доставило — я рада».

Под сводами зала плыли звуки менуэта. Вдоль стен двигались пары. Кавалеры вели дам. Обнаженные плечи, руки сказочной красоты казались золотыми в текущем свете бесчисленных свечей.

На том разговор о двухстах тысячах был окончен. И оскомина десны ела, что дело столь важное в ничтожной игре придворной решалось.



Федора Федоровича проводив и дождавшись, когда коляска отъехала, Шелихов в улицу посмотрел.

Небо над Петербурхом к ночи тучами заволокло, туман белесый с Невы потянуло. Сыро, промозгло... В серой непогоде окна светили неярко. Шелихов зябко плечами повел, и вдруг представился ему Иркутск утренний, продутый свежим ветром с Ангары, весенний, в белом цветении пышной черемухи. Заангарские дали увиделись с травой сочной, высокой, той, что выше груди растет. А в траве — жарки горящие. «Ну,— подумал,— ладно. Сколько не болела, а померла».

Повернулся и стремительно пошел к дому. Он был готов лететь к землям новым, как птица, вырвавшаяся из грубой руки, которая долго удерживала ее, сжимая и тиская.

## 11

Иван Ларионович Голиков дурачиться бросил: шуточки, прибауточки забыл, строг стал, как никогда, забросил тулупчики драненькие, валеночки сиротские, камзол надел строгий, юфтовые башмаки с пряжками железными и даже сбрил бородавку.

Жена, увидев его без бороды, отшатнулась. Да так, что затылок явственно стукнулся в стену. И то ли оттого, что зашиблась сильно, или же от вида срамного мужниного лица, но ноги у нее обмякли, и она едва-едва на лавку, счастливо подвернувшуюся, села. А Иван Ларионович прошел мимо, даже и не взглянув.

Лицо у Ивана Ларионовича подсохло, живот подтянулся. И уже не бегал он, как бывало — суетливо, но ходил солидно, по сторонам строго постреливая глазами. Ну да это бы ничего, к чудачествам голиковским привыкли, думали: очередная блажь ударила в голову. Ан нет. К торговому делу своему не то чтобы купец интерес утратил, но как-то отошел в сторону.

Во дворе шум, теснота — мужики с обозами придут и у крыльца толкнутся: взгляни-де, хозяин, взгляни, товар хорош! А Иван Ларионович шмыг мимо, и головы не повернув. И все в губернское управление мчит или по чиновникам ходит.

В амбары и носа не кажет. Приказчики, конечно, вертелись по-прежнему, а он только глянет на бумаги, распорядится: так-де, мол, и так делайте,— и все. Сам и с купцами не встречался, и торгом не интересовался, и с артельщиками, которых по весне посылали на север за рух-

лядишкой мягкой, даже и словом не обмолвился, хотя дело это было наиважнейшее.

Весенние деньки эти купцы в Сибири ценили, как в России матерой хлебопашцы. И точно: один день такой — год кормил. По тому, как распорядится купец да что ухватить успеет, тем и год пробавляться будет. Надо было много: товар заготовить, до рек дотащить, сплавить с половодьем да еще и других обскакать, так как каждый торопилсяплыть на Север побыстрее и лучшее взять первым, а Голиков и не спешил вовсе с делами весенними. Напротив, к весне ближе — во время самое горячее для дела торгового — обоз снарядил и из Иркутска махнул в Охотск.

Когда Лебедеву-Ласточкину сказали, что Иван Ларионович в Охотск собирается, он взглянул на говорившего с недоумением, и видно было, что ничего не понял.

— Как, в Охотск? — переспросил. — Торга весенние на носу. Какие поездки?

На счетах считал, а тут разом смешал костяшки, да и сами счета отодвинул. На лице у него что-то ищущее появилось. словно принюхивался он к ветру, потянувшему незвесть откуда. Забеспокоился купец. Подумал: «Ну, замыслил Голиков каверзу, наверняка хитрую. — Потом огляделся. — Нет, ничего не приметно. — Руками развел. — Чушь неусветная. Из ума, что ли, выживает?» Зол все же был на Ивана Ларионовича, да и помнил — расписочки-то, расписочки дорогие у Голикова в шкатулочке лежат.

А Иван Ларионович, обоз нагрузив и хлебом, и солью, и скобяным товаром, да и иного много чего прихватив, по крепкой еще дороге двинулся на Охотск.

Как-то рано поутру иркутяне увидели обоз, растянувшийся версты на три. Лошаденки мохнатые, монгольские, бытые, воза хорошо зашпилены для дальней дороги, мужички шагают с кнутами, засунутыми за кушаки. По весне да дальнюю дорогу? Плечами недоуменно пожимали многие:

— Невиданное то дело...

Взглядывали друг на друга:

— А? Что скажешь-то?

Но человек в ответ только руками разводил:

— Н-да-а-а...

Много разговоров было в Иркутске. И опять задумался крепко Лебедев-Ласточкин: «Неспроста, ах, неспроста это».

Приказчиков своих послал разузнать, что и к чему. Но те побегали, побегали по лабазам да амбарам, по лавкам а кабакам и ни с чем вернулись.

И все же не поверил Лебедев-Ласточкин, что просто так в Охотск Иван Ларионович направился. Все добивался, добивался — в чем корень.

А в городе поговорили неделю-другую об обозе, да и забыли. Жизнь свое крутила. Хлопоты, хлопоты весенние.

Обоз в Охотск пробился. Только дошли, и оттепели ударили. Потекло в тайге, реки тронулись, тундра оживать начала, зазвенела птичьими голосами. Теперь уж не пройдешь: вода по пояс. Но дорога страшная была уже позади.

В Охотске Иван Ларионович борзости еще больше набрался и со всем усердием принялся за снаряжение корабликов за море. Едва-едва развидняется, а он уже на причалах. Шумит, бегаёт, лезет в каждую дыру. Камзол в Иркутске еще новый был, а сейчас глядишь: там прожжен, здесь порван, тут смолой измазан. А все оттого, что и в кузницу, где для такелажа железо ковали, нырял купец, на мачты лазил, проверяя, где и как приладили снасти, а уж в смоле измазан, так то оттого, что, когда смолили суда, он от корабликов не отходил и на шаг. Чуть где непорядок обнаружив, хватал за бороды мужиков. Мелочи не спускал. На Кадьяк решил он отправить теперь и скот добрый, и зерна большой запас, и для промена на пушнину товаров разных множество.

Много людей в деле том закрутил и завертел. Командовать умел, да и денег не жалел. А деньги и хромого плясать заставят. Вот и заплясали под его дудку в Охотске.

Скот подобрал Иван Ларионович — любо-дорого глядеть. Коровки — одна к одной — сытые, рослые, вымя под брюхом навешено, как ведро. Известно, корова для мужика — жизнь сытая. Она, милая, и молочком напоит, и маслица даст, творожком угостит, сырком попотчует. Да от одного взгляда на корову добрую у человека в душе теплее становится. Идут такие вот красавицы по улице, колокольцами брякают, а хозяйки в воротах стоят, и в глазах у них радость. И уж Иван Ларионович расстарался со скотом.

Да разве только со скотом заботы у него были?

Кораблики, что готовились к походу, чернели на воде тяжелыми утюгами. Больно уж трюмы перегрузили, к причалу подвести суда Иван Ларионович опасался. Вдруг шторм сорвется — побьет корабли. Из осторожности их отвели в море. Якоря на байдарках развезли от каждого кораблика на четыре стороны и укрепили намертво. Под ветром свежим качало корабли, канаты поскрипывали, но держали якоря надежно. Такая связка и под штормом удержит.

Между судами и причалами сновал малый флот. Обливаясь потом, мужики гнулись над веслами.

— Навались,— гремели голоса.

Мешки, тюки, бухты канатов, корзины плетеные со скобяным товаром так и летали с рук на руки. С причала на байдары груз перебрасывали, байдары бежали к судам, и вновь руками с байдар на высокие палубы корабликов груз поднимали. Минуты передохнуть иному мужику некогда было и пот смахнуть едучий, застывший глаза. А Иван Ларионович все — давай да давай! Время удобное боялся купец упустить.

Готлиб Иванович Кох, поражаясь расторопности имени-того купца, заехал к Голикову с разговором. Тоже беспокоился: что-то уж слишком рьяно Иван Ларионович за земли новые принялся. Прикидывал: «Может, в столице-то Шелихов подмогу большую получил? Как бы не опростоволоситься? — Чиновник-то всегда по ветру нос держит. — Вдруг,— думал,— сверху Гришку поддерживают, а я медлю?»

— Ах, Иван Ларионович, Иван Ларионович,— руку жал купцу,— что же ко мне не заглянули? Я всегда рад, да и помог бы...

— Да нечего уж,— отвечствовал Иван Ларионович степенно,— мы и сами с усами... Справляемся.

Готлиб Иванович сухоньким личиком потянулся к купцу:

— А что уж так радеете, Иван Ларионович, насчет земель новых? Торг, говорят, и тот забросили.

И застыл. Ладошки сухонькие прижал к бокам. Ждал, что купец ответит. В глаза заглядывал.

— Да что ж не радеть-то,— ответил на то Голиков,— земли-то державные. Вон Григорий Иванович,— взял со стола бумагу,— пишет из Петербурха, что с людьми учеными говорил, и те, образцы собранные им осмотрев, сказывали, что металлы весьма полезные на землях есть, уголь каменный. Больших, больших дел, Готлиб Иванович, от тех земель ждать надобно.

По плечу чиновника снисходительно похлопал, и Кох решил определенно: «Точно, Шелихов в Петербурхе руку нашел крепкую. Надо с купцами поостеречься». Чиновник против ветра ширинку не расстегнет... И уж Готлиб Иванович не ведал, что и сказать купцу.

Иван Ларионович, напротив, сух, сух был с чиновником. Плохого не говорил, но и хорошего от него Готлиб Иванович не слышал. Туману, туману напустил купец.

С тем и уехал Кох. Да так, что и на ступеньку колясочки став, да и на сиденье устроившись, все кивал, кивал лицом улыбочным Ивану Ларионовичу. Рад-де, очень рад и помочь, чем могу, всегда готов.

С того дня Голиков еще шибче в порту завертелся. Многие слышали слова, купцом сказанные:

— Григория Ивановича жду. Тогда развернемся.

И все видели: доволен купец, доволен и боек с излишком даже.

Стучит каблуками башмаков по доскам причалов, и усталости вроде у него нет.

Волна тихо о причал шлепала, качала зеленые водоросли, облепившие старые, до черноты прогнившие сваи. Из глубины темной к свае выплыла огромная, большеголовая рыба и круглые глупые глаза уставила на солдата, сидевшего на краю причала.

Солдат был старый вояка, еще елизаветинский, невесть как попавший в Охотск. Глянув на рыбину оторопело, солдат с сердцем плюнул:

— Тыфу, нечисть... Не приведи господи!

Рыбина лениво вильнула хвостом и ушла в глубину.

Солдат вытер рукавом заросший щетиной подбородок и плюнул еще раз. Не один год на берегу океана жил, а все не мог к рыбе морской привыкнуть. Уж больно велика, колюча и чертоподобна. Другого и не скажешь. Все карасики рязанские ему помнились. Серебряные. Гладенькие. С чешуей ровненькой. Из пруда тихого, на поверхности которого не шелохнется и опавший листок, удой гибкой вытягивают таких. Карасик бьется, играет в солнечных лучах, трепещет прозрачными плавниками. Красавца этого раз из воды выхватишь и всю жизнь помнить будешь.

— Эх,— вздохнул солдат,— карасики красные...

Со стоящих на банках кораблей донесли удары склянок. Солдат руку приставил к корявому уху. Посчитал удары, но так и не понял, который час.

На востоке уже до полнеба высветлило, и солдат решил, что вот-вот солнышко встанет. Заворочался, как воробей под застрехой, в проволглой от ночного тумана шинельке и поднялся на ноги. Знал: караульный начальник строг. Увидит, что на посту сидел, натрет холку. Но какой там караульный начальник? Охотск спал, раскинувшись на берегу океана. И еще ни одна труба не дымилась, не светилось ни одно окно. Даже собачьего бреха не было слышно. Да и на кораблях не угадывалось никакого движения. Вот склян-

ки пробили, и все стихло. Только Нептуньи морды золоченые выше бушпритов поблескивали, да четко над морем рисовались черные перекрестья мачт.

Волна по-прежнему чуть слышно шлепала о причал, обещая штиль на море.

И вдруг в тишине чуткое солдатское ухо уловило какой-то звук. Будто бы колеса тележные простучали по камням. Понукание послышалось, и опять простучали колеса.

Солдат насторожился. «Кого это нелегкая несет,— подумал,— в такой-то час ранний?» Увидел: из-за дальних домов телега выкатилась, запряженная гусем одвуконь. Угадал на телеге мужика и второго разглядел, трясущегося на соломе.

«Что за люди?» — с тревогой подумал солдат и ружье подхватил. Лицо набычил по-начальственному и шагнул с причала. Службу знал старый.

Телега прокатилась над морем и, простучав по камням, скатилась к воде. С телеги бойко соскочил мужик, что на соломе трясся, и шагнул к волне. Вошел в воду по колено. Нагнулся, зачерпнул полные ладони и в лицо плеснул и раз, и другой. Засмеялся громко. Оборотился к солдату, с непонятливостью разглядывавшему это чудо: ишь ты, как разобрало человека — лицо водой морской, горькой оmyвает. Умыться, конечно, надо с дороги — так к колодцу ступай. Ключевая вода-то и мягка, и сладка, и освежит лучше. А в эту — похлебку соленую — что уж лезть?

Солдат даже фыркнул в нос с неудовольствием. «Вот уж правда,— подумал,— избаловался народ».

А мужик на гальку выбрался и подошел к солдату. На бровях вспыхивали капли воды в лучах вынырнувшего из-за горизонта солнца.

— Ты что,— спросил весело,— старый, не узнаешь? А я ведь когда-то трубочку тебе подарил.

Открыл в улыбке белые зубы.

Солдат вгляделся и изумленно глаза раскрыл:

— Григорий Иванович! Ах, батюшка... Не признал... Не признал... Да ты же ведь в Петербурхе, говорят... — Затаптался на гальке.— Как же, как же... Вот она трубочка-то твоя...

В карман шинели сунул руку и выхватил обкуренную, с черным чубуком трубочку.— Как закурю, так тебя и вспомню.

Протянул трубочку Шелихову.

Но тот трубочку отстранил. Засмеялся:

— Не надо... Ишь табачищем-то несет от нее... Как

живете-то? — Повернулся вновь к морю. — Красно-то как! А?

— Да что уж там, красота, — прокуренным горлом засипел солдат. — Нам-то что до нее. Сырость одна, и все...

— Эх, служба, служба, — вновь оборотился к солдату Шелихов и, обхватив его за плечи, крепко тряхнул и притиснул лицом к груди. Рад был, рад, что опять море увидел. Даже и не верилось, что вновь на берегу стоит и волна рядом, у ног, плещет. Да и какая волна! Прозрачная, хрустально драгоценному подобная. А коридоры длинные петербургские, чиновничьи лица постные, решетки, перегораживающие улицы, — все позади. Море синью било в лицо, и солнце вдали восходило яркости необычайнейшей.

— Эх, солдат, — повторил Григорий Иванович, прыгнул в телегу. Крикнул: — Давай!

Телега загремела вдоль моря, подскакивая на камнях. Кони хоть и приморенные дорогой, захлестанные грязью, а понесли все же лихо.

Малое время спустя сидел Григорий Иванович за столом, яствами уставленным, и хозяйка счастливая глаз с него не спускала.

Лицо ее говорило:

— Гришенька, ах, Гришенька — моленный ты мой, на силу тебя дождалась!

Тут же, с краю, горбился Голиков Иван Ларионович. Глаза прятал под надвинутыми бровями.

На столе лежали шпаги с золочеными эфесами, царицей дарованные, медали на Андреевских лентах.

Шелихов уже обсказал житье свое петербургское. Выложил, как все было и к чему пришло.

Иван Ларионович пощупал пальцами муаровую ленту медали царской и сказал хмуро:

— Да... Не очень-то нас матушка пожаловала. Не очень. — Честолюбив был до крайности, и обида его ела. — Да... да... — тянул раздумчиво. Невесел был. Соображал что-то. А что?

И Шелихов понял, что минута пришла для дела их важная. Отвалится сейчас Иван Ларионович в сторону, и трудно придется с землями-то новыми, а то и вовсе конец всему. И почувствовал — словно пружина тугая в груди у него сворачивается, сжимается, скручивается.

Наталья Алексеевна, хлопотавшая по хозяйству, сунула в дверь голову, сказала:

— Готлиб Иванович пожаловал.

Дверь распахнулась, и в комнату вкатился на быстрых ножках Готлиб Иванович.

— Ах, Григорий Иванович,— воскликнул громко,— наконец-то приехали. А мы уж и заждались...— Глазами юркими комнату обежал и, чуть взглядом задержавшись на лице скучном Ивана Ларионовича, оборотился к Шелихову:— Ну же, обниму героя!

Обхватил широкие плечи Григория Ивановича хиленькими ручонками, ткнулся холодными губами в шею. А сам все шарил, шарил глазами и разглядел-таки шпаги с золочеными эфесами и медали царские на столе. Вмиг сообразил: «Невелика награда». Знал, какие и за что награды даются матушкой царицей. И цену шпагам и медалям разумел. Так-то награждают, понимал, дабы отделаться малым.

Вошла Наталья Алексеевна и пригласила за стол Готлиба Ивановича. Водочки поднесла, закуску на тарелочку положила.

— Порадуйтесь, Готлиб Иванович, приезду нашего хозяина.

— Да, да,— кивал Готлиб Иванович, а мысли в голове чиновничьей шустрили о своем.

«Так, так,— думал,— значит, у Гришки-то не очень получилось... И здесь, не стесняясь, прижать его можно. А то разгулялись купцы. Рукой не достанешь... Непременно прижать надо и свое взять».

Повнимательнее к Ивану Ларионовичу, киснувшему у края стола, пригляделся: «И этот, вишь, скуксился, а то все петухом летал... Что ломиться-то в стену? Ну, взяли свое и отошли в сторону. Земли, земли новые! А видишь, они-то не очень Петербурху нужны. Нет, прижать надо».

Водку выпил, глазки по-птичьи прищулив, и из-за стола поднялся.

— Не буду мешать встрече дорогой,— сказал,— я на минутку только забежал почтение засвидетельствовать.

Шустренько из комнаты выбежал. А в голове все то же вертелось: «Хе, хе... Герои... И что лезть-то на стену? Свое знай: в карман положил рублик — вот оно и здорово. А то замахнулись державы границы раздвинуть... Блажные или дураки все».

Иван Ларионович еще больше заскучал после визита Коха. Ладонь на глаза положил и вроде бы отгородился от Шелихова. Понял, о чем думал бойкий Готлиб Иванович. Матерый был купчина и сквозь землю видел.

Шелихов качнулся с лавки к Голикову, за локоть его взял крепко, подтащил к окну.



— Ты что,— сказал,— на этого сморчка смотришь. Да ему и ясный день — ночь темная. Нам ли его головой жить, думками его печалиться? Вот куда гляди,— распахнул окно,— вот на чем глаз востри...— Во всю ширь за окном море сверкало, играло, искрилось, вольно над волнами гулял ветер, завивая белые барашки.— Вот наше поле,— сказал Шелихов голосом, набравшим силу,— и нам на нем пахать... Нам!

Повернулся, схватил со стола шпагу и вновь к Ивану Ларионовичу оборотился.

— Так неужто тебя вот эта вот игрушка,— он потряс шпагой,— в смущение привела? — Швырнул шпагу на стол, и она звякнула жалко. Наклонился, жадно вглядываясь в глаза Голикова:— Ну, ну же, Иван Ларионович?

— Да что уж,— забормотал Голиков,— конечно, что там... Конечно...

— Вот так-то,— облегченно вздохнул Шелихов и в плечо Ивана Ларионовича толкнул сильной рукой.

— Мы свое,— сказал,— сработаем.

12

А между тем на землях новых случилось страшное.

Евстрат Иванович слышал и от ватажников и от тайонов местных, что и в заливе Лъгуа, и в Кенайском заливе видели корабли чужие. Выйдут из тумана, пройдут вдоль берегов и растают в морской дали, как их и не было. По флагу, как рассказывали, понял: корабли те — испанские.

Евстрат Иванович покачал головой.

Ну, это бы все ничего. Мало ли какие корабли по морю ходят. Смущало то, что испанцы, в русские владения приходя, на Кадьяк не пожаловали и ни единым словом с русскими не обмолвились. Отчего бы это?

Евстрат Иванович морщил лоб, силясь уразуметь, что стоит за тем, и, решив — не к добру такое,— задумал в Кенаи направить десяток мужиков.

Крепостица в Кенаях стояла, еще Григорием Ивановичем поднятая, но ватажка там оставлена небольшая. С кенайцами мир установился полный, и думалось, больше людей здесь держать ни к чему. Боязни никакой не было. А тут встревожился Евстрат Иванович. Решил: «Так надежнее будет. Что там еще за корабли испанские? Да и что ждать от них?»

Сколотил новую ватажку, во главе ее Устина поставили. Жаль было Устина отправлять. Нужен он был на Кадьяке, но другого для дела такого Деларов не нашел.

— Что уж,— сказал,— нехватать здесь тебя будет, но...— Руками развел: — Дело, брат, дело такое...

Устин сам выбрал мужиков, которые с ним идти должны. Взял устюжан, трех добрых парней — Кильсея, что полюбился ему знанием тайги да и местного промысла; других мужиков выбрал не хуже.

Сборы были коротки, прощание того короче. Только-только начиналась весенняя путина и дел не впроорот. Знай поворачивайся, а то без рыбы останешься. В путину, как в страду полевую, каждый час дорог.

Евстрат Иванович обнял Устину, хлопнул ладонью по крепкой костистой спине, и — паруса подняли. Байдары в море устремились.

Устин смотрел, как уходил вдаль берег, как истаявали в текучем весеннем воздухе башни крепостицы, и в груди у него тяжесть наливалась. Нехорошо, томно. словно бы чувствовал — в последний раз видит крепостицу, не одно бревно которой им положено. Да что бревна? Крепостица та в бухте Трехсвятительской каждому ватажнику родным домом стала. Здесь первый шаг на земли новые сделали, бедовали и холодали на берегу этом, обстроились с великим грудом, хозяйство завели — вон дымки-то к небу поднимаются, крыши под солнцем поблескивают тесом свежим, ну совсем русская, родная деревня, что на Вологодчине милой или Рязанщине. Да здесь же и не одного товарища в землю уложили. Кресты-то за крепостицей стояли в ряд. Нет, трудно было расстаться с Кадьяком. Вот оно какое сердце-то человеческое: за что не дорого плачено, того и не больно жаль, а коли труд вложил — к тому живым прикипел.

Отвернулся Устин от берега, не стал душу травить.

— Ну, ребята,— сказал,— стреми парус!

Байдара на волну взбежала бойко, развалила пенную триву на две пелены. Паруса ветер надул и запел, запел вечную свою песню в нехитром такелаже: «у-у-у...» Из бухты вышли, и утесы высокие закрыли крепостицу. Впереди было только море, игравшее волной невысокой. Море хорошее, по такому идти можно хоть за край света. Но все же предчувствие беды сдавило Устину горло.

В Кенаи, однако, дошли благополучно.

Перво-наперво Устин решил осмотреть крепостицу. Разобраться, что и как.

Всем в Канаях заправлял Тимофей Портянка — голицовский приказчик из Охотска. Мужик росту невысокого, бойкими глазами и языком, вертевшимся, как мельничье

крыло на ветру. Но хотя много говорил Тимофей Портянка, а дело в крепостице вел как должно. Промышляли зверя ватажники добро, и было чем похвастаться Тимофею, когда он Устина в лабазы привел.

Мехов запасли много, да и выделаны они были так, что только и скажешь: молодцы ребята. Путину весеннюю провели в Кенайской крепостице, тоже пальцы не растопыривая. Целый лабаз накатали бочек соленой рыбы. Юколы навялили.

— Ну что? — спросил Тимофей так, будто в лавке товар предлагал, и подмигнул хитрым глазком. Видно было, доволен он: вот-де, мол, как у нас, и хотя тебя прислали сюда вроде бы для проверки, но ты еще и поучиться у нас можешь.

Да все бы ничего, только вот за всем этим забыл Тимофей Портянка о самой крепостице. И Устин ходил, ходил с ним и больше и больше хмурил брови. Стены кое-где завалились, избы поосели, ров вокруг стены обрушился во многих местах, и вода из него ушла. За такой стеной — понимал Устин — в случае опасном долго не продержишься.

Караульную службу в Кенаях несли спустя рукава. Видел Устин: сидит ватажник на вышке сторожевой и лапти чинит. Про ружье спросил у него, а тот поднялся, оглянулся вокруг, да и сказал: забыл-де ружье-то взять с собой. Тимофей Портянка хохотнул беззаботно и хлопнул себя по пыльным портам. Устин промолчал. Понимал: с лаю начинать негоже. А лаяться надо было. Ох, надо!

Другое не понравилось Устину: мужики в Кенаях квые были, скучные. А от мужика, ежели у него глаз погас, — дела не жди. Мужик веселый горы свернет, а так, с головой-то опущенной, — на что он гожд?

Поглядел, поглядел Устин на Тимофея, на мужиков и решил: надо бы их порадовать чем-то. Приметил — избы хоть и покосившиеся, ничего еще были в крепостице, крепкие, но вот ни в одной из них не было доброй печи. Так, очажки сложены. Огонь, конечно, в них теплится, но радости от него нет. А давно сказано: добрая-то речь — коли в избе есть печь. Еще и по-иному говорили: печь не рюмка водки, а мужика греет. И Устин решил: «Печи надо сложить, и мужики повеселеют». А решив так, глину отыскал, велел навозить ее поболее в крепостицу и, не долго думая, портки закатал повыше и сам в яму залез месить. Глина вязко захлапала под ногами.

Мужики спрашивали: что-де это? И зачем? Но Устин лишь отшучивался и ворочал ногами.

Глину вымесили, налепили кирпичей, обожгли, и только тогда Устин сказал:

— Печи будем в избах класть, а то живете вы скучно.— Подкинул в ладони звонкий кирпич.

Тимофей Портянка скосоротился:

— Забава...

Но мужики и впрямь повеселели.

Устин поигрывал кирпичами.

Печи не приходилось ему класть, но, видимо, коли мужик в ремесле каком успел зело, то он и с другим делом справится, ежели только загорится душа. На одну горку забравшись, стоящие рядом легко оглядеть. Пока на свою-то лез — глаз наточил, а он приметлив. Разок только глянет и, считай, урок понял.

Устин колоду крепкую положил и начал опечье набивать глиной, смешанной с песком.

— Ну,— бодрил мужиков,— сил не жалей. Набивай колоду туго. Коли слабину дашь, печь тепло держать не будет, а то — хуже того — и завалится.

Мужики старались. Да оно и понятно. На печи красное лето даже и в зиму лютую. Печь — она и кормит, и лечит, и моет: кожух с плеч, да и полез в печь. И не раз, и не два приходилось русскому человеку новую жизнь с печи начинать. Огонь ли спалит избу, супостат ли разметет бревнышки, и стоит деревня, одними закопченными печами обозначаясь, но коле есть печь — придет мужик и вокруг нее новый сруб сложит, зеркала печные известью кипенной белизны подмажет, дровишек подбросит — и гляди, заплещет, заиграет пламя и дымок голубой поднимется над крышей. На лежанку мужик кожух бросит, детишек подсадит, и оживет изба.

Так-то думал Устин, а руки его проворные летали, летали — и он уже под выкладывал и все торопил, торопил мужиков, горячил их, как будто искру хотел высечь из сердец очерстневших в небрежении бессемейном. И таки в этом преуспел: мужиков уже подгонять не было нужды. Колесом заходил народ. Только и слышно было:

— Эко! Не зевай!

Печи клали сразу в пяти избах, и Устин поворачиваться едва успевал. То туда добежит — припечек подправит, то сюда мотнется приглядеть, как свод ведут, в третьей избе сам очелок выложит. И все с шуткой, с прибауткой, с присказочкой. Всю крепостицу расшевелил.

Особо следил Устин, как выводили трубы. Большое это дело — трубу печную вывести. Высоко ежели сложить тру-

бу, хозяин дров не напасется, как порох гореть они будут — только подкладывай, но толку от того чуть. Тепло через трубу все одно уйдет. Но вместе с тем и низко посадить нельзя трубу. Не будет она тянуть, и дым в избу свалится. Но дым-то еще ничего. Дым легкий, он поднимется, а вот угар точно в избе останется, и худо придется хозяину, ежели он вообще лапти не откинёт.

К вечеру в первой избе печь затопили. На поду дровишки колодцем сложили, бересты подкинули, подсыпали угольков. Береста в трубку начала сворачиваться и разом жарко занялась, огонь дровишки сухие обнял. Пламя избу осветило.

Устин взглянул на мужиков и улыбнулся в бороду. Душой возликовал. Простое дело — огонь в печи, но нужно видеть было, как высветились лица у мужиков, как распрямились согнутые от тяжкой работы плечи. Знать, огонь этот радостью их согрел.

— Знато, — загудели мужики, — знато...

А отсветы на стенах играли, плясали, от шестка дышало жаром, и, высыхая, светлели ровно выведенные зеркала печи.

Мужики, стоя на тяжелых ногах, молча смотрели на пляшущий огонь, и кто знает — о чем думал каждый из них, долгие, долгие дни оторванный от родного дома? Какая боль жгла их души? Лицо мужичье, солнцем сожженное, в морщинах грубых, не каждому расскажет, что стоит за ним. Вглядеться в него надо, каждую морщиночку прочесть — отчего она легла, почему пробороздила скулы крепкие, лбы высокие. Морщины — рассказчики лучшие, чем речи красные. Обо всем они поведать могут: и о хлопотах пустых, и о делах стоящих. Устин мужичьи жизни по лицам до тонкости читать мог и оттого-то, взглянув на мужичков, стоящих у печи, улыбнулся радостно.

В ту же ночь и случилось страшное.

Неожиданно, сквозь сон, Устин услышал, как вскинулся на лавке Кильсей. Поднял голову. Кильсей, согнувшись, выглядывал в оконце. В стену избы ударило тяжелое, и тут же Устин услышал дикие вскрики. Не понимая еще, что происходит, Устин сбросил с лавки ноги, поддернул порты. Изба была странно освещена льющимся через оконце ярким, со всполохами, светом. «Пожар», — мелькнуло в голове.

Кильсей и Устин кинулись к дверям.

Первое, что увидели, была пылающая изба у ворот крепостицы. В отсветах пламени мелькали тени людей. На Усти-

на кинулся из темноты человек с перьями на голове. «Кенайцы», — понял Устин и, обхватив напавшего поперек живота, поднял в воздух и с силой швырнул оземь. На него тут же навалилось еще двое. Барахтаясь под ним, Устин крикнул:

— Кильсей! К колоколу! К колоколу!

И, отшвырнув вцепившегося в плечи кенайца, бросился к поленнице, сложенной у избы. Выхватил полено доброе и с маху хрястнул по башке кенайца. Тот свалился кулем. Устин запустил поленом во второго, вынырнувшего на него из темноты, и тут услышал, как громко ударил колокол.

«Бом, бом, бом!»

«Ну, молодец, Кильсей, — мелькнуло в голове, — всех поднимет».

У ближней избы шелкнул выстрел. Устин метнулся на звук. И опять на плечи ему навалился кто-то. Перебросил человека через себя и, зло ощерив зубы, сажеными прыжками кинулся к избе.

На крыльце избы, задыхаясь от ругани, стоял Тимофей Портянка и, не целясь, хлестал из ружья в темноту. Из дверей избы выскочило двое ватажников с ружьями.

Устин, подбежав к ним, крикнул:

— К колокольне, все к колокольне!

Он понимал: сейчас главное — стянуть ватагу в кулак. Собрать всех вместе, и тогда только и можно будет отбиться. А так, изба за избой, кенайцы всех перебьют.

Гудел набатно колокол на колокольне. Кильсей не жалел рук.

— Ну, быстро, — крикнул Устин и прыгнул с крыльца. Дзынькнула стрела, и за спиной вскрикнул Тимофей. Устин оглянулся, увидел, что стрела угодила Тимофею под горло. Тот рванул стрелу рукой и повалился лицом вперед. Ватажники подхватили его и бегом понесли к колокольне.

Устин, подняв выпавшее из рук Тимофея ружье, припал на колено и выстрелил в выскочившего из-за избы кенайца. Тот взмахнул руками и покатился по земле. Устин привстал, и в это время стрела угодила ему в бок. Он упал, но поднялся и побежал к колокольне, стараясь вырвать застрявшую между ребер стрелу.

У колокольни собралась почти вся ватага. Мужики беспорядочно палили в темноту из-за бревенчатой стены, но по всему видно было, что долго им не продержаться. На ватажников сыпалась туча стрел.

Кильсей кубарем скатился с лестницы. Устин, зажимая рукой раненый бок, прокричал ему в лицо:

— Бери пятерых мужиков — и давай вдоль стены. От ворот ударьте залпом. Иначе конец!

Кильсей с мужиками нырнули в темноту.

Устин выглянул из-за стены. У ворот крепостицы занималась огнем вторая изба. Пламя уже облизывало крышу широкими языками.

«Все сожгут, — подумал Устин. — Ах, беда-то какая».

Залпом ударили от ворот мужики, ушедшие с Кильсеем. Еще сверкнули выстрелы и еще.

Устин махнул рукой ватажникам, и те, высыпав из-за стены, залпом же грянули и от колокольни.

Град стрел сразу же стих.

Устин вперед посунулся, и тут стрела, выпущенная кенайцами, вонзилась ему под сердце. Последнее, что он увидел, была охваченная пламенем крыша соседней избы. Языки огня, как странные жаркие лепестки неведомого цветка, обхватывая тяжелую крышу, казалось, пытались поднять ее в небо. Огонь вдруг вспыхнул перед глазами Устина нестерпимо ярко и погас...

Весть о гибели Устина и о том, что Кенайская крепостица сожжена, долго шла до Охотска и поспела только к возвращению из Петербурха Григория Ивановича. Привезли ее ватажники, пришедшие с новых земель.

Судно «Три святителя» подошло к Охотску на рассвете. Мужик с пристани, запаленно дыша, вскочил в дом Шелихова, крикнул:

— Григорий Иванович, «Три святителя» подходят.

Кое-как одевшись, Шелихов поспешил на берег. Телега, трясаясь и подскакивая на ухабах, пролетела единым махом по спящему Охотску, яря свернувшихся у ворот собак, и встала у причала. С хрустом давя каблуками сухие раковины, густо выстилавшие берег, Шелихов соскочил с телеги и рысцой побежал к причалу. Знакомый солдат вытянулся перед ним, но Шелихов его даже и не заметил. Шлепая подошвами тяжелых сапог по сырым еще после ночи доскам настила, Григорий Иванович бросился к лодке. Гребцы на весла навалились. Рвали воду. Уж так не терпелось купцу скорее на борт корабля подняться.

Судно стояло на банке, покачиваясь на свежей волне. Ветер сваливал туман в море, и все отчетливее и отчетливее обозначались на светлеющем горизонте тяжелые мачты «Трех святителей», выше и выше поднимались над волной борта и резная, золоченая Нептунья морда над бушпри-

том уже кивала подходившим на байдаре широким деревянным лбом.

Свежий ветер был солон до того, что губы стягивало.

С борта бросили штормтрап, и Григорий Иванович цепко ухватился за перекладыны, подтянулся и полез наверх, царапая носками сапог о смоляной, облупившийся, в темных разводах борт. Лез, а в голове билось: «Хорошо-то как. Вот оно, вот, дело настоящее! Ах, батюшки, а то чиновники, как блохи, загрызли».

Его сильно подхватили под руки и поставили на палубу. Навстречу шагнул Измайлов. Все такой же смуглый до черноты, с прищуренными монгольскими глазами. И тот же знакомый давно тулупчик заячий с оттопыренными карманами был напялен на широкие его плечи. Из-за спины капитана выступил Бочаров, смущенно улыбаясь обветренным ртом.

Через малое время сидели они втроем в каюте, в которой Шелихов через океан шел к новым землям. Григорий Иванович каюту быстрыми глазами обежал, в иллюминатор заглянул, сел к знакомому до последнего сучочка столу.

— Ну,— сказал,— рассказывайте.

Радость его так и распирала, и он довольно морщил губы, щурил глаза. Не знал еще, что услышать доведется.

Бочаров, как по бумажке, перечислил груз, лежащий в трюмах, сообщил, что через океан перешли благополучно и больных в команде нет.

Измайлов сидел с серьезным лицом и молчал. Григорий Иванович раз на него глаза вскинул, другой и понял: «Герасим Алексеевич привез весть недобрую».

— Давай,— сказал Шелихов,— чего уж... Выкладывай. Вижу, не пирогами сладкими потчевать собираешься.

И глаза у него насторожились, улыбка с губ сошла.

Измайлов похмыкал в кулак, с досадой за ус себя подергал и рассказал о том, как сожгли Кенайскую крепостицу, как погибли Устин, Тимофей Портянка и еще с ними восемь ватажников. Сказал, что кенайцев подбили на разбой испанцы.

— Мы-то все понять не могли, что это их корабли ходят вокруг наших земель? — крикнул огорченно. — Позже узнали, что они кенайцам грамоты, медали серебряные да письма открытые раздавали и все их науськивали на наши крепостицы.

Шелихов в сердцах кулаком треснул в столешню:

— Какой мужик пропал — Устин!



— Испанцы боятся,— сказал Измайлов,— что мы к Калифорнии выйдем и флаг российский поднимем.

Шелихов вскочил из-за стола. Забегал по каюте. Повторил с сердцем:

— Эх, Устин, Устин...

Он до боли ясно увидел лицо погибшего устюжанина и, казалось, даже услышал голос его, по-особенному мягкий и внушительный: «Ну, ну, Григорий Иванович, обомнется дело-то... лыко чем больше, мнут, тем оно крепче...» «А вот теперь-то,— подумал Шелихов,— как обмять-то?»

— А что,— спросил, останавливаясь посреди каюты,— остались ли какие сбережения после Устина?

— Пустяки,— ответил Измайлов, поднимая глаза на купца,— деньжонки малые. Устин доли по походу не получил.

— Непременно,— подхватил Григорий Иванович,— оставшееся и долю его семье передать. И вот еще — надо бы деньги выделить особые и тоже семье передать. Мужик-то какой был... — Он оборотил лицо к сидевшим у стола капитанам. — Непременно выделить. — Покачал головой. — Хотя деньгами и ничего не исправишь.

Измайлов крикнул в кулак, но ничего не сказал, глазами только блеснул на Григория Ивановича. Видать, забота об устюжанине пришлась по сердцу капитану. Не всегда бывает, чтобы люди заботились о тех, кто из жизни ушел. Чаше: с глаз долой — из сердца вон.

В узкое стеклышко иллюминатора ударило солнце. Первый розовый луч. И каюта, осветившись, будто бы расширилась. Мрачная чернота, таившаяся в углах, ушла.

— Ладно,— сказал Григорий Иванович и решительно сел к столу,— а теперь о живых. Как крепостица Кенаяская? В развалинах? Пепелище?

Горело сердце о землях, столь дорогих для него, все узнать разом! И, не медля и часа, с головой лез в самую гущу, чтобы поправить неисправное, подтолкнуть вперед то, что остановилось в движении, поднять, что упало.

— Нет,— отвечал Измайлов,— Евстрат Иванович мужиков послал. Тюкают помаленьку. Авось восстановят. Не сразу, но к весне, думать надо, поднимут крепостицу.

— Евстрат Иванович,— сказал Шелихов и потер лоб,— как же он крепостицу-то проморгал. Его вина, что побили мужиков. Его.

Сказал слова эти жестко.

Измайлов вновь поднял глаза и посмотрел ему в лицо.

— Ну, вот что,— продолжил Григорий Иванович,—

офицеров я с собой привез в Охотск, в воинском деле зело понимают. Деньжонки в Петербурхе хоть и невеликие, но компании дали. Так что теперь сил у нас поприбавилось. Мастеровых по корабельной части привез такоже.

Измайлов с Бочаровым ближе к Шелихову подвинулись. Это уж их касалось: корабельное-то дело.

— Ну, ну,— поторопил Измайлов.

— Думаю,— сказал Григорий Иванович,— верфь в Охотске заложить. Корабли будем строить и тем новым землям во многом помочь сможем. А вам...— он оглядел капитанов и похлопал дружески Измайлова по плечу,— задерживаться в Охотске ни к чему. Понимаю, на земле матерой давно не были, но дело требует.— И уже, как решенное, сказал: — Погуляйте недельку, другую, берите офицеров, мастеровых и с богом в путь. Время торопит.

### 13

Охотск было не узнать. То тишина стояла в порту — ни тебе крику, ни шуму. Глядишь, бывало, в подворотне собака лежит лохматая с ленивыми глазами и от скуки великой выщелкивает желтыми клыками блох из ободранного хвоста. Мужик пройдет неспешной походкой, тащит лапти, и одно только и видно — страсть как ему хочется завалиться на лавку и, задрав бороду кверху, всхрапнуть. Колокол церковный и тот бренчал еле-еле: только бы звук обозначить:

«Бом! Б-о-о-о-м!»

И смолкнет. Раззявит рот человек на такой звон:

— О-о-о...

Перекрестится и — спасай бог, пушай она, жизнь, летит помедленнее.

Голиков только и бодрил город. Но одному нелегко растолкать сонного. И вот все переменялось. И виной тому неумный напор шелиховский. Иван Ларионович спать Охотску не давал, а теперь вдвоем они навалились. Да еще как! Здесь уж не сонный, но и мертвый поднимется: шевели лаптями — кто смел, тот съел!

Поодаль от черных, сгнивших наполовину причалов поднялись верфи. На них торчали ребрами шпангоутов заложённые суда. На верфи люди, суетясь, как муравьи в развороченном муравейнике, доски тащили, балки, бухты канатов. Берег сплошь был завален сосновой щепой и стружкой. Сотрясая воздух, глухо бухали многопудовые кувалды, кричали люди, гремело железо. Чуть дальше дымили мно-

гочисленные кузни, и из распахнутых настежь дверей несло таким нестерпимым жаром, что случайные люди, пробегая мимо, невольно загораживали лица рукавами армяков. А уж о перезвоне молотов и говорить нечего было: в ушах звенело. Рядом медеплавильни и мастерские тоже медные. Здесь в горнах бурлил и играл огненный, искристый металл, которому могли бы позавидовать и на Урале. Тут же мастера, из Петербурха привезенные, лили и выделывали из него необходимые в кораблестроении кнехты, блоки.

Шелихов мотался по порту, но многие отмечали — другим стал Григорий Иванович. Другим...

Когда собирались в первый поход, брался Шелихов за мелочь любую: там тюки поднесет, здесь ванты подтянет, а то и вовсе повиснет в люльке на борту судна и шпаклюет и красит по целым дням. Сейчас было не то. Пылу к делу у него не убавилось. Напротив — может, и еще более горели неумные его страсти, однако за рукоятку молота не спешил он ухватиться и по мачтам не лазил, но глянет только раз и, увидев непорядок, точно и властно команду даст поправить то или иное. И успевал оттого больше и дело подвигалось скорее.

Но изменился не только Григорий Иванович. Многое изменилось на охотских берегах. И Шелихов это угадывал.

Ветер с океана по-прежнему крепко пахнул солью, волны, расшибаясь вдребезги, ревели и кричали о неведомых берегах, но неистовое житье первопроходцев, видимо, кончалось. Что-то уж очень много незнакомых людей с тощими, озабоченными лицами и юркими сухими глазами толпилось в Охотске. Чего они хотели? Откуда они пришли?

Вон, в сюртуке, здесь и невиданном, шастал человек с утиным носом и таким прыщеватым продувным лицом, что невольно постережешься и отойдешь в сторонку. А то вон другой бежит, да и как бежит, видно, ухватил уже что-то или торопится ухватить загребушими руками.

Как-то Григорий Иванович, увидев одного из этих людей, молодого и верткого, долго смотрел ему вслед, и ему показалось, что он увидел того из петербургских чиновников, которого однажды чуть не угостил кулаком. Понятно было, людишки эти не чай пить собрались здесь. Для того чтобы самоварчик разживить, на край земли не ходят. Для самоварчика угольки только и нужны, так их и ближе можно сыскать.

«Три святителя» Григорий Иванович, загрузив припасами необходимыми, отправил на новые земли. С ним же уходили за океан офицеры и мастеровые. Когда провожали

судно, во время застолья, обычаем принятого, собрав лоб морщинами, Шелихов сказал:

— При первой возможности судну вернуться надлежит.

Чувствовалось: все продумал он наперед и не хотел терять время зря.

За столом на проводах было шумно. Особенно народ, привезенный из Петербурха, веселился. Этим все было в новинку: и то, что в поход идут дальний, и то, что за столом единым сидят и хозяин, и матрос последний.

Григорий Иванович, локтями блюда раздвинув, поглядывал, вспоминал проводы давние, когда Степан за столом песню пел. Фортина была та же и даже стол тот же, и море за окном синело по-прежнему. И весело ему было, и грустно.

Иван Ларионович, сидевший по левую руку, словно прочтя эти мысли, повернул к нему лицо, сказал:

— Ничего, Гришенька, ничего. Вишь, как дело-то разворачивается...

За два дня до этого был у них разговор серьезный.

Кох Готлиб Иванович вдруг характер показал. Мягонько так, а все же запустил ногти. Явился в медеплавильни и, будто бы не ведая раньше, что металл здесь льют, удивление выказал и потребовал разрешение губернаторское на изготовление металла. А пока разрешение такое ему не будет представлено, распорядился медеплавильни закрыть. Накричал, на шумел. Ногой топал и шпажкой брэнчал.

Мужик, что в медеплавильнях заправлял, прибежал к Григорию Ивановичу перепуганный до икотки.

Бывший тут же Иван Ларионович, выслушав его, тяжело в нос засопел. Лицо у него налилось краской и глаза потемнели. Однако, слова не сказав, переглянулся с Шелиховым, и все. А когда мужик ушел, вскочил с лавки, хлопнул по столу ладонью:

— Крылья нам подшибает. Ах, немчура проклятая. В карман среди бела дня лезет.

Но пошумел, пошумел Иван Ларионович, а сел и задумался. Ясно было: раз немец взялся — не отпустит, пока своего не получит. Однако просчитался Кох. Не те люди были купцы, чтобы их, как овец, стричь. Не тотчас, но решили купцы: сегодня золотишко свезет Иван Ларионович немцу, до мзды жаждущему, а впредь нужно будет укорот ему найти. И укорот тот видели они в новом губернаторе Пиле, о назначении которого Григорий Иванович прослышал еще в Петербурхе. Пиль вот-вот должен был к обязанностям своим приступить. А известно — метла новая

чисто метет и золотишко, Коху данное, свое сделать должно было. Купцы так задумали: Шелихов в Охотске остается, а Иван Ларионович в Иркутск направится и там начнет удавку Коху плести. А пока купцы письмо Рябову в Петербурх сочинили.

Вечер просидели над бумагой. Не одну свечу сожгли, и бумага получилась злая. В письме — так-де и так — об-сказано было, какие им препоны чинятся в Охотске, и просьба высказывалась о помощи.

Готлиб Иванович на проводах «Трех святителей» сидел сбоку от Голикова. Наклоняясь низко длинным носом, кле-вал из тарелок жадно, словно впрок ел, дабы завтра не трогать своего. Поглядывал вокруг, не думая, что золотиш-ко голиковское уже жжет карман ему.

Иван Ларионович чуть покусывал крепкими зубами лис-ток черемшины, посматривал на него искоса, соображал помалу: вор-де Кох — кричать он у губернатора не соби-рался. Кого удивишь, что чиновник вор? Думал по-другому сказать: помеха-де чиновник сей делу, одобренному любез-но матушкой императрицей. Тут просматривалась госу-даревой воли поперечина, а за такое по головке не гла-дили.

На противоположном от Шелихова конце стола чинно, поджав губы, сидел новый в Охотске человек, немногим-то и знакомый. Был он немолод, и годы его показывала про-бывавшаяся в жестких волосах седина. Однако крутые пле-чи и твердый взгляд, коим он неторопливо обводил сидя-щих за столом, выдавали в нем силу немалую. Несколько дней назад между ним и Шелиховым в магистрате Охотска был заключен договор, в котором говорилось: «Мы, ниже-подписавшиеся, рыльский именитый гражданин Григо-рий Иванович сын Шелихов, каргопольский купец, иркут-ский гость Александр Андреевич сын Баранов постановили сей договор о бытии мне, Баранову, в заселениях американ-ских при распоряжении и управлении северо-восточной ком-пании, тамо расположенной».

Подменить должен был Баранов Евстрата Ивановича Деларова. Так решил Григорий Иванович: не первый год сидел Деларов на Кадьяке и устал, должно быть. Свежий глаз лучше будет. Да и говорили о Баранове хорошо. Мужик-де распорядительный и честности необыкновенной. А сейчас как никогда нужен был на землях новых чело-век решительный и расторопный в действиях. Заботами не-малыми создана была новая компания по образцу «Северо-Восточной американской компании» — «Предтеченская».

Купцы полагали, что послужит она созданию русских поселений и промыслу доброму зверя морского на Алеутских и Прибыловских островах. Заглядывали и дальше, задумав создать в скором времени «Унолашкинскую» компанию, которая охватывала бы северную часть Берингова моря и полярное побережье Аляски. Широко заводили сеть, охватывая Аляску и с запада, и с севера, и с востока.

— Ну, что же,— поднявшись из-за стола, сказал Шелихов,— доброго вам ветра в паруса.

14

Коренник бил копытом, ходил в упряжке, беспокоил пристяжных. Такой уж был норов у него: вывели, так давай вожжи отпускай, что стоять-то? Говорят: каков хозяин — таков и конь. А этот — любимец был Ивана Ларионовича. Купец не подходил к нему без куска сахара. Для этого, каракового, не жалел ничего. Конь косился на крыльцо, тянул удила. Иван Ларионович задерживался.

— Ну, ну,— охлаживал коренника конюх,— не балуй, дорога дальняя. Набегаешься.

Оглаживал ладонью по крутой шее. Конь косил глазом, ждал хозяина.

Иван Ларионович в Иркутск собирался. Дел много накопилось. Чем дальше, тем труднее с Кохом было. К медеплавильням прицепившись, Кох на том не остановился. Вокруг верфей ходил и везде зацепки искал. К мастеровым, из Петербурха привезенным, придирался. И хоть люди это вольные были, а все носом по бумагам водил немец, и здесь-де не так сказано и там не этак. Разрешений требовал, на что и не давали от веку никаких бумаг. В открытую не шел, а все подтачивал, подтачивал дело, как червь.

И другие заботы были. Уж больно много купчишек из тех, что пожадней, к землям новым устремились. Навалились, как саранча, на земли американские. Зверя били, не думая, что завтра будет. Завтра... Этим добытчикам завтра хоть трава не расти.

Да и это не все. Было от чего задерживаться Ивану Ларионовичу. Самая главная беда выплыла неведомо откуда. Кто и как — неизвестно, но слух пустил и в Иркутске, и в Якутске, и в Охотске, что-де компании «Северо-Восточной американской» конец пришел. И там и тут, где только соберутся купцы, вдруг заговаривали:

— Шу-шу...

Зверя-де нет больше на землях новых, а ежели и есть, го порченый.

И опять:

— Шу-шу...

Торг-де кяхтинский вовсе замер и сбыта шкурам американским нет. Цена упала. В Петербурх, сказывали, везти надо.

А Петербурх далеко и какую цену там дадут?

На ушко, так тихо:

— Шу-шу...

Молва, молва злая. А злая-то молва, что ржа, и железо переедает. И купцы пай свои из компании требовать начали.

Корабли на верфи в Охотске строились, молотки в кузнях стучали, но видел Шелихов, да и Иван Ларионович чувал, что наперекосяк идет дело. Глыба какая-то темная, страшная придавливала голову. А молва все росла, и на Шелихова с Голиковым, пуп в Охотске рвавших, уже смотрели с косою улыбкой. А кое-кто и поговаривал:

— Гляди, ребята, беды бы не случилось.

И так-то жалеючи говорили, с соболезнаванием:

— Ну, ну... Вам виднее...

— Стоять надо, Иван Ларионович, стоять крепко,— говорил Шелихов,— не мне и не тебе говорить, что жизнь всегда под коленки бьет. И тот лишь выдюжит, кто упрется.

Говорил, а под сердцем холод. И даже руки теплые и ласковые Натальи Алексеевны не согревали уже. Долгими ночами вспоминал Петербурх ледяной, коридоры длинные, канцелярские, чиновников дошлых. Все понять хотел: откуда давит на плечи камень этот тяжкий. Но понять не мог. Одно все же говорил: стоять надо. В этом только и сила наша!

Иван Ларионович вышел на крыльцо. Жеребец голову вскинул, заржал радостно.

Все было обговорено между купцами, и Иван Ларионович, не мешкая, сел в повозку. Прикинул ноги мехом медвежьим, улыбнулся Шелихову засмякшими губами.

— Ну, Гриша,— сказал,— Соленый океан...— Поднял руку и тугим кулаком с силой ударил по колену.

Вожжи отпустили, и кони с ходу взяли в карьер.

Шелихов долго, долго смотрел ему вслед, повторяя:

— Нда-а... Соленый океан... Соленый океан...

Голос у него был злой.

## Оглавление

Глава первая . . . . .	3
Глава вторая . . . . .	77
Глава третья . . . . .	127
Глава четвертая . . . . .	215

## Юрий Иванович Федоров

ДЕРЖАВЫ ДЛЯ...

Роман

Рецензенты В. Сурганов, В. Гусев

Редактор П. Кучуков

Художник Л. Непомнящий

Художественный редактор Г. Саленков

Технические редакторы Л. Анашкина, Г. Бойцова

Корректор Г. Панова

ИБ № 3052. Сдано в набор 16.12.82. Подписано к печати 07.06.83. А06633. Формат 84×108<sup>1/32</sup>. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 15,96. Усл. кр.-отт. 15,96. Уч.-изд. л. 18,05. Тираж 100 000 экз. Заказ № 1962. Цена 1 р. 40 к.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР. 121351. Москва, Г-351. Ярцевская, 4.

Калининский ордена Трудового Красного Знамени полиграфкомбинат детской литературы им. 50-летия СССР Росглавполиграфпрома Госкомиздата РСФСР Калинин, проспект 50-летия Октября, 46.